



29

Израильский литературный
журнал

АРТІКЛЪ



№ 29

Тель-Авив

2024

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Наталья Новохатняя. Старик с улицы Рабби Цирельсона.....	4
Шуля Примак. Соседи.....	26
Дмитрий Быков. Председатель совета отряда.....	32
Павел Селуков. Нонкорформист.....	52
Александр Борохов. Женя из Шервуда.....	70
Давид Шраер-Петров. Особняк над стадионом.....	78
Сергей Баев. Свидание.....	87
Михаил Нудлер. Я был душой дурного общества.....	92
Иосиф Альбертон. Дом исцеления.....	110
Яков Шехтер. Вернуться в Люблин.....	120
Михаил Юдсон. Остатки.....	137

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Ури Села. Вторая сумка, полная небылиц.....	141
--	-----

АРФА И ЛИРА

Произведения азербайджанских авторов

Микаил Мушвиг. Стихи.....	153
----------------------------------	-----

ПОЭЗИЯ

Ирина Маулер. Живое небо.....	156
Тамара Нестеренко. Тёмное веселье.....	164
Игорь Белый. Пришёл однажды человек к Богу.....	168
Семён Крайтман. «так я писал письмо, я писал письмо»...184	184
Пётр Межурицкий. Поэтов нет плохих.....	190
Игорь Губерман. В пути из ниоткуда в никуда.....	195

СРПИ НА СТРАНИЦАХ «АРТИКЛЯ»

Марк Котлярский. В поисках реализма четвёртого измерения.....	197
Памяти Леонида Финкеля	198
Нина Ягольницер. Правильный прикус совести.....	201
Лев Альтмарк. Страсти по Гоголю.....	205
Аркадий Крумер. Мой отец Исаак.....	217
Михаил Ландбург. Когда стемнело.....	228
Светлана Аксёнова-Штейнград. «Распадаются связи».....	231
Александр Елин. «Око за око».....	234
Марина Старчевская. «А жаль».....	236

Яков Каплан. «В тёплом сумраке лица»	239
Ирина Сапир. «Шаг».....	242
Владимир Аролович. «Всего-то был один росток».....	246
Сергей Корабликов-Коварский. «У старости».....	248
Наталья Кристина. «Пришла незваная»	251
Любовь Знаковская. «Ах, бабушка!»	254

НОН-ФИКШН

Александр Крюков. Кентавр.....	256
Мордехай Наор. Большое изгнание.....	262
Александр Карабчиевский. Тайные черты современного советского народа.....	266
Айдар Хусаинов. Афоризмы «Анти-бусидо».....	267
Альбина Васильева. Воспоминания о Тюмени.....	270
Андрей Евдокимов. Катастрофу отменили.....	288
Андрей Зоилов. О пропаганде, заднице и Интернете.....	302

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ	
Дневник событий: январь-март 2024.....	309

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская. Пока Голос есть.....	318
--	-----

БОНУС ТРЕК

Владимир Друк.	321
-----------------------------	-----

На титульной странице: кинотеатр «Муграби» в Тель-Авиве.

К сборнику историй «Вторая сумка, полная небылиц» стр. 143.

ПРОЗА

Наталья Новохатняя

Старик с улицы Рабби Цирельсона

Мало кто в Кишинёве знает, где находится улица Рабби Цирельсона. Разве что старожилы махнут рукой в сторону центрального базара: за ним, мол. Остальные лишь недоумённо пожмут плечами: а такая есть?.. Возможно, всё дело в расположении. Улица Рабби Цирельсона находится на другой улице – Василе Александри. Тянется себе улица имени молдавского классика, тянется, и вдруг бац! – Цирельсон. И почти сразу снова Александри. Вот и получается: улица крохотная, квартал всего, пройдёшь и не заметишь. Впрочем, есть один ориентир, по которому её всегда можно опознать – старинное полуразрушенное здание. Одни говорят, здесь раньше были синагога и ешива, другие – еврейская богадельня и больница. Как бы то ни было, сейчас криво обломанные стены скалятся в агонии, а узкие, длинные, с арочными сводами окна смотрят на мир пустыми глазами слепца. Время от времени здание пытаются реставрировать. Но то ли пыл угасает, то ли деньги заканчиваются. Так что воз и ныне там.

Рядом с развалинами есть гостиница под названием «Астория». Вся она такая чистенькая, вылизанная. Белоснежные пилястры и балясины режут глаз. На вид типичный новодел. Однако здание было построено ещё в девятнадцатом веке, только расфранчённый второй этаж появился совсем недавно. Одноэтажные дома справа от гостиницы тоже не без истории. Городские особняки, так их раньше называли. Хотя до богадельни-больницы им как до луны, зато выглядят несравнимо более ухоженно.

В угловом здании расположился полицейский участок. Наличие полиции - как охранная грамота от разного рода неприятностей. Воры, проходите мимо, нечего вам тут!

Ещё на улице имени еврейского праведника полным-полно машин. Оживают они дважды в день: утром и вечером. Остальное время, выстроившись вдоль дороги, машины дремлют. Как, впрочем, и вся улица. Выпуская наружу одинокого постояльца, бесстыдно зевает «Астория». Словно заколдованная царевна в ожидании королевича, спит и видит сны полицейский участок. И почему бы ему не спать, он ведь добился своего – все беды мира обходят улицу стороной, недаром она такая тихая. Может, по этой причине её и выбрал тот странный старик.

Он появился на Рабби Цирельсона в мае. Благоухала, раскидывая по сторонам отяжелевшие ветки, сирень. Словно балерины в пышных пачках, выстроились бело-розовые каштановые свечи. Радостно зеленели газоны. На фоне общего цветения старик смотрелся замшелым пнём. Вид его был неопрятен: седая клочковатая борода спускалась на грудь, ветхое пальто кое-где распоролось по шву. Но светлые глаза смотрели спокойно и ясно. Так светят фонари в глухую ночь.

Старик приходил поутру, устраивался перед крыльцом одного из домов и просиживал там весь день. Вечером он уходил. А утром снова был на том же месте. Откуда старик пришёл и куда исчезал на ночь, никто не знал. Да это никого и не интересовало. Поначалу к нему отнеслись с подозрением: иди знай, что за человек. Но старик вел себя тихо, не бузил, к прохожим не цеплялся. Стелил на землю лист картона, усаживался на него и сидел, по-собачьи поджав длинные, в обтрёпанных брюках, ноги. Иногда чёрно-синие, словно спёкшиеся баклажаны, губы начинали шевелиться. Но почти беззвучно, трава шелестит громче. Разобрать слова было невозможно. В общем, безобидный старик, хотя и с приветом. Мало-помалу к нему привыкли: кто-то принёс стул; гостиничные, - те стали подкармливать. Даже полиция старика не гоняла. Не пьяница, не бомж, пусть сидит.

Я увидела старика в июне. Ах, июнь, время солнца, тепла, невесомых сандалий, цветастых сарафанов и клубники! Цены на последнюю, правда, кусаются, но покупателей это не смущает, и центральный базар так же многолюден, как во времена моего далекого детства. «Căpșună, căpșună dulce!»¹

¹ «Căpșună, căpșună dulce!» (румын.) – «Клубника, сладкая клубника!»

Крики продавцов мечутся непоседливыми птицами. От красных ягодных гор на прилавках рябит в глазах. «Дайте мне, пожалуйста, два... Нет, пять килограммов!» Зачем тебе столько, ты же хотела только полакомиться?! Но пальцы уже лихорадочно отсчитывают денежные купюры. Базар я покидаю с двумя корзинками клубники в руках.

По-хорошему, мне бы надо подняться наверх, на центральный бульвар имени молдавского господаря Штефана чел Маре. Сесть на один троллейбус, потом на второй. Каких-то полчаса – и я дома. Но ноги будто сами несут меня в противоположном направлении. Пробираться через толпу – возле базара всегда полно людей – это как плыть против течения. Только опытному пловцу под силу справиться с подобным испытанием без ущерба для себя. А у меня в руках ещё и клубника! Наконец, живая и невредимая, я оказываюсь на пустом пространстве. И снова ныряю, на этот раз в лабиринт улиц. Здесь всё иначе, можно идти довольно долго и не встретить ни одной живой души. Как на кладбище в будний день. От возникшей ассоциации нервно хмыкаю: ну, это я, положим, перегнула. Хотя... Раньше здесь был район ремесленников, и важную (если не большую) его часть составляли евреи. Но потом евреи, эти вечные кочевники, косяками потянулись в другие страны. Недолго думая, дома изменили им с новыми жильцами, и сами при этом изменились. Казалось, квартал забыл своих прежних обитателей. Но прошлое, не желая отступать, сочилось через поры старой каменной кладки, смотрело идеальным сферическим глазом с фронтонов домов и настойчиво тыкало в глаза прохожих табличками с еврейскими именами. И захочешь забыть, не забудешь.

Между тем, солнце стало припекать. Корзинки с ягодой оттягивали руки. Противно заныли виски. Будто в каком-то отупении я свернула направо и... оказалась на улице Рабби Цирельсона. На этот раз на улице было непривычно многолюдно. Толпа собралась напротив гостиницы. Приглядевшись, я увидела, что она сплошь состоит из детей. Что это, детский праздник? Не похоже, для праздника чересчур тихо. Да и дети ведут себя странно. Застыли, будто суслики в характерной стойке. По центру толпы на стуле сидит старик. Борода, пальто (это в жару-то!), вид важный. То ли пророк, то ли шаман. Вот и детей загипнотизировал. Впрочем, я сама при виде него обомлела.

Только подойдя ближе, я увидела, что дети смотрели не на старика, или не совсем на него. Объектом их внимания

стала кукла в старческих руках. Позже, когда кукла стала моей, я детально её изучила. Всё в ней было прекрасно: изящное фарфоровое личико, шёлковые локоны, платье - портновский шедевр из бархата, атласа и кружев. Кокетливо сдвинутая на бок шляпка и крохотные кожаные туфельки дополняли совершенный наряд. Её создал не просто мастер – кукольный бог! Но больше наряда и локонов поражали кукольные глаза. Тёмно-карие, они словно источали живое тепло. По правде говоря, глаза смотрелись человечнее, чем у многих людей. Но было что-то ещё, трудно объяснимое. Недаром от куклы невозможно было отвести взгляд. Кто-то наверняка скажет, что я всё это придумала. Ну, кукла, красивая – что с того? Мало ли, что может почудиться от жары и усталости. Но дети, как быть с детьми? А ведь они, как известно, индикаторы всего по-настоящему удивительного.

Итак, я смотрела на куклу, и кукла смотрела на меня. Знаете, так бывает, когда смотришь на портрет в музее. Потом ты идёшь дальше, переходишь к другим картинам, но глаза с портрета неотступно следуют за тобой. Так было и с куклой: её взгляд был словно прикован к моему лицу. Казалось, отвернись я, он прожёт мне затылок. А потом кукла моргнула. Знаю, знаю, этого не могло быть. Но я и сейчас готова поклясться, что это видела. «Она живая!» – вскричала я, вне себя от удивления. Две ледяные молнии – глаза старика – полыхнули и пронзили меня насквозь.

«Хотите, я вам её подарю?» Это был обычный мужской голос, низкий, без старческого дребезжания. Слова прозвучали ровно, без эмоций. Так можно говорить о самых рядовых вещах. Почему, услышав их, я затрепетала? Желание обладать куклой охватило меня с такой силой, что я чуть не потеряла сознание. Сделав усилие, я взяла себя в руки. Я даже попыталась мыслить логично. Старик, кукла, дети – что это вообще такое? Может, чей-то розыгрыш? Или съёмка фильма... А что, вполне вероятно: старик – актёр, дети – массовка, а кукла...

«Берите же!» – на этот раз голос прозвучал настойчиво, если не сказать - требовательно. «Сумасшедший! – мелькнула мысль. – А если нет?.. Зачем отдавать мне такую роскошную куклу, какой смысл?» Во мне проснулась осторожность. «Она очень дорогая. Лучше я её куплю...»

«Нет»

«Я отдам вам клубнику!» – выкрикнула я с отчаянием. Всё это напоминало торг наоборот. Обмен, в любом случае, был неравноценен, но что-то мешало мне взять куклу просто

так. Но куда мне было тягаться с железной волей этого странного старика.

«Забирайте куклу, а клубнику отдайте детям».

Я послушно поставила на асфальт корзинки с ягодами – дети моментально налетели саранчой – и подошла к старику. Странное выражение мелькнуло на его лице, когда я взяла куклу. Казалось, старик еле сдерживается, чтобы не выхватить её из моих рук. Но через секунду его лицо снова было спокойно. Когда я повернулась, чтобы идти назад, корзинки уже опустели, а дети были перемазаны клубничным соком. Потемнев, сок приобрёл бурый оттенок. Словно кровь окрасила детские губы, щёки, пальцы. От прежней неподвижности не было и следа – теперь дети танцевали, высоко вскидывая руки и ноги. Это было похоже на пляску дикарей после кровавого пиршества. Меня затошнило. Прижав куклу к себе, стараясь не смотреть по сторонам, я протиснулась через детскую толпу и бросилась прочь.

Про Кишинёв говорят, что это город на семи холмах, вот и в «Википедии» так написано. Не верьте, их намного больше! И троллейбусу, в котором я ехала, предстояло брать один холм за другим. Для начала, по-утиному переваливаясь, он въехал на мост, что вёл в сторону Рышкановки. Мост состоит из двух частей. Под одной частью, стиснутая бетонными плитами, течёт река Бык. Река узкая и неглубокая. Говорят, что когда-то она была судоходной, по ней ходили не просто лодки – корабли. Якобы в то время она была настоящим быком, это сейчас так, бычок. Хотя это больше похоже на легенду. Легенды ведь на то и существуют, чтобы отвлекать от скучной серой реальности.

Под второй частью моста пролегли железнодорожные пути. Вот они точно были рабочими, даже я это помню. Мост трясся мелкой дрожью, когда, стуча колесами, по рельсам проходили длинные железнодорожные составы. Существовала примета: если в этот момент человек оказывался на мосту, то мог загадать желание. Поезд уносил желание вдаль, и там, за семью долами, холмами, реками кто-то всемогущий решал, исполнить желание или нет. Сейчас поезда почти не ходят, и пути ржавеют без дела. Видимо, желаний было слишком много, и лавочку прикрыли.

Дальше шло здание цирка с его сложной геометрией. Здание осыпалось и старело. Словно предчувствуя своё неза-

видное будущее, оно с ужасом косилось на пустошь неподалеку. Это сейчас там осока и бурьян, а несколько веков назад на месте пустоши были татарские поселения. Но кто теперь об этом знает? Разве что фанатичные любители истории. Новый холм: типовые советские хрущовки, разномастные бутки родом из девяностых, безликие бетонные коробки из двухтысячных...

Я подумала, что троллейбус - это такая своеобразная машина времени, что перемещается из одного временного периода в другой. Занятая наблюдениями, я и не заметила, как перестала болеть голова. Я вообще ощущала себя намного лучше. словно разные пласты прошлого выстроили между мной и Рабби Цирельсона незримый защитный барьер. Никому сквозь него не пробраться, даже старику! Впрочем, в его существовании я уже была не так уверена. Да, но как же кукла? Завернутая в кулёк, она лежала у меня на коленях прямым доказательством случившегося. Нащупав крохотные пальчики, я слегка пожала их и на секунду замерла, ожидая ответного пожатия. «Не сходи с ума», – прошептала я самой себе и вышла из троллейбуса.

Только вернувшись домой, я поняла, как сильно устала. В спальне я, не раздеваясь, рухнула на постель. а очнулась спустя несколько часов. Фиолетовые сумерки, без боя взяв комнату, касались всего, до чего могли дотянуться – книжной полки, шкафа, постели, меня. Только кукла оставалась недосягаемой. Безупречная, в пене кружев, она сидела на тумбе, где я её оставила. Стеклообразные глаза загадочно поблёскивали. Точно как у детей, когда они задумали очередную шалость. За время сна я успела про куклу забыть и, увидев её, вздрогнула от неожиданности. Моё недавнее пылкое желание обладать куклой сейчас выглядело нелепо, если не сказать смешно. И правда, зачем она мне? Лучше бы старик отдал её кому-то из детей. А вот клубника мне сейчас пригодилась бы. Вспомнив про оставленные ягоды, я чуть не подавилась слюной.

В этот момент в дверь позвонили. Я открыла – на пороге стояла Виорика. При виде крепко сбитой фигуры соседки я затосковала. Да нет, у меня нормальные отношения с соседями, но Виорика... Ей постоянно что-то нужно! Её приходы напоминают набеги кочевников. Из моей квартиры к соседке перемещаются тарелки, вилки, ложки, электрический чайник, стулья, пылесос, моющие средства и многое другое. Некоторым вещам так и не суждено вернуться обратно. Другие

она через некоторое время отдаёт, правда, не в их первоначальном виде. Кажется, будь у меня муж, Виорика и его одолжила бы, чтобы вернуть слегка потрёпанным. Но мужа у меня нет, а у соседки есть свой – Лёня. Но если Виорика порой меня нервирует, то к Лёне я, напротив, отношусь с неизменной нежностью. Он чинит в моей квартире всё, что ломается, этим отчасти компенсируя грабительские замашки жены. Интересно, что понадобилось Виорике на этот раз? К моему удивлению, соседка зашла позвать меня в гости. «Лёня на днях привёз ящик клубники, хочу тебя угостить». Приглашать дважды меня не потребовалось.

Клубника с сахаром, пирог с клубничной начинкой, варенье... Сидя за кухонным столом соседей, я блаженствовала. Я любила весь мир, а Виорика с Лёней, в сущности, простые незатейливые люди, вообще казались мне чуть ли не ангелами. Какие они хорошие, и как друг друга любят! Я тихонько вздохнула: по сравнению с семейным счастьем соседей моё одиночество выглядело более чем уныло. Нет, такого мужа, как Лёня, мне бы не хотелось, хотя... На секунду я представила, как Лёнины преданность и забота переключаются с Виорики на меня. Вот он, по одному моему щелчку, мчится в магазин, и, конечно, забывает купить половину списка. Вот просительно заглядывает мне в глаза, выпрашивая разрешения выпить с друзьями пива, а в благодарность обмусоливает мою щеку. Бррр! Меня аж передёрнуло от отвращения. Придёт же такое в голову! Нет, Лёня, конечно, замечательный, но не для меня. «Если на роду написано любить плохих мальчиков, ничего с этим не поделать», - философски подумала я и переключилась на оставшиеся в блюде ягоды. Напоследок Виорика сразила меня окончательно, вручив баночку с вареньем. Надо же, я и представить себе не могла, что у меня такая щедрая соседка! «Спасибо. И вы заходите. И вам спокойной ночи, светлых снов».

Выходные я провела за уборкой квартиры. К кукле стала привыкать. Чуть смочив тряпку водой, смахнула с неё воображаемую пыль. Вроде как признала за свою. Когда с уборкой было покончено, я решила принять душ, но тут раздался звонок в дверь. В халате, со слипшимися прядями волос – в таком виде не слишком хочется принимать гостей – я осторожно глянула в глазок. Но это был всего лишь Лёня, он принес черешню. «Похоже, соседи выбрали меня объектом для благотворительности», – подумала я, с умилением глядя на

толстокорые, в тёмных крапинках, ягоды в миске. И ошиблась. Лёня пришёл признаться мне в любви. Хотя про любовь я поняла не сразу. Уж не знаю, каким образом всё это происходило у них с Виорикой, или, минуя стадию слов, они сразу перешли к практической части вопроса, но в случае со мной Лёня говорил долго и невнятно. «Напряжение, провода, клеммы, невозможность обесточить» – что это, памятка электрика?! Лишь сравнение меня с высоковольтной лампочкой, озарившей его безрадостное существование, да ещё пара-тройка высокопарных фраз прояснили ситуацию. Если бы это был кто-то другой, я хохотала бы в голос. Но Лёня! Совсем некстати вспомнилось, что кран на кухне протекает, да и с унитазом не всё в порядке... Нет-нет, прочь соблазны! «Уходи, уходи. И ягоды свои забирай».

Однако влюблённый Лёня оказался настойчив. Теперь, куда бы ни пошла, я наталкивалась на его долговязую фигуру. Казалось, он плёл вокруг меня невидимую паутину. Его союзниками стали лестничная площадка, лифт, почтовые ящики, двор, магазины. Как-то раз даже заявился ко мне на работу. Работаю я в небольшой конторе, которая занимается статистикой телевизионных каналов. Проще говоря, какие программы смотрят люди. Не спрашивайте меня, зачем это нужно, я и сама не знаю. Зато работа непыльная, да и платят прилично. Здание, в котором обитает наша контора, находится под охраной, просто так не войдёшь. Но Лёня вошёл. Не иначе как просочился сквозь стены. Поникшая розочка в его руке, явно сорванная с ближайшей клумбы, была так же нелепа, как и вся его любовь.

Может показаться, что за всеми этими перипетиями я забыла про Виорику, но о ней-то я думала в первую очередь. Что будет, когда она узнает о преступной любви мужа?! А случится это скоро, я знала, чувствовала. Лёня вёл себя неосторожно; даже дворовые кошки, и те стали что-то подозревать. Недаром воротили от меня свои усатые морды, когда я проходила мимо. Сердечностью по отношению к людям Виорика не отличалась, зато кошек подкармливала регулярно. В попытке задобрить то ли кошек, то ли Виорику, я тоже стала их кормить. Я покупала в магазине сырое мясо и, мелко нарезав, оставляла на крыльце. Кошки съедали всё до последнего куса, но злоба их не проходила. Объяснение с соседкой обещало быть бурным...

Виорика настигла меня у лифта. Налетела разрушительным цунами. Столько оскорблений в свой адрес я не слышала никогда за всю свою уже довольно длинную жизнь. Я

пыталась убедить женщину, что мужа её я не люблю, и вообще ни сном, ни духом, всё это Лёнины большие фантазии. Безуспешно. Яростно захлопнувшаяся за соседкой дверь в квартиру пообещала мне мучительную смерть.

«И что мне теперь делать?» – спросила я, с тоской глядя в безупречное фарфоровое личико. За неимением других собеседников я разговаривала с куклой. Дальнейшая моя участь представлялась безрадостной. Виорика с её напором, как пить дать, настроит против меня соседей. Разлучниц у нас традиционно не любят, и все они, особенно женщины, будут на её стороне. Неприятности мне обеспечены. «Хоть бы она куда-то делась, пока не остынет, – мечтала я. – Уехала бы к маме в село... Или пусть сляжет с пустяковой болезнью». Но когда Виорику – внезапно подскочившая температура, кашель – увезли в больницу с пневмонией, вместо облегчения я испытала чувство стыда. «Это не я; я не хотела!» Оправдываться было не перед кем, и я молча плакала, уткнувшись в подушку.

Рассуждая теоретически, уже тогда можно было догадаться о причастности ко всем этим событиям куклы. Но я предпочла роль страуса, засунувшего в песок свою глупую голову. Я говорила себе так: люди влюбляются, расстаются, болеют – это происходит сплошь и рядом. Если и есть в жизни смысл, то лишь в бесконечной смене состояний, и мистика тут абсолютно ни при чём. Что касается остального: бесплатные поездки в такси («вам повезло, у нас как раз акция»), сгинувшие в водовороте жизни и вдруг материализовавшиеся друзья («мы так по тебе скучали!») – эти и подобные подарки судьбы выглядели вполне естественно. Всё происходило как бы само собой. Общеизвестно, что жизнь полосатая, и чёрная полоса сменяется белой. Если сейчас я нахожусь в «белом» периоде, почему бы не насладиться этим по полной! Я и наслаждалась. Пока не случилась история с домом. Дело в том, что перед многоэтажкой, в которой я живу, долгое время был пустырь. Груды мусора и бесплатное приложение в виде бомжей набили оскомину всему району. Когда некий чиновник, желая снискать народную любовь, заикнулся о том, что неплохо бы на месте пустыря разбить сквер, его с радостью поддержали. Стройка началась. Но мечты о тенистых аллеях, ухоженных газонах и детской площадке просуществовали недолго. Ровно до тех пор, пока

один из жильцов, рискуя служебным положением, не раздобыл план будущей постройки. Тут выяснилось, что на пустыре появится очередная стеклянно-бетонная махина, которая не только закроет весь обзор, но и оставит наш дом без собственного двора. Обычно пассивные, на этот раз жильцы выступили единым фронтом: собрали подписи, бумаги отнесли в соответствующую инстанцию. Стройку заморозили. Но ненадолго. Противная сторона тоже не бездействовала, и взятка кому надо решила дело: работы возобновились.

...В тот день звуки стройки были особенно назойливы. Между балками и перекрытиями хлопотливыми муравьями сновали строители. Злиться на них было бессмысленно, строители просто выполняли свою работу. Но отбойные молотки выбили из меня все нормальные человеческие чувства, на растущий за окном дом я смотрела с ненавистью. «Хоть бы он рухнул!» – бросила я в сердцах. А спустя некоторое время раздался странный скрежет. Желая выяснить природу незнакомого звука, я выглянула в окно и... застыла на месте. Словно делая гимнастику, дом медленно накренился сначала влево, потом направо. Дальше – больше: ходуном заходили стены, гибкими суставами стали выкручиваться сваи и балки. Дом исполнял свои «па», как профессиональный танцор, одно за другим. Я с ужасом подумала про людей. Но их нигде не было видно. Будто кто-то невидимый слизнул всех языком. Впрочем, одна человеческая фигура всё же была. Прямо перед домом стоял какой-то мужчина (прораб?) и делал энергичные движения руками. Словно старался удержать дом на месте. И – вот чудо! – дом замер. Но только на мгновение, после чего со страшным грохотом рухнул на землю. Вверх взметнулось гигантское пыльное облако – это к небесам отлетела душа дома.

Сказать, что я растерялась, - не сказать ничего. Мысли мои метались: что делать, бежать вниз, звонить в службу спасения?! Но пронзительные сирены уже вспарывали пространство города, как небрежно сшитую ткань. Вот-вот начнётся беготня, суета. Лучшее, что я могла сделать, это не мешаться под ногами. Но это как раз было самым сложным. Наворачивая круги по квартире, я не находила себе места. В силу своей работы – статистика телепрограмм – я не понаслышке знала о пристрастии телезрителей к травматичным передачам и фильмам. Любой психолог скажет, что это даёт возможность пережить стресс как бы понарошку. Если ста-

новится совсем страшно, всегда можно выключить телевизор. Но реальность невозможно выключить, как бы ни хотелось. Мысль о том, что, сама того не желая, я стала убийцей, сводила меня с ума. «Как – не желая? Ты как раз пожелала...», – голос прозвучал ехидно. Кто это сказал, кукла?! Я впилась взглядом в кукольное лицо. Но стеклянные глаза были бесстрастны.

Когда я вышла на улицу, квартал был оцеплен. Возле подъезда толпились соседи, они обсуждали происшедшее. Я увидела Лёню. После его злополучного признания и болезни Виорики мы обходили друг друга стороной. Но в сложных ситуациях даже звери кучкуются в стаи, и мы с Лёней, повинувшись природному инстинкту, одновременно бросились друг к другу. Он и рассказал мне про взрыв. Якобы, в здание была заложена бомба. Я хотела спросить о человеческих жертвах, но язык словно прилип к нёбу. «Никто не пострадал, – вдруг сказал Лёня, – строители как раз ушли на обед». Я что, прозрачная?! Даже Лёня, и тот читает мои мысли? Но какое облегчение я испытала после его слов! От радости я чуть не бросилась ему на шею. Хорошо, что вовремя себя остановила.

Обратно в квартиру я возвращалась по лестнице. Живу я на девятом этаже, высоко. Обычно я езжу на лифте, пешком иду в редких случаях, только когда нужно подумать. Лифт в этом деле не помощник, а вот ступени – да. Механический процесс перешагивания с одной ступени на другую стимулирует мозг, мысли начинают двигаться в нужном направлении. Итак, начнём: ко мне в руки попала кукла, которая исполняет желания. Я совру, если скажу, что мне было неинтересно узнать, как это работает. Но сейчас важнее другое: что мне теперь с этой куклой делать?

«Что делать, что делать – ты ещё спрашиваешь?!» Голос в моей голове рассмеялся неприлично громко. Будь кто-то из соседей рядом, непременно услышал бы, благо, лестница была пуста. «Ты можешь попросить, что угодно!» – продолжал голос уже серьёзно. «А ведь правда», - согласилась я. Та я, которая пересчитывала ногами ступени.

Но чего я хочу? Как назло, в голову ничего не лезло. Видимо, от стресса все желания скукожились и облетели осенними листьями. Зато я вспомнила Виорику с её болезнью, дом... Ну нет, не такой ценой! Значит, от куклы надо избавляться. Но как? Вынести на мусорку - так себе вариант. Мало ли, в чьи руки она попадет. Рухнувший дом покажется мел-

кой шалостью. Другой вариант – уничтожить её, разбить молотком – был ещё хуже. От одной только мысли, что придётся бить по фарфоровым щёчкам и пальчикам, мне стало дурно. Такая красивая вещь... Или не вещь? Может, она вообще живая?! Ах, как мне не хватает сейчас умного советчика!

Тут я вспомнила про старика и, оступившись, чуть не полетела с лестницы. Хорошо, что вовремя схватилась за перила. Старик пугал меня даже больше куклы. Но другого выхода, похоже, не было. Придётся идти на улицу Рабби Цирельсона. Сегодня уже поздно, старик мог уйти, но завтра с утра в самый раз. А с куклой я поступлю так: на моей лестничной площадке есть встроенный в стену шкаф, что-то вроде импровизированной кладовки. В этот шкаф я и уберу на ночь куклу. Вполне вероятно, что она и оттуда сможет читать мои мысли, но тут уж ничего не поделаешь.

Ночь я провела беспокойно, крутилась-вертелась. Оставленная в кладовке кукла не давала мне покоя. При мысли о том, что она сидит там и пялится в темноту, мне было не по себе. словно я бросила беззащитного ребенка или котёнка. Потом я заснула. Ну, как заснула – выпала из реальности. Так падают в обморок, теряя ориентиры в пространстве, забывая обо всём на свете. Во сне я видела каких-то людей. Лица их были бледны как у покойников, одежды темны как ночь. Они что-то говорили, куда-то ходили – всё это я видела смутно. Что запомнилось: общее ощущение горя, которое исходило от них. Потом люди пропали, вместо них появился старик, прежний хозяин куклы. Он внимательно смотрел мне в лицо, словно пытался что-то разглядеть. Я тоже смотрела на старика. Только тут я заметила, что на его лице не было морщин. Совсем! Но он ведь старый, я это знала, чувствовала. «Кто ты?» – выкрикнула я в это странное гладкое лицо и... проснулась. От сильного сердцебиения еле могла дышать. Нет, вопрос с куклой надо решать срочно!

Вскоре я уже выходила из подъезда. С куклой в кулке, разумеется. Прямой транспорт на Рабби Цирельсона не ходит, но можно добраться с пересадками. Представив переполненные троллейбусы, всю эту толкотню и ругань, я поморщилась. Но есть и другой путь: доехать до бульвара молдавского поэта Григория Виеру, а дальше пешком, через спальный район. Это я и выбрала.

Мимо по-утреннему дремотных домов я шла медленно. Недавний сон никак не выходил из головы. Что я знаю о старике, кто он, откуда? «Могла бы хоть что-то разузнать», - упрекнула я себя за легкомыслие. И потом: как я могу заставить старика взять куклу обратно, если я его боюсь? Что же делать?.. В этот момент я посмотрела на румяное яблоко солнца, что висело над городом, на пролетевшую наискосок к небу птицу, и смутная мысль начала формироваться у меня в голове. Она рождалась как ребёнок, с муками. Я прошла несколько кварталов, прежде чем всё поняла. Поняла и даже засмеялась от облегчения: как я сразу не догадалась? Попытаюсь объяснить (если такое вообще можно объяснить словами). У старика есть сила, истоки которой мне неизвестны. Как по мне, этой силой его наделили скорее демоны, чем ангелы, но сейчас не об этом. Теперь я. Не назову себя слабой, но моя проблема всегда была в чрезмерной чувствительности. Любая эмоция – страх в том числе – пробивает меня насквозь. Мир со всеми его несовершенствами для таких, как я, тяжкое испытание. Но тот же мир, со всей его красотой и нежностью, способен не только залечить мои раны, но и сделать меня сильной. Я ведь люблю его, несмотря ни на что. Так неужели я не получу от него помощь, когда мне это необходимо? «Ты ведь поможешь мне, правда?!»

Я напряженно вслушивалась, в надежде уловить ответ. Вначале не было ничего необычного. Просыпающийся город стучал окнами и дверьми, переговаривался невнятными голосами – всё это было не то. Вдруг птичий голос у меня над головой зазвучал так дивно, так ясно. Меня всегда удивляло то, что птицы, такие крохотные, могут издавать поистине удивительные звуки. Боясь спугнуть невидимого певца, я стояла не шевелясь. Казалось, весь мир замер вместе со мной. Пение длилось недолго, всего несколько мгновений. Сложная колоратурная фраза закончилась короткой звонкой нотой, прозвучавшей, как восклицательный знак. Это означало «да».

Теперь я точно знала, что делать. Для начала я подставила лицо солнцу. Я тянулась к нему, как дерево тянется к свету. И, точно как дерево, напивалась солнечной энергией. Кстати, о деревьях – они стали следующими. Переходя от липы к тополю, от тополя к клену, я гладила древесную кору, трогала изнанку листьев. Поделитесь со мной своей силой, шептала я. И они делились, разве могли они отказать. Я шла и впитывала глазами всё, что встречалось на пути: цветы, травы, сохнущее на верёвках бельё, коты на окне,

детские качели, улыбки прохожих... От пребывающей во мне силы я будто увеличивалась в размерах.

Дальше были извилистые улочки, тупики, ажурные особняки, казалось, навечно вросшие в землю, длинные, тонкие свечи многоэтажек. Подобно ненасытному обжоре, я проглотила всю архитектурную эклектику этого района с его молдавской, византийской, армянской, еврейской, турецкой, сербской, русской и другими культурами. Национальный колорит (не путать с ущербным национализмом!) сделал меня в разы сильнее. Потом церкви – в округе их было несколько, я обошла их все. Армянская, Мазаракиевская, Вознесенская, Харлампиевская, Свято-Георгиевская. Пальцы мои ласкали камни, лоб касался стен. Перед тем, как идти на улицу Рабби Цирельсона, я завернула к синагоге. Окна, эти большие еврейские глаза, чуть заметно сверкнули, дав добро. Лишь одно здание в целом районе я сочла бесполезным для себя: ночной клуб под названием «Чикаго». Громадные постеры с полуобнаженной Мэрилин на фасаде кричали о назначении дома. «Пристанище ночных фей в моём деле вряд ли пригодится», - решила я и обошла его стороной.

На Рабби Цирельсона я оказалась около одиннадцати. Старика нигде не было видно. Что ж, я могу и подождать. Сила, что была во мне, сделала меня уверенной и спокойной. Пока суть да дело, я решила выпить кофе на террасе «Астории». С террасы был отличный обзор. Когда старик появится, я сразу его увижу. Сделав официанту заказ, я попросила сразу рассчитать меня. На случай, если придется быстро уйти. И про старика спросила: в какое время тот обычно приходит? В ответ парень вытаращил на меня глаза: какой старик? Он работает здесь уже год, но никакого старика не видел! Можно, конечно, спросить у других официантов. Или на ресепшен. «Я вас очень прошу. Если вас не затруднит... Правда, никто не видел?» Странно...

Я заволновалась. Я была готова к любому развитию событий: к торгу, к выяснению отношений. То, что старик может просто не прийти, даже не приходило мне в голову. Но сдаваться я не собиралась. Поместив завёрнутую в кулёк куклу под мышку, я стала обходить один дом за другим; благо, на улице их было немного. Отвечали мне вежливо, но про старика никто ничего не знал. Не было такого, и всё тут! Все эти люди вряд ли могли в одночасье впасть в склероз. Тогда как

объяснить эту повальную амнезию? «Твоя работа?» – прошипела я в сторону куклы. А что, с неё станется. Но с выводами я, похоже, поторопилась.

Парнишка-дежурный в полицейском участке – я зашла туда напоследок – старика прекрасно помнил. Да, был такой, борода длинная, одет так... Не по сезону. Но спина прямая, будто кол в неё вбили. Как у молодого. Хотя давно не появлялся. «Постойте, он просил что-то передать. Женщине какой-то...» Ах, если бы у меня было больше времени, я вытряхнула бы из парнишки всю необходимую информацию! Всё испортил проходивший мимо пузан в форме, судя по всему, местный начальник. «Măi, Petrica, aici muncim, nu stăm la taifas!»¹ – рявкнул он на моего собеседника. Петрика пунцово покраснел и, бросив на меня виноватый взгляд, уткнулся в свои бумаги. Я осталась ни с чем.

Выйдя из участка, я задумалась. Можно, конечно, вернуться сюда позже, но я была почти уверена, что парнишка-дежурный больше ничего не скажет. Оставался ещё один шанс, последний. С этой стороны улицы я обошла все постройки, но была ещё противоположная сторона, там тоже есть дома. Вернее, один дом, под номером три. Других зданий на улице не наблюдалось. Когда они пропали и каким образом, я не имела ни малейшего представления. Впрочем, странности этой улицы уже перестали меня волновать. Загадкой больше или меньше, – какая разница. В моих поисках это вряд ли поможет, значит, не стоит и заморачиваться. Остаётся дом номер три, к нему я и направилась.

На фасаде здания красовалась вывеска на турецком языке. Из написанного я поняла лишь слово «Кебаб». Здесь, вроде, должна быть еда... Я с сомнением посмотрела на запывившиеся окна. На заведение общепита это было мало похоже. Просто заброшенный дом. Хотя часы работы на входной двери, вроде, прописаны. Недолго думая, я толкнула дверь и вошла внутрь.

Это оказалась типичная третьесортная забегаловка. Что-то среднее между столовкой и дешевым баром. От первой были простенькие столы и стулья, от второго – барная стойка. Забавно, что подобное заведение находится прямо через дорогу от «Астории» с её претенциозным шиком. Воистину, Кишинёв – город контрастов.

¹ «Măi, Petrica, aici muncim, nu stăm la taifas!» (румын.) – «Мэй, Петрика, мы здесь работаем, а не занимаемся болтовней!»

За барной стойкой сидел мужчина грузного телосложения и явно восточной внешности. Определить национальность более точно я бы не рискнула. Оливковая кожа, большой мясистый нос, тёмные глаза и брови могли в равной степени принадлежать турку, греку или даже армянину. На меня мужчина посмотрел недовольно. Для таких мест это нормально. В пафосных ресторанах обслуга крутится вокруг тебя, как девушки у пилона. Забегаловки - это другое. Посетителей здесь не жалуют: чего ходят, только от дел отвлекают. Я подумала, что чувство собственного достоинства у работников общепита обратно пропорционально статусу заведения, в котором они работают. Надо что-то заказывать, иначе разговора не получится. Я подошла к стойке и глазами пробежала меню с напитками. Пожалуй, самое безобидное питьё – это чай. Да, в пакетиках, да, отравя. Но отравя привычная, без подвоха. «Мне, пожалуйста, чёрный. Сахар взять самой?» Ок. Теперь можно переходить к сути вопроса. «Извините, вы не подскажете... Я ищу одного человека. Может, видели?..» Привычной скороговоркой я повторила описание старика. Я ни на что не надеялась. Однако бармен, порывшись в недрах прилавка, вытащил на свет плотный тёмно-серый конверт и протянул мне. На конверте не было написано ни слова.

«Это точно мне, вы уверены?»

«Больше про старика никто не спрашивал» Ответ прозвучал логично. Я посмотрела на конверт, потом на бармена. Более неподходящего человека на роль вестника судьбы, чем этот грузный носатый мужчина, было трудно себе представить. «А на что ты рассчитывала? Что к тебе явится ангел с крылышками или чёрт с рогами и хвостом? Кто ты вообще такая, чтобы судить о замыслах судьбы?» И то верно.

«Спасибо. Можно я прочту здесь, у вас?»

«Без проблем», – ответил носач и занялся своими делами, наверняка гораздо более важными, чем одинокая посетительница и её странное письмо.

И вот я сижу за столом. На соседнем стуле лежит по-прежнему завернутая в кулёк кукла. На столе передо мной стакан с чаем, сбоку от него конверт. Я касаюсь конверта рукой: ого, какой плотный! Что же внутри? Но открывать его не тороплюсь. Чай я пью медленно: беру стакан в руки, отхлёбываю глоток, после чего ставлю стакан на место. Чай невкусный, он отдает водопроводной водой. Даже сахар не спасает положение. Одно утешение, что горячий. На улице лето, жара,

да и здесь, в «Кебабе», не холодно. Но меня почему-то трясёт мелкой дрожью. Да ты боишься! «Боюсь», - честно признаюсь я. Все боятся неизвестности.

Повинуясь внутреннему импульсу, я достаю из кулёчка куклу и сажаю на стул рядом с собой. Ну вот, теперь нас двое. Пожалуй, можно начинать. Я быстро допиваю оставшийся в стакане чай и решительно вскрываю конверт.

«Когда вы будете читать эти строки, меня, возможно, уже не будет в живых...»

Хорошенькое начало! С моих губ срывается нервный смешок. А страниц сколько! Потянет на роман. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Но с первых же строк письмо заворожило меня. Старик рассказывал о событиях давно минувших дней так увлекательно, что оторваться было невозможно.

«...Я родился в Кишиневе в религиозной еврейской семье. До определённого момента я ничем не отличался от других еврейских мальчиков, своих сверстников: учёба в хедере, потом ешива... Реальная жизнь интересовала меня гораздо меньше Торы, которую я с упоением изучал. Одно время родители стали поговаривать о том, чтобы уехать в Палестину. В их памяти ещё были свежи кишинёвские погромы начала века, и они хотели уберечь нас с сестрой от возможных повторений. Но мой дядя Идэ-Лейб Цирельсон (да-да, это в честь него назвали улицу!) отговорил их. Зачем куда-то ехать, мальчику и здесь найдётся занятие, пусть лишь подрастёт. Дядя с его положением главного раввина был уважаемым человеком не только в кишинёвской еврейской общине, но и во всей Бессарабии; его авторитет был непререкаем. Уезжать родители раздумали».

Я читала письмо, и старые кишинёвские улочки на глазах молодели, заполнялись людьми. Вот крестьяне – приехали из молдавских сёл и привезли товар на продажу. Запряжённая в каруцу лошадь еле идёт. Важная дама под руку со щёголем в новомодном костюме приковывают всеобщее внимание – эти как сюда забрели?! А вот и немолодой ребе в окружении бойких еврейских мальчиков в кипах. К слову о мальчиках – наш-то повзрослел. Теперь это стройный юноша, носит шляпу и лапсердак. Пришла пора подумать о женитьбе. Как и положено, ему сосватали хорошую еврейскую девушку, тихую, скромную. Ах, женись он на Басе, возможно, всё было бы по-другому! Хотя кто знает...

А что кукла? Про неё пока ни слова, только Кишинёв.

«...В промежутке между двумя войнами жизнь в Кишинёве бурлит. В городе полным-полно приезжих. Бежали от большевиков, потом от немцев. В соседнем с нами доме тоже появились новые люди, приехали из Венгрии. Это была еврейская семья: муж с женой и их дочь, моя ровесница. Так я увидел Перл. Яркая и живая, она отличалась от местных девушек, как роза отличается от полевых цветов. Недаром её имя переводится как жемчужина. При взгляде на Перл кровь забурлила у меня в жилах. За всю свою, пусть и недолгую, жизнь я не видел никого прекраснее. Она тоже меня полюбила, и совсем скоро мы поклялись друг другу в вечной любви...»

Читая письмо, я словно увидела девушку воочию: её влажные чёрные глаза, длинные косы, мягкие линии по-женски сформировавшегося тела. Неудивительно, что парень потерял голову!

Спустя несколько встреч (проходили тайком) влюблённые решили пожениться и сообщили об этом родителям. Однако их честность родные не оценили; разразился грандиозный скандал. Помолвленный еврейский парень хочет жениться на другой – позор! Не бывать этому!

Дальше всё, как в известной шекспировской трагедии: родители ставят ультиматумы, дети стоят на своём. Здесь в тексте письма впервые упоминается кукла. Мол, Перл обожала её, всё время носила с собой. Это был подарок бабушки. Что за бабушка, не говорится, молчок. Но знала ли девушка о магических свойствах куклы? Вряд ли. Иначе как объяснить то, что случилось потом. Придя в бешенство от тирании взрослых, Перл стала как неменяемая. Кричала, что ненавидит свой народ со всеми его старозаветными законами. На словах всё по правилам, а сами погрязли в грехах. Господь, - и тот не выдержал, недаром прогнал евреев с Земли Обетованной. Да хоть бы их вообще не было!

И это при кукле! Боже-Боже...

Не удивительно, что беда не заставила себя ждать: начавшаяся вскоре война чуть было не стёрла еврейскую нацию с лица земли. Вспомнив рухнувший у меня на глазах дом, я подумала, что ещё легко отделалась. Впрочем, в отличие от бедняжки Перл, я пожелала смерти дому, но не людям. А вот старик в своем письме магической версии не придерживался. Да и девушку оправдывал. Мол, его Переле тут ни при чём, это просто совпадение. Так или иначе, обе семьи, его и Перл, оказались в гетто.

Территория кишинёвского гетто растянулась от нынешней улицы Иерусалимской чуть ли не до самого железнодорожного вокзала. Улица Рабби Цирельсона как раз по центру. Евреев согнали туда со всех окрестных районов. Со всей Бессарабии на евреев поступили тысячи доносов, Кишинёв не был исключением. Писали на своих еврейских соседей: портных, обувщиков, зубных врачей. Кто-то делал это со страха. Иной зарился на соседское имущество. Донос – возможность завладеть им без особого труда. Причины у доносчиков были разные, результат один.

Старые дома помнят и это, и многое другое, но они скорбно молчат, не желая тревожить память мёртвых. Старик тоже не вдавался в подробности, лишь скупко написал, что война забрала всех его близких, включая именитого дядю. Выжил он один.

А что Перл? Его жемчужина укатилась. Сбежала с румынским офицером, охранником из гетто. Он не винит её. Перл была молода и хотела жить. Странно только, что она не взяла куклу с собой. Может, просто не успела. В тот день Кишинёв бомбили. Свинцовый дождь лупил без остановки. Дождавшись затишья, парень сразу бросился в дом Перл, но там никого не было. Одна кукла сиротливо сидела в углу. При взгляде на неё парню почудилось, что с кукольного лица на него смотрят глаза девушки. «Переле, любимая, почему ты оставила меня?..» Словно отвечая ему, кукла моргнула.

Тут история любви заканчивается и начинается история куклы. Вот что удалось узнать о её происхождении. Была на севере Трансильвании одна ведьма, делала магические обереги в виде кукол. Вроде, её это работа. Обереги были простенькие. Но были и другие куклы. Для них ведьма и ткани дорогие покупала, и кружево. Этих видели только заказчики, больше никто. Односельчане ведьму как огня боялись, к её жилищу просто так, без дела, не ходили. Но слухами, как известно, земля полнится. Говорили, что в кукольные волосы ведьма добавляла свой собственный. Ещё и заговаривала особым заклинанием. Впрочем, могли и болтать, у страха-то глаза велики.

Но как кукла попала к Перл? Сама девушка рассказывала, что куклу ей подарила бабушка. А вдруг бабушка и была той самой ведьмой? Может быть. Но подтверждения этому старик не нашёл.

«...И ещё: кукла сама выбирает себе хозяев. Хотя это происходит обоюдно. Будущий владелец обычно видит в кукле не просто искусно выполненную игрушку, а живую сущность.

Кукла, в свою очередь, подаёт знак. Отдавать её в другие руки без этого знака нельзя. Чревато ужасными последствиями. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Когда кукла моргнула, и вы, увидев это, вскрикнули, мне стало ясно, что она сделала свой выбор...»

Я скосила глаза на куклу – важная и невозмутимая, та сидела на стуле. Казалось, она прекрасно сознаёт собственное могущество. Мне, в который раз за сегодняшний день, стало не по себе.

«Но не стоит думать, что кукла всеильна, – продолжал старик. – Как я ни пытался с её помощью найти Перл, ничего не вышло. Похоже, проклятья, которыми в запале сыпала девушка, перешли и на неё, увы.

Почему же, зная всё это, я не уничтожил куклу, не сжёг её, как в средневековье сжигали ведьм на кострах? Ответ прост: я не мог. Кукла не только была похожа на Перл, она напоминала мне о том периоде моей жизни, когда я был юн, чист душой и полон надежд. Других свидетелей у меня не осталось.

Когда я узнал о магических свойствах куклы, то и вовсе не стал от неё избавляться. Трудно противостоять соблазну. Особенно если ты молод и несчастлив, каким я был тогда. Кукла казалась мне неким возмещением. Я хотел разбогатеть – и у меня не было недостатка в средствах. Мечтал о любви – все девушки мира были в моем распоряжении. Был момент, когда я увлёкся благотворительностью, но бюрократия и мошенники, что всегда сопутствуют таким делам, отвратили меня. Я даже вернул молодость собственному телу! Наивный, я думал, что таким образом смогу омолодить и душу. Но эта субстанция оказалась кукле не по зубам. Может, и правильно.

Если бы у меня была семья или близкий друг, наставник, возможно, всё было бы по-другому. Но я был одиночкой, за всю свою жизнь не прикипел душой ни к людям, ни к месту. Неудивительно, что в какой-то момент я затосковал. Снова вернулся к Торе, как когда-то в детстве. На мою душу, наконец, снизошёл покой. Жизнь с её горизонтами больше не манила меня, соблазны не трогали. Я понял, что хочу лишь одного – умереть. Но оставалась кукла. За годы, проведённые вместе, она стала частью меня, я не мог бросить её просто так. Надо было найти ей нового хозяина. Или хозяйку. Это оказалось сложнее, чем я думал. Я переезжал из страны в страну, из города в город. По натуре замкнутый, теперь я по-

стоянно бывал на людях. Я носился с куклой, как отец носится с дочерью на выданье. Казалось, она вот-вот подаст знак. Но ничего не происходило, знака не было. Иногда мне казалось, что кукла нарочно тянет время – не хочет со мной расставаться. Ерунда, конечно.

Когда я совсем отчаялся, я вдруг вспомнил о своей родине. В Кишинёве я не был со времён войны. Я уезжал из руин, в прямом смысле, а вернулся в современный, но абсолютно чуждый мне город. Лишь развалины ешивы да ещё несколько зданий напомнили о прошлом. Название улицы – Рабби Цирельсона – вселило в меня некоторую надежду. Я словно услышал голос дяди: «Будь здесь, на этой улице, и у тебя всё получится!» Так и вышло.

Вот и вся история. Простите мне мою старческую болтливость. И вообще – простите. Мне жаль, что я втянул вас во всё это, но у меня не было выбора. А по поводу куклы: я бы посоветовал сделать то, на что у меня не хватило смелости, – сжечь её. Впрочем, это решать вам.

Что касается меня, я ухожу с радостью. Я верю, что после смерти, наконец, смогу воссоединиться с моими близкими.

Милая моя Переле, я иду к тебе, иду...»

Дочитав письмо до конца, я отложила листки в сторону. Я сидела в этом странном месте и чувствовала, как течёт время. Его потоки, словно струи воды, омывали меня со всех сторон. Только сейчас я заметила, что помещение, в котором я находилась, довольно велико. Освещение было слабым, и все предметы в нём казались чуть размытыми. Это ещё больше усиливало чувство ирреальности происходящего. Через окно можно было увидеть развалины ешивы и угол «Астории». Если старик писал своё письмо здесь (где ещё он мог его написать?), он видел то же, что и я. Обрамлённый в оконную раму пейзаж был лишь малой частью картины. Увидеть картину полностью было невозможно. «В этом и есть жизнь, вся её суть», - подумала я. Каждый из нас видит лишь часть картины, но никогда целиком. Разве что на пороге смерти.

Я подумала и про старика: он наверняка знал, как я поступлю с куклой. А я вот не знаю! В какой-то момент мне, правда, захотелось её уничтожить. Кукла вдруг показалась мне исчадием ада. Абсолютным злом. Может, все войны, которые происходят на земле, начались из-за таких вот кукол?! Сколько их понаделала проклятая ведьма?..

«Остынь, - сказала я себе. - Проще всего обвинить куклу. Но желания загадывают не куклы – люди. В моём случае вопрос стоит иначе: смогу ли я, владея куклой, настолько контролировать свои мысли и эмоции, чтобы никому не пожелать зла? Пожалуй, нет. Почему же я колеблюсь?»

Я подумала о странах, в которых никогда не была, о городах, которые не видела. Мир вот-вот откроется мне во всей своей красоте и полноте, и я от всего этого откажусь?!

Ещё я подумала о любви. Не только у старика была грустная любовная история. Моя история тоже не отличалась хорошей концовкой. Я вспомнила мужчину, которого любила так сильно, что дрожь проходила по моему телу при одной только мысли о нём. А ведь я ни разу не просила куклу ни о чём осознанно! Так пусть моя первая просьба будет о любви. «Хочу, чтобы он был моим!» – отчаянно выкрикнула я, глядя в фарфоровое лицо.

От моего крика бармен, охнув от неожиданности, уронил стакан. Осколки разлетелись по полу со стеклянным звоном. Листки бумаги вспугнутыми птицами слетели со стола. Кукла, - и та затрепетала пушистыми ресницами. Раньше я бы подумала, что про ресницы мне показалось. Не было ничего, и быть не могло! Но теперь я точно знала: это означает «да».

Соседи

Иногда Григорий смотрел на Марию и думал - как такое может быть, что женщина за сорок лет совсем не изменилась. Как она за все годы не растолстела, не согнулась, не покрылась морщинами. Он в свои шестьдесят семь чувствовал себя стариком, развалиной. У Гриши были залысины и серая неопрятная седина, а у Маши в курчавых чёрных волосах едва-едва пробивались тонкие серебряные нити. У Гриши с годами появился пивной живот и варикоз, а фигура жены по-прежнему напоминала гитару; тяжёлая работа каким-то неведомым образом пощадила её крепкие ноги и руки, только кожа её, и в молодости смуглая, с годами запеклась на беспощадном южном солнце. Мария двигалась плавно, говорила громко и ругалась с соседями задорно, как в молодости.

Они купили свой домишко в маленьком городе у самой границы много лет назад, и долго, - почти целую жизнь, - выплачивали за него ипотеку. Приходилось тяжело работать обоим, чтобы растить троих детей, оплачивать этот домик, требующий постоянного ремонта, этот палисадник, в котором Гриша повесил качели сначала для детей, а потом и для внуков, эту быстро ветшающую веранду, на которой стоял обеденный стол и старый диван, этот вечно облупленный забор, отгораживающий их от соседей, - такой же небогатой пары работяг с детьми, которые шумели до поздней ночи и держали мелких гавкучих собак.

Жилось Грише с Машей в этом доме с палисадником счастливо, но тяжело. Работали они оба на заводе. Платили мало, требовали много. Хватало заработков на самое насущное. Они за границей не бывали, и мебель не меняли до тех пор, пока дети не выучились и не были пристроены. А когда все трое детей обзавелись семьями и работами, закончилась, наконец-то, ипотека.

Можно было начинать жить. И они зажили! Они купили кровать с электроподъемником матраса. Обновили кухонный гарнитур. Обзавелись новым столовым гарнитуром с дюжиной стульев, чтобы было куда посадить детей, их пары, и внуков - одновременно. В самую последнюю очередь Гриша вышвырнул с веранды старый потрескавшийся стол и ненавистный пыльный диван. Их сменил набор садовой мебели

из ротанга – стол со стеклянной столешницей, удобные полукресла и подвесной диванчик-качели.

- Мы тут будем завтракать каждое утро, - сказала Мария мужу, оглядывая обновлённую веранду. - Просто будем вставать пораньше и завтракать до наступления жары. Да?

- Да, - ответил Гриша и заулыбался в седые усы, - мы же ранние пташки

Целый год и ещё месяц они действительно каждый день завтракали на веранде в самые ранние часы, по привычке просыпаясь ни свет ни заря. Зимой, когда лил дождь, пришлось, конечно, пропустить пару недель, но всё остальное время они усаживались по утрам с чашками кофе и нехитрым набором из салата, творога и бутербродов за новый стол; с наслаждением, не спеша, ели, рассматривая через разросшиеся у забора бугенвиллии, как просыпается улица. Они жили на углу в самом начале улицы, и вся её жизнь проходила у них на глазах, перед домом. Так они узнавали новости, здороваясь с проходящими. Так находили и темы для дневных разговоров.

Сначала один за другим выезжали с улицы соседские автомобили – в большинстве соседи работали в других городах, и к семи утра разъезжались все добытчики. Чуть позже на работу пешком отправлялись те, кто смог найти возможность добыть пару копеек в их маленьком городке: в основном, это были женщины в возрасте, подрабатывающие уборкой и уходом за стариками. Затем приходила очередь мамочек с колясками и школьников. Этих на улице было совсем немного; молодёжь неохотно селилась в старой части городка. Последней мимо калитки проходила соседка со своим визгливым пёсиком. Она, по меткому замечанию Марии, любила поспать, и раньше восьми утра её несчастный питомец на прогулку не выходил.

По субботам ранний завтрак супруги ели в полном одиночестве, улица спала допоздна. Но отсутствие пищи для разговоров в субботу скрашивалось особым меню, которое подавала Мария. Она была отменной кулинаркой, и на субботнем столе с утра были с полдюжины домашних салатов, и домашние пышные пирожки, и хала, блестящая мёдом на румяном боку, и творожная запеканка. А ещё Мария пекла апельсиновый кекс, благоухавший, как весенний сад.

Утро было тихое, толстые желтоклювые майны сварливо перекликались, расхаживая по забору, где-то стрекотала поливалка, которую забыли отключить. Григорий сидел на ди-

ванчике-качелях и смотрел, предвкушая сладость неторопливого субботнего завтрака, как из распахнутой двери выходит Мария с полным подносом в руках, почти такая же грациозная и стройная, как четыре десятка лет тому назад. Как робкие лучи ещё не жаркого солнца скользят по её смуглым рукам, пока она расставляет тарелки и миски, как снимает с халы белую салфетку.

- Как там говорили мудрецы прошлого: три вещи расширяют горизонты человека - красивый дом, красивые предметы и красивая женщина. Вот и я дожился, чтобы согласиться.

Полосатый уличный кот крался от калитки, поглядывая на птиц, ветер позванивал керамическими колокольчиками, развешенными на ветках лимонного дерева, которое протянулось на их участок от соседей.

Внезапно раздался рёв моторов; на улицу с перекрёстка влетели несколько мотоциклов, а вслед за ними белый тендер. Гриша встал, чтобы взглянуть на происходящее, Мария оставила кофейник и последовала за мужем к калитке. Мужчины, выскочившие из тендера и слезшие с мотоциклов, рассыпались по улице, что-то выкрикивая. Потом раздался оглушительный звук, похожий на треск. В грудь Григория что-то ударило мощно и горячо. Мария закричала. Он успел обернуться на её крик; и последнее, что увидели его затуманенные чудовищной болью глаза перед тем, как свет навсегда померк, - как его прекрасная, его любимая, его ещё совсем не старая жена падает навзничь, раскинув руки, и её чёрные, блестящие, едва тронутые сединой волосы летят, как крылья, вокруг её простреленной головы.

Психолог сидел в сером икеевском кресле спиной к окну. За окном дождь поливал серые дома, тусклые силуэты деревьев трепал беззвучный ветер, ранние сумерки опускались на город. Психолог сидел и слушал, не вертя в руках карандаш, ничего не записывая, но подавая реплики тогда, когда Дана замолкала. Дана не смотрела на психолога. Дана смотрела на хлещущие в стекло струи дождя, разбивающиеся об окно и разлетающиеся крошечными каплями, сбегаящими неторопливо вниз, в темноту и неизвестность.

- Я на самом деле отлично держалась с самого начала, не смотря ни на что, - говорила Дана каплям за спиной психолога. - Сразу начала волонтерить. В основном, в своём городе развозили еду, лекарства, корм для животных. Очень многие боялись из дому выходить, а некоторые и не могли.

Обстрелы были жуткие, у некоторых дети маленькие, у некоторых старики. А мы с ребятами ездили. Не то, чтобы не боялись, но без паники. Я вообще не паникёр, на самом деле. Да и легче мне справляться с ситуацией, если я в движении и могу пользу приносить. Вот и ездили мы по двое-трое. За день так уставали, что еле-еле домой приползала. Тут хоть стреляй мне под ухом, - спала как убитая.

Дана запнулась, и опустила глаза.

- Очень уставали все, короче. И я уставала. Но держалась.

- И что же случилось? – спросил психолог, не пытаясь перехватить Данин взгляд, по-прежнему направленный в сумерки за его спиной.

- Спросили нас: кто хочет отвезти дюжину коробок гуманитарки в соседний городок, который сильно пострадал? А я и обрадовалась. Во-первых, наконец, из своего города выехать, - всё-таки развеяться. Во-вторых, ехать далеко, потому что прямую дорогу тогда перекрыла армия. Значит, можно будет ни о чём не думать довольно долго. Два часа туда, два обратно, вокруг поля, ничего лишнего. Врубим, думаю, музыку, и поедем. И руку тяну: я, я хочу поехать. Кроме меня, никто не вызвался. Я ещё подумала: как это странно.

- И что произошло в поездке? – спросил психолог.

- Отлично доехали, – ответила Дана и поудобнее устроилась в таком же сером, как у хозяина кабинета, кресле. – Проехали не через южный въезд в город, а через северный, сразу в новый квартал. Конечно, по дороге видели и сгоревшие машины, и воронки от взрывов. Армейских джипов там было немеряно, но в самом городке всё было тихо и мирно. Там виллы такие - прям красивые, с пальмами, с фруктовыми деревьями, на улицах везде фонари одинаковые, на перекрёстках цветы высажены, белые и красные. А главное: погода была просто сказочная. Небо синее-пресинее, облака мелкие, белые, как пух, солнце из-за облаков ласковое, осеннее. Пастораль. Тишина. Развезли все коробки по адресам, - семьи военных, отец не дома, а жене не выбраться надолго, обстановка ещё не та.

- Как вас встречали? – спросил психолог, видя, что, несмотря на спокойный тон, его клиентка напряглась, как перед прыжком.

- Отлично! – Дана расслабилась и даже улыбнулась. Улыбка давалась ей не слишком хорошо, губы привычно пошли уголками вверх, но глаза по-прежнему смотрели куда-то прямо и одновременно внутрь. – Отлично встречали. Напо-

или кофе, предлагали еду, выпечку, даже с собой предлагали. Там очень гостеприимные люди живут. Радушные. Любят кормить пришедших в дом. Мы, как могли, отказывались. Но кофе пили, чтобы не обижать, везде.

- И что же случилось? – подал реплику психолог, глядя на гаснущее подобие улыбки на лице сидящей перед ним женщины. В ней что-то неуловимо изменилось, как будто она потемнела; на лице, круглом и гладком, залегли тени, глаза прикрылись тонкими веками, руки легли на колени, словно она собиралась отвечать на экзамене. Но, возможно, это была игра света, уже почти угасшего в струях вечернего ливня.

- Ничего не случилось, - ответила Дана монотонным негромким голосом, как будто рассказывала эту историю в сотый раз. – Ничего не случилось. Мы всё развезли, вернулись в машину, и вместо того, чтобы выехать из города по той же дороге, по какой приехали, я поставила навигатор. А навигатор повёл нас на южный выезд. Свернули на улицу, где по обеим сторонам дороги стоят маленькие дома с палисадниками. И все эти дома были как решето. Стены в следах автоматных очередей, разлетевшиеся вдребезги окна. Пустые дома на пустой улице. А на воротах каждого по несколько таких печатных объявлений о похоронах, ну, вы знаете...

- Знаю, – кивнул психолог.

- Вот я еду по этой улице, смотрю на эти раненые дома, на эти объявления, на свечи у калиток, и понимаю, что улица не кончается. Я как будто тянусь по ней, как резинка. Начиная от первого дома, становлюсь всё тоньше и тоньше, и вот-вот порвусь... Но, в конце концов, улица закончилась. И мы свернули на другую, точно такую же. И на ней тоже ни одной живой души. Никого, ни человека, ни животных. Только дома в чёрных дырах, окна без стёкол кое-где, и на воротах объявления. Та, вторая улица была очень красивая, из-за заборов бугенвиллии цветущие видны, жасминовые кусты, деревья красным цветут, - огненное дерево, ну. И погода прекрасная. Ветерок. Солнце. Небо синее, облака плывут медленно, и я машину веду медленно, потому что дышать очень трудно, воздух как наждак, всё внутри царапает. Самая длинная поездка в моей жизни была. Я репортажи по телевизору видела, конечно, но на самом деле это страшнее в сто раз. Как будто кошмар снится, но это не сон.

Дана помолчала, беспомощно глядя на свои руки, как будто они всё ещё лежали на руле медленно плывущей по пустой расстрелянной улице машины.

- Я, наверное, выглядела не очень; тогда ребята, с которыми мы ехали, стали искать воды, чтобы я попила. В машине воды не оказалось, но в самом конце этой улицы оказался магазинчик, и он был открыт. Мы вошли, и навстречу выскочил старичок, такой типичный восточный дедушка, в клетчатой рубашке, которая не застегивалась на круглом животике, в тренировочных брюках и в шлёпанцах. Заросший седой щетиной, суетливый и добродушный. Он продал нам воду, но было видно, что ему очень хочется поговорить. Он был абсолютно один в своём магазинчике, наверное, большую часть дня, ведь на улицах никого не было. И мы разговорились.

Дальше Дана говорила уже громче и быстрее, словно хотела закончить рассказ как можно скорее.

- Он нам рассказал, что прожил на этой улице всю жизнь, что его дом - вот он, дальше по дороге, что его в ту роковую субботу дочь с зятем забрали погостить. Потому он и жив. А всех остальных убили. Всех его соседей, он их всех знал.

Он выскочил из магазинчика и вытащил нас на залитый светом тротуар. «Видите вот этот дом, где окно выбито? Туда террористы стреляли через окно, убили всех, кто сидел на кухне. А вот этот дом видите? Где кусты красным цветут? Вот там мои друзья жили, Гриша и Мария! Очень хорошая семья. Дружные такие. А как Маша готовила! Лучше даже моей покойной жены! Они на веранде завтракали, их первыми прямо во дворе убили. Убили, зашли к ним на веранду и съели завтрак, который Маша приготовила».

- И знаете, что совсем уж непостижимо, – сказала Дана после долгой паузы, когда темнота перелилась в комнату из-за окна и растеклась по углам. – Самое непостижимое, что одного из этих террористов опознали по съёмкам с их же собственных видеокamer. Он в этом городке несколько раз подрабатывал на стройках. Той пожилой паре, Григорию и Марии, которая жила в начале улицы, ремонтировал веранду. Они его всегда угощали домашней выпечкой, говорят. И с собой всегда давали сладости, для детей. По-соседски, как принято.

Председатель совета отряда

1. Борисов пришёл в восьмой класс нашей частной школы «Циркуль» не как нормальные новички – к началу учебного года, – а со сдвигом, к концу октября, перед осенними каникулами. В этом сдвиге тоже было нечто тревожное, логика не прослеживалась. Русичка Рита коротко и невнятно объявила, что к нам прибыл новый товарищ из-за границы, прошу любить и жаловать. За границей нас было трудно удивить, в «Циркуле» училась элита, но главным образом те, кто не усидел в Летово или Дубках. Народ вообще был пёстрый, и не сказать, чтобы благополучный: родители занимались деньгами, карьерами, иногда – если женились на молодых – друг другом (у нас полкласса была из таких семей: отцы после первых успехов обзаводились свежими подругами, а детей в виде компенсации устраивали в дорогую школу, где их не напрягали науками и часто возили в увеселительные поездки). Люди мы были тёртые, рано повзрослевшие, всякого повидавшие и обиженные на мир. До прямого буллинга доходило редко, но дружелюбия тоже не наблюдалось.

Борисов был высок, желтоволос и сосредоточен. Решили подвергнуть его дежурству. Это было у нас обычное развлечение, проба на слабину. Дежурство в «Циркуле» не предусматривалось, порядок в классах наводили специальные люди; во время перемен они быстро стирали следы маркера с белых скрипучих досок, после занятий профессионально мыли полы, приводили в порядок буфет и вообще делали всё, за что у состоятельных людей отвечает горничная. Борисову сказали, что в качестве новичка он должен после занятий вымыть пол и тщательно прополоскать губку. Некоторые новички, к общей потехе, принимались неумело мыть полы, другие залупались и получали по шее (либо, если сами могли дать по шее, перемещались на следующую ступень общества). Борисов выслушал информацию очень спокойно, глядя прямо в глаза Биргеру, который взял на себя инициацию, и сказал, как бы удивляясь незнанию элементарных вещей:

- Но меня не назначают дежурным. Я председатель совета отряда.

Никто понятия не имел, что это такое, но выглядел и звучал он так уверенно, что Биргер несколько опешил.

- Ну и что, - сказал он. - У нас тут без разницы. Пришёл - значит, дежуришь. Это школьная традиция.

Слово «традиция» в последнее время объясняло всё.

- Это меня не касается, - холодно сказал Борисов. – Председатель совета отряда действует по регламенту.

Отец рассказывал мне что-то такое из пионерского детства (я поздний ребенок, и мой старик застал времена глубокого совка), так что термин был мне смутно знаком. Я помнил, что это нечто идейное и выборное. До новой пионерии дело не дошло, но быстро к ней катилось.

- Мы тебя не выбирали, - сказал я Борисову, чьё спокойствие начало меня бесить. Он казался старше всех наших. Глаза у него были интересные, ярко-зелёные с ржавыми пятнами. Казалось почему-то, что у него должны быть веснушки.

- Конечно, - сказал Борисов. - Вы и не могли меня выбирать. Это не ваша обязанность.

- А чья? - спросил Биргер.

- Этого вам знать совершенно не нужно, - ответил Борисов не нагло, а скорее сочувственно. Он как бы жалел нас, которым не нужно знать такую интересную вещь.

- Ну, вот что, - решил подбавить жару Гороховский, человек скандальный и обидчивый. - Быстро пошёл набрал воды, швабра в туалете на пятом этаже, вымыл пол и стёр с доски, потом доложил охране внизу и кыш из школы на все четыре.

- Ничего подобного не бывает, - странно ответил Борисов. Он держался так, словно за ним стоял не только школьный охранник, но и личный охранник, и ангел-хранитель. Он небрежно отодвинул Биргера и пошёл к выходу.

- Э, э! - крикнул было Биргер, но тут я почувствовал, что трогать этого человека не надо, что мы можем сделать себе хуже, и что даже победа над ним не доставит нам никакой радости.

- Оставь его, Семён, - сказал я по возможности презрительно. - Мэн не в себе.

Борисов остановился и внимательно на меня посмотрел.

- А позвони домой, - сказал он с тем же непонятным сочувствием.

- Кому? Тебе, что ли?

Как уже сказано, я был поздним ребёнком и всегда боялся, как бы чего не случилось с отцом. Старик был тогда ещё крепок и никогда не жаловался, но я его любил и беспокоился, когда он вдруг задрёмывал во время разговора или беспричинно вздыхал за обедом.

- Позвони, - повторил Борисов и вышел. За ним никто не приехал; я видел в окно, как он вышел из школы и с рыжей кожаной сумкой на плече неторопливо пошёл к выходу из нашего двора, в котором доцветали последние астры. У него был вид человека, который никуда не спешит и никогда не опаздывает. Он двигался сосредоточенно, - вот как я подумал о нём.

- Он ..нутый, - сказал Биргер.

-- От..дить всегда успеется, - сказал я, и хотя мне не хотелось звонить при наших, набрал отцовский номер. Отец был недоступен, у него, вероятно, шло совещание, или его вызвали в министерство, куда вообще в последнее время дёргали часто - они всё время там теперь совещались, пытаюсь остановить неизвестно что. Мне, однако, стало тревожно, даже руки вспотели; я набрал мать, но она не ответила. Старшая сестра была у себя в Вышке и знать ничего не могла. Я договорился сегодня идти с Гороховским к нему - проходить «Атаку дронов», но вместо этого вызвал шофера и рванул домой, сам себя презирая за идиотскую тревогу. Конечно, отец вернулся к девяти и был в полном порядке, мать была очень тронута моим беспокойством и сказала, что я добрый мальчик; но вместо того, чтобы возненавидеть Борисова, я ощутил, как говорил во время аттестаций историк Бархатов, неприятный трепет в членах.

Дело в том, что к чему-то такому шло, и важной частью этого была именно «Атака дронов». Мы как раз получили седьмой выпуск, рассылал её по подписке таинственный Мистер Рипер, жил он то ли в Израиле, то ли в Португалии, и кому-то даже отвечал на письма; я лично видел пару его посланий, предупреждавших о сумрачном и непонятном, но с непременным вкраплением пары точных слов и узнаваемых примет. Игра была очень так себе, но всегда обрывалась на самом таинственном месте, а следующий выпуск всегда начинался с другого, не менее таинственного. Герои каким-то образом участвовали в войне, ходили по разбомбленным городам, искали непонятные артефакты в виде обломков странной техники, инопланетной с виду, и иногда бесследно исчезали. Играло страшное количество народу, и кто-то, говорят, даже встречался в реале, но сам я ни на одну такую встречу пока не попадал. У меня было подозрение, что разведчик Глюк – девочка, причем красивая и опытная, что-то такое чувствовалось в её манере держаться, и я много раз ей намекал, что хорошо бы пересечься в «Неоне», исправно

работавшем, несмотря на все ограничения, - но она туманно отвечала, что сейчас не время.

Всё это, включая Борисова, складывалось одно к одному: еженедельные рассылки «Дронов», в которых война становилась всё кровавее, ужасное настроение отца, который уже и не пытался его скрывать, затянувшаяся золотая осень, из-за которой казалось, что оттянутая пружина бьёт сильнее, – и теперь ещё этот на наши головы председатель совета отряда, профессор кислых щей, с его повадками право имеющего. Я хотел уже на следующий день очень серьезно сказать, что мои домашние дела – не повод для шуток, и пусть он лучше подумает про своё здоровье, но как раз ночью у нас взорвался котёл, чего в поселке до сих пор не бывало; конечно, вовремя подняли тревогу и привели отопление в норму, но до пяти утра длился переполох, и отец на всякий случай вызвал людей из следственного комитета. В «Циркуль» меня не повезли, а там и пятница, и в следующий раз я увидел Борисова только через три дня. Он один сидел за последним столом в среднем ряду и рассеянно слушал историка, периодически делая пометки в темно-зелёной тетради «Pelican» с бархатной обложкой.

На него как-то быстро перестали обращать внимание. Он почти ни с кем не разговаривал, мало ел во время завтраков, с собой ничего не приносил и после уроков сразу уходил домой. Или не домой – чёрт его знает, куда он направлялся через двор сосредоточенной походкой, не глядя по сторонам и не вынимая рук из карманов. Он всегда был очень хорошо одет, и всё это замшевое или кожаное прекрасно на нем сидело, но очень скоро я забывал, что это, собственно, было. А скоро всем стало не до него, наметилась поездка в Питер, и Борисов не напоминал о себе до тех пор, пока его не вызвал физик. Странно, я даже не помню толком, о чем шла речь.

- Мне это не очень интересно, - сдержанно ответил Борисов.

Физик Шатунов и сам был тот ещё фрик, с великими, как говорили, заслугами в прошлом, - будто бы он раньше работал на оборонку, но, не желая продавать душу, ушел в теорфизику, зарабатывал репетиторством и почти уже открыл что-то чрезвычайно великое, в чём разбирались на свете три человека – двое в Йеле и один в Принстоне. Объяснял он крайне необычно, но если немного напрячься – понятно; мне, во всяком случае, суть его объяснений открывалась по-

сле некоторого скачка, как при вглядывании в объёмную картинку, когда сначала все хаос, хаос, а потом вдруг зая на задних лапках. Надо расслабить глазной нерв – и вдруг разверзается объём, и в следующую секунду уже непонятно, как этого не видят другие. Шатунова любили, считали безобидным и никакого издевательства над ним не потерпели бы.

- Если ты не понял, - Шатунов никому не выкал, - можно подойти после уроков, я, может быть, что-то подскажу.

- Да нет, что там не понять, - с лёгкой досадой сказал Борисов. - Дженкинсу, например, это тоже неинтересно.

- Какому Дженкинсу? - не понял Шатунов; видно было, что об этом физике, или кто он там был, он слышит впервые, а это было, как минимум, маловероятно.

- Такому Дженкинсу, - терпеливо сказал Борисов. - Ещё такой есть Шариф. Ему тоже неинтересно.

Тут подал голос Хвостенко, который в физике разбирался лучше всех, регулярно ездил на олимпиады, готовился в МФТИ и время от времени консультировался у Шатунова насчёт особенно заковыристых задачек. Всего Сканави он перерешал к шестому классу.

- Юрвас, - сказал он со своего третьего стола, за которым сидел с Юдиной, такой же продвинутой. - Вы на него не обращайте внимания. Он не знает ни черта, но очень грамотно себя позиционирует.

- Он вообще ..нутый, - выкрикнул любимую формулу Биргер.

- Подумаешь, ну не физик, но почему сразу ..нутый? - сказал Шатунов, явно радуясь поддержке. - Ты не стесняйся, - обратился он уже к Борисову, - если не сразу всё понятно, я в конце концов объясню. Ты у нас человек новый...

- Я человек новый, - скучно протянул Борисов, слегка наклонившись вперед и упираясь длинными пальцами в стол, - вы человек старый, спасибо, я ценю вашу предупредительность.

Юрвас поперхнулся, но проглотил это.

- Борисов, - сказал он проникновенно, - мне кажется, твои комплексы осложняют тебе учёбу. Будь проще, и само пойдёт.

- У кого другого пошло бы, - грустно ответил Борисов. - Но я председатель совета отряда.

- Чего ты председатель? - удивился Юрвас.

- Я председатель совета отряда, а ещё бывает предатель совета отряда, - сказал Борисов и уставился глазами с рыжими искрами прямо в переносицу Юрвасу, как будто

именно Шатунов и был предателем совета отряда, успешно скрывающим этот ужасный факт из своего пионерского детства. - Но я не предатель совета, поэтому у меня не получится быть проще.

Юрвас помолчал с полминуты, шумно высморкался и продолжил с того места, на котором задал Борисову вопрос про физический смысл калории, а Борисов сел на свою камчатку и продолжил делать пометки в «Пеликане».

На перемене он сразу подошёл к продвинутому Хвостенко и сказал ему с чрезвычайно приятной улыбкой, какой я никогда прежде у него не видел:

- Поздравляю, дорогой товарищ. Теперь вы член совета отряда.

Он достал из кармана своей замши глянцевого прямоугольник и протянул его Хвостенко, который по первости отшатнулся, но потом послушно взял карточку.

- Звони, если что, - сказал Борисов, поднёс к виску два пальца, как бы салютуя, и отошёл.

Я немного выждал для приличия и подошёл к Хвосту. Он всегда меня консультировал, если было надо, и вообще был человек добродушный, целиком сосредоточенный на тайнах мироздания, мало кому интересных.

- Можно глянуть? - спросил я тихо.

Хвост не стал мне показывать карточку и вообще смутился.

- Там телефон, - сказал он ещё тише, - больше ничего.

2. Само собой, я тут же вбил в поисковик этого Дженкинса – по-русски и по-английски; самый известный Дженкинс оказался автором музыкальной пьесы в минималистском духе, выразившей, как было сказано, крайнюю тревогу; нашелся и ролик, на котором очень толстый и очень печальный человек дирижировал струнным оркестром, а оркестр играл пьесу, в которой повторялась одна и та же действительно быстрая и тревожная тема, как будто толстяк запыхался и никак не мог начать говорить, но знал безусловно что-то неприятное и касающееся всех. Все остальные Дженкинсы вообще ничего из себя не представляли - где-то жили, состояли в каких-то сообществах и выкладывали снимки своих семейных торжеств. Но ситуация продолжала меня тревожить, и вид Хвоста мне не очень понравился, а потому я рискнул написать Мистеру Риперу. Никогда нельзя было предугадать, на что он ответит: иногда его спрашивали о вопросах жизни и смерти, о смертельной любви или об эмиграции, - а он молчал или отделялся глумлением, но иногда какой-нибудь идиот спрашивал, как провести дома наиболее забавные

опыты с полиакрилатом натрия, - и он вдруг начинал в деталях рассказывать, как извлечь его из памперса. Короче, я обнаглел и со всеми респектами спросил его на голубом глазу, что почитать о Дженкинсе, и насколько вообще релевантны (я недавно выучил это слово) его мнения о современной физике.

Рипер думал около суток и неожиданно ответил:

-- My young friend! I highly recommend you never ask such questions especially in conversation with people whom you don't know thoroughly. Should you also ask me about Sharif!

Про Шарифа я помнил, и с этого дня Борисов стал занимать меня всерьёз, если можно так сказать о человеке, про которого ты ничего не можешь узнать. Разумеется, первая моя мысль была о том, что Борисов и есть Рипер; в конце концов, Риперу свободно могло быть пятнадцать лет, бывают и не такие вундеркинды, а ничем больше объяснить его знакомство с таинственными Дженкинсом и Шарифом я не мог. Если честно, я и сейчас не до конца уверен, что Борисов не был Рипером, или, по крайней мере, не входил в его команду. Но потом я эту мысль отбросил. Во-первых, реальный Рипер вряд ли стал бы так палиться, привлекать к себе внимание и морочить людей необъяснимым советом отряда, а во-вторых, Борисов почти не пропускал школу - у него элементарно не осталось бы времени вести столь бурную сетевую деятельность. Кроме того, Рипер в маске периодически обращался к подписчикам то из Тель-Авива, то из Нью-Йорка, то из Буэнос-Айреса, издевательски подчёркивая, что выбирает только города с дефисом в честь родного Ростова-на-Дону.

Подходить к Борисову лично я боялся, потому что мне всё ещё казалось, будто он нечто знает про отца; он на меня не смотрел и ко мне не обращался. Добро бы я хоть раз поймал на себе его взгляд - но ничего подобного. В конце ноября он неожиданно начал действовать, хотя, как учила нас Рита, действием могло называться что-то, направленное на объект, а остальное называется суетой. Сначала он произвёл в члены совета отряда преподавательницу истории искусств, - предмета, который ни в какую программу не входил, но у нас присутствовал для понта, в порядке конкуренции с Дубками. Про Вазари и Скарлатти нам рассказывала симпатичная, худосочная и очень небогатая, как я теперь понимаю, девушка лет двадцати пяти; держалась она, однако, с достоинством и знала множество смешных казусов про отношения

знаменитых художников. После одной такой лекции про Моцарта, который, оказывается, вовсе не был жизнерадостным гением, а наоборот, любил изобретательно мучить завистливых коллег, - Борисов подошел к ней и негромко, но отчетливо, чтобы все слышали, сказал:

- Приглашаю вас стать членом совета отряда. Вот телефон.

- Какого отряда? - спросила Коала, как мы её называли за фамилию Ковалова.

- Отряда приматов, - с вежливой улыбкой сказал Борисов. - Исключительно в знак уважения. Если что-нибудь нужно - обращайтесь.

Что самое интересное, Коала обратилась; однажды ей надо было перевезти в квартиру новую тахту, тратиться на грузчиков не хотелось, и она - исключительно шутки ради - позвонила Борисову. Эту историю я знал от матери, а ей рассказала директриса, с которой у них была ещё школьная дружба (почему меня, собственно, несмотря на отсутствие талантов, пихнули в «Циркуль»). Коала и не предполагала использовать детский труд, и вообще не воспринимала этот звонок всерьез, - но то ли она была совсем одинока, то ли ей хотелось проверить возможности Борисова и побить с него спесь. Учился он так себе, отвечал строго в рамках программы и вообще не блистал интеллектом, если не считать идеально продуманных манер. Но Борисов немедленно откликнулся и приехал по указанному адресу с компанией довольно здоровых старшеклассников, относившихся к нему с неподдельным благоговением. Они, как древние тимуровцы, про которых я читал в глубоком детстве советскую странную сказку, нагрянули к ней и спокойно снесли тахту по лестнице, а потом вызвали «Грузовичкова» и отвезли мебель на другой конец Москвы. Коала порывалась накормить их чаем с тортом, но добровольческая бригада сдержанно отказалась и растворилась в ноябрьском дожде. Коала настолько обалдела, что рассказала обо всём директрисе, а та отчитала её за использование детского труда и впредь просила воздержаться от этой практики.

Второй приём в совет отряда состоялся неделю спустя, когда у Маши Светловой посадили отца. Такие вещи случались в последнее время всё чаще, я читал про это ещё в воспоминаниях о тридцатых годах (как вы могли заметить, я вообще интересуюсь очень немногими вещами, но история входит в их число). Хорошо хоть теперь не требовалось отрекаться, но когда Машин отец, недавний подмосковный

мэр, сел только за то, что не захотел делиться, и об этом все знали, - на редкость противная женщина, географиня, сказала после Машиного ответа, что она одобряет её прекрасную подготовку, и что ей сейчас, наверное, нелегко - потому что непросто же вот так всё иметь, без особенных, причём, заслуг, а потом потерять в одночасье, как всегда бывает с людьми, путающими свой карман с государственным. Маша, которую я честно считал самым красивым человеком в школе, и к которой всегда боялся подойти, покраснела, побледнела, сдержалась и сдавленным голосом сказала, что она никому не позволит плохо говорить об отце, про которого вдобавок ничего не доказано. «Но я что же, - сказала географиня, - я ничего», - и отпустила Машу, а на перемене, на которую у нас распускали темой тореадора в динамиках, к ней подошел Борисов и протянул свой прямоугольник, сказав, что предлагает ей высокую честь стать членом совета отряда с правом совещательного голоса. И Машка, от которой в последнее время многие отворачивались, настолько обалдела, что взяла.

В третий раз, что называется, закинул он невод - пришёл невод с одной рыбкой; у нас в классе был исключительно грязный тип, пошлейшая личность, Сердюк, по кличке, естественно, сами догадываетесь как, потому что подобное подобным, - человек, который рассказывал самые грязные анекдоты, отпускал самые сальные шуточки и базлал направо и налево о своих исключительных подвигах, главным образом о хватании за сиськи, за которые он, кажется, перехватал уже всю школьную Москву. Сердюка терпели, потому что всем вообще ни до чего не было дела, особенно в последнее время, когда быть бы живу; но однажды на литре он нарочито громко загнул особо вонючую пошлость, и Рита, которую, в принципе, нелегко было вывести из себя, отчитывала его перед всеми полчаса; сначала он ухмылялся, потом начал краснеть, и, наконец, его проняло - он даже залепетал: «А чо я, а ничо я». Он был сыном довольно известного охранника, и его ещё никогда так не осаживали, да и Риту я не видел в таком пылу и жару, - но Сердюк был совершенно размазан. Борисов подошёл к нему, как всегда, после урока, и сказал то же, что и всем избранныкам: поздравляю вас, вы член совета отряда, обращайтесь. Это было уж поперек всякой логики, и я подумал даже, что Борисов инопланетянин, которого интересуется коллекция крайних проявлений, как возвышенных, так и отвратительных. Судя по всему, о его загадочном поведении подумал не только я,

и если бы все мы не были разбиты на такие отдельные группы, весь класс уже всерьёз решал бы вопрос о Борисове, - но у каждой команды были свои интересы, и до серьёзного разбирательства не доходило. Однако на следующий день к Борисову неожиданно подошёл самый привлекательный человек в «Циркуле», никогда и ни с кем толком не общавшийся, но выдававший иногда предельно точные слова; если бы я у кого-то и спросил совета по жизненно важному вопросу, то у Федора Острецова. Острецов был сын режиссёра, далеко не последнего, и в том, что он разбирался в людях, не было ничего неожиданного; разбираться-то он разбирался, но от общения старался воздерживаться. Он уже снялся в двух фильмах, причём не у отца, и сыграл прилично, без скидок на восьмой класс. С некоторыми людьми он был на ты, с другими на вы, - переходы эти были так же непредсказуемы, как с цветных сцен на чёрно-белые в противных военных фильмах его отца. Противность была в том, что фильмы у него получались как бы продвинутые и с понтами, а между тем настолько подлые и лизательные, что коллеги при его появлении брезгливо замолкали. Короче, Острецов подошел к Борисову и без всяких экивоков сказал:

- Я, кажется, понимаю, что вы делаете.

- Разумеется, - кивнул Борисов с видом полного уважения и даже благодарности. - Поэтому вы никогда не станете членом совета отряда.

- Я не очень и стремлюсь, - сказал Острецов без всякой обиды.

- Это совершенно неважно, кто и куда стремится, - ответил Борисов, глядя прямо в глаза длинному Острецову, для чего приходилось задираТЬ голову. - Но членом совета отряда вы не будете.

И они пошли в разные стороны, явно довольные друг другом.

Думаю, примерно в этот момент продвинутые люди догадались, что произойдёт в конце этого рассказа, но если вам показалось, что в рассказе ещё хоть раз появится Острецов, - увы, скажу я вам, вы совсем не продвинутые люди.

3. В декабре Борисов начал свои так называемые каминные встречи - у себя дома или у двоюродного брата, устроившегося ещё шикарней. Борисовских родителей никто не видел; он собирал людей не за городом, как обычно в своих посёлках делали мы, а в огромной московской квартире с камином. Обставлено всё было по-старинному, как в детектив-

ных романах незапамятных времен. Все рассказывались у камина, мерцал красноватый свет, источник которого оставался неясен, - свечей не было. Борисов однажды сказал, что свечи - это пошлость. Собирались дважды в неделю и обсуждали таинственные слухи, которых в это время стало особенно много: в центре Москвы завелся людоед, похищавший подростков, в канализации снова видели гигантских крыс, а вернувшиеся с фронта ловили школьников и такое с ними делали, что этого не писали даже в агентстве «Mash». Иногда Борисов обзванивал всех срочно и собирал якобы по экстренному поводу, но повод оказывался пшиком. Например, он с серьезным видом сообщал о пропаже своего приятеля из бывшей школы, откуда его перевели к нам по неизвестным и тоже таинственным причинам. Борисов вел свои заседания, сипя незажженной трубкой, и трубка эта придавала всему особенно приятный колорит: если бы он курил, сказала мне Маша Светлова, это тоже была бы пошлость. По стенам комнаты висели картины странного содержания. Так высказался Шаинян, человек темпераментный, от которого я тщетно пытался добиться подробностей. Отец Шаиняна был банкир и коллекционировал живопись, но во всей отцовской коллекции сроду не было ничего подобного.

- Ну, например! - приставал я. Мне почему-то казалось, что именно по содержанию этих картин многое можно было сказать о Борисове и его прежней жизни, и, может быть, даже о предках. Но Шаинян только и смог описать картину, на которой в ряд стояли трое арлекинов в клетчатых костюмах, но без голов. Ещё на одной картине было звёздное небо, просто звёздное небо, одни светящиеся точки покрупней, другие помельче. Ещё висел портрет человека с длинным лицом, выразившим крайнее неодобрение. Фотографий на стенах не было, прислуга не появлялась, родителей не обнаруживалось. У двоюродного брата собирались всего дважды, на зимних каникулах, когда Борисов по каким-то причинам не мог собрать людей дома. У двоюродного брата была дочь, которую Шаинян охарактеризовал как самую красивую девушку, когда-либо им встреченную.

- Ну хоть на кого похожа? - расспрашивал я.

- Этого я не могу объяснить, - говорил Шаинян со значением, и акцент его от нервов усиливался.

На собраниях Борисов иногда раздавал задания. С советом отряда он вёл себя как истинный председатель, то есть до объяснений не снисходил. Он вручал карточку с телефоном, типа такой же, которую выдавал при посвящении, и там

тоже стояли только имя и номер. По номеру надо было позвонить, представиться именем, которое Борисов называл, оставаясь наедине с очередным порученцем, и задать условный вопрос. Вопрос был, как правило, идиотский, то есть внешне в нём не было ничего особенного, но стоило ли звонить, чтобы спросить: «Который час?» - и в четверть восьмого получить ответ: «Половина шестого»? Отзыва Борисов никогда не говорил, предупреждал только: тебе ответят. А правильно ли ответят? Это абсолютно неважно, - отвечал он в своей манере. После этого надо было прибыть по адресу или встретиться в магазине, почему-то чаще всего в чайной лавке на Никитской, - выпить там чаю, непременно ни говоря ни слова (это было фундаментальное условие), а потом получить пакет. Иногда Борисову передавали не пакет, а книгу. Название книги никак не было связано с тайной совета отряда: иногда это были «Любимые стихи о городе на Неве», а иногда шахматные задачи Тригорина. Понятное дело, что книги служили не для изучения шахматных задач, а либо для шифровок, либо для передачи вложенных в них фотографий. Чрезвычайно любопытный Прошкин внимательно пролистал переданную ему книгу «Фольклор австралийских аборигенов» и действительно обнаружил в ней фотографию середины прошлого века, с зубчиками, на которой была изображена девочка лет двенадцати с ликующим, сияющим лицом, - но это ликование было такого свойства, что отчего-то немедленно становилась ясна дальнейшая судьба этой девочки, очень безрадостная. Может быть, она была болезненно худа, и это изобличало скрытый недуг и скорую гибель, а может быть, просто в этой щербатой улыбке была такая незащитность, с которой в наших местах долго не проживешь; но снимок этот произвел на Прошкина очень грустное впечатление. На обороте была надпись косым школьным почерком: «На память обо всём чего лучше бы не было», с пропущенной запятой. В этом пропуске была почему-то особая печаль. Конечно, он ни о чем не спросил Борисова, но Борисов, принимая книгу, смотрел на него испытующе, наверняка о чём-то догадавшись.

Меня вся эта таинственность угнетала главным образом потому, что я никак не мог получить приглашение в совет отряда, в котором было уже пятнадцать человек со всей школы - но в феврале прием новых членов прекратился, потому что Борисов на одном собрании сказал, что хватит. В школе Борисов стал фигурой исключительной важности, на моей па-

мяти ни у кого не было подобного авторитета, хотя он не изменился, по-прежнему учился средне и некоторый интерес проявлял только к математике. У нас не было общественных поручений, и вообще нас старались не напрягать; до коллективных выездов в Питер или Казань Борисов не снисходил. Его звали Игорь, но это имя шло к нему не больше всякого другого, и по имени к нему никто не обращался. Шаинян сообщил, что на квартире Борисов разговаривал несколько иначе, чем в школе: речь его становилась несколько, что ли, книжной. Он рассказывал таинственные истории без конца и предлагал желающим додумать этот конец. Что особенно интересно, - он никогда не предлагал выпить, хотя все наши с седьмого класса хвастались алкогольными подвигами. Иногда Борисов вкатывал тележку с пирожными, иногда чай, а иногда просто раздавал желающим колу. Не предлагали даже бутербродов. После посещения Борисовского жилья совет отряда не расходился, а шёл в ближайшую кофейню, где по тайному уговору никогда не обсуждали услышанное, а с загадочным видом трепались о ерунде.

Однажды Лена Свиридова, человек бойцовского склада, рыжая, всегда ни с чем не согласная и занимавшаяся альпинизмом, дерзко, в своей манере, подошла к Борисову и сказала:

- Я хочу вступить в совет отряда.

Борисов рассматривал её молча, склонив голову набок.

- Я человек полезный, - сказала Свиридова, краснея. - То есть, я могу быть полезным человеком. У меня много, это самое, экстремальных навыков, и я умею оказывать первую помощь.

- Первую оказывать поздно, - сказал Борисов. - Сейчас уже надо вторую.

Они помолчали. Свиридовой, видимо, хотелось провалиться сквозь землю. Унижений она не выносила.

- Понимаешь, - сказал Борисов очень мягко и уважительно. - Я всё вижу и, собственно, уже давно бы... Но твой уровень - это совет дружины. Я не могу, то есть, не уполномочен.

- Сказал бы прямо, что тебе не надо, - горько и с усилием проговорила Свиридова. Почему-то при Борисове, таком спокойном, сильные люди резко теряли самообладание. - А то разводит, как это самое.

- Я не могу набирать совет дружины, - сказал Борисов и тоже покраснел. - Это не тот уровень, меня туда не пускают. По большому счёту, я и говорить с тобой не достоин.

Свиридова, которая собиралась уже развернуться и убежать, посмотрела на него с живейшим интересом.

- В каком смысле не достоин?

- Примерно в том, в каком Шарма был недостоин говорить с Шенингом, - тихо сказал Борисов. - В каком Чёрный недостоин говорить с Третьим...

Свиридова помолчала, кивнула и сказала вдруг:

- Но мне кто-нибудь позвонит?

- ...Или бактерия с головастиком, - продолжал Борисов свои странные сравнения.

- Спасибо, - сказала Свиридова после паузы и отошла.

На следующей перемене я спросил её, пользуясь давним взаимным доверием, кто такие Чёрный и Третий (про Шарму и Шенинга я посмотрел, он выбрал людей из её сферы), но она со смешком ответила, что Борисов не в себе и принимать его всерьёз могут только дураки; а вот мой цвет лица в последнее время ей не нравится, какой-то я стал жёлтый. После чего она глупо заржала, а я задумался, потому что дела мои в последнее время действительно шли не блестяще - я сильно проигрался в «Атаке дронов» и мне впервые за два года пришлось просить финансовой помощи у отца, плюс к регулярной salary, полагавшейся мне за успеваемость. Это было стыдно и непристойно, но других заработков у меня тогда не было.

В начале марта Шаинян позвал меня в кино и там доверительно сообщил, что сумел установить связь с той исключительной красавицей, ну той, которая... Это получилось случайно, он встретил её в кофейне и узнал, и она согласилась с ним увидеться, но только в присутствии третьего человека. Он просил меня быть этим третьим человеком. Мне стало страшно интересно, мы договорились на будущий четверг, но в среду произошло непредвиденное. На обеде в буфете Борисов подошел к Шаиняну и тихо, но очень решительно сказал ему:

- Ключ.

Шаинян забегал глазами и собирался, кажется, позвать на помощь. Но Борисов был вообще не из тех людей, которым легко сопротивляться, и он так спокойно стоял перед Шаиняном, глядя на него в упор, что все поспешили отвернуться, уставились в тарелки, а Шаинян стал шарить в карманах и, наконец, тоже отведя глаза, вручил Борисову жёлтый трёхгранный ключ, какого я сроду не видал, кроме как в довольно занудной игре «Братство единорога», на которую сдуру убил два месяца в пятом классе.

Борисов молча положил ключ в карман серой замшевой куртки и ушёл, а Шаинян имел вид человека, утратившего карту острова сокровищ, причём странным образом было заметно, что и карту, и самый остров он считал уже личной собственностью. Мне было и жалко его, и любопытно, и немного спустя я к нему подошёл:

- Шая, что за ключ?

- Слушай, не лезь ко мне, а! - вскрикнул Шаинян с такой болью, какую я сроду не предполагал в этом довольно нахальном и плохо воспитанном восточном человеке.

- Я ничего, - сказал я, - но просто, если этот председатель тебя будет нагибать...

- Цвет, что ты знаешь! - совсем уже страдальчески воскликнул Шаинян (Цветков - это моя фамилия, на всякий случай, но вам она всё равно ничего не скажет, потому что у отца другая). И я понял, что действительно ничего не знаю о совете отряда и самом отряде, и впервые всерьёз об этом пожалел.

4. В апреле Карина Степанова неожиданно упала в обморок, вызвали «скорую», и хотя ничего серьёзного у неё не оказалось, но директрисе каким-то образом стало известно, что Степанова входила в совет отряда. Видимо, о нём знали и раньше, поскольку проболталась Коала, но считали это невинным делом, вроде игры в дроны (о которой тоже никто понятия не имел - разве что родители были в курсе, что мы собираемся поиграть). У Степановой обнаружилось что-то вроде нервного истощения, это тоже было понятно, потому что у её родителей как раз в это время начались большие неприятности; но, как часто бывало теперь, они кончились ничем, всё повисло, - вообще всё постоянно подвисало, словно дожидаясь окончательного решения, которого все вроде ждали, а вместе с тем боялись. Всем было понятно, что дальше так нельзя, а вместе с тем возникало подозрение, что потом вообще ничего не останется, и поэтому - пусть уж как раньше. Степанова была девочка чувствительная, и очень возможно, что на неё давила не только родительская ситуация, но и атмосферный столб в целом. Вдобавок зима была затяжная, весна медленная, случались снегопады, все ходили злые, как черти, людей уже хватало прямо на улицах, и когда я спросил отца, как дела у родителей Степановой, он сказал мне необычно холодным тоном, что лучше бы я держался от неё подальше, хотя лично она, конечно, ни в чём не виновата. Тем не менее, после обморока Степанову стали о чём-то расспрашивать, потому что

обращать на себя внимание чем угодно, хотя бы и болезнью, было уже нежелательно; наверное, во время этих расспросов ей не предъявляли никаких обвинений, а просто создавали впечатление, что всё очень серьезно, чтобы она всё выложила сама, а если выкладывать нечего - то выдумала. И, видимо, под этим напором, да ещё с тем чувством обречённости, которое у неё было с начала года в силу слишком многих и разносторонних давлений, - она проболталась то ли о совете отряда, то ли о посиделках на квартире, где никогда не бывало взрослых, то ли о какой-то уже своей напряжённой личной жизни. У всех в классе была та или иная личная жизнь, наивно было бы думать, что у людей в пятнадцать лет её не бывает, - казалось, к этой сфере был сугубо равнодушен только Борисов, и то разве потому, что у него были другие, ещё более запретные удовольствия. Но, видимо, у Степановой эти отношения зашли дальше, чем было принято, или дальше, чем она могла выдержать; может быть, она даже уже раздевалась, - короче, она вызвала повышенное внимание, и постепенно на расспросы стали тягать всех. Меня это не коснулось, поскольку я не был членом совета отряда, и я впервые этому порадовался. О содержании расспросов члены совета никому не рассказывали, но ходили как в мутную воду опущенные. До большинства мне дела не было, поскольку, как вы могли заметить, мне вообще мало до чего есть дело, - так было с первого класса и осталось до сих пор, когда я... - но это неинтересно. Короче, в совет входила Ира Селиванова, до которой мне дело было. У нас никогда не происходило даже серьезных разговоров, мы один раз ходили в кино и один раз целовались, но делали это серьёзно и после этого не спешили повторить, потому что поняли, что лучше, может быть, подождать, чтобы не испортить. Я не спрашивал Селиванову про совет, мы вообще мало говорили, но кое-какие сведения она приносила. Я никогда не ревновал к Борисову, это было не то слово, хотя Борисов всегда Селиванову выделял и к её мнениям прислушивался, особенно когда рассказывал свой бред про маньяков и как бы спрашивал совета у совета, - хотя что этот совет мог присоветовать? Как бы то ни было, Селивановой всё это было особенно тяжело, у неё и так была психованная младшая сестра и не очень приятный отчим, а когда у неё стали допытываться про совет, она совсем стала на себя не похожа.

Я подошёл к Борисову после уроков, когда он уже намылился со своей рыжей сумкой сосредоточенно отвалить в

арку нашего здания на Ленинском проспекте, и сказал, что нам надо поговорить.

- Поговорить нам совершенно не надо, - ответил Борисов в своей манере.

- Хорошо, мне надо.

- Тоже не обязательно.

- Борисов, - сказал я. - Я понятия не имею, в какие игры ты играешь, и мне это не очень интересно. Но в твои дела замешан важный для меня человек. Я бы хотел, чтобы ты этого человека прикрыл или оставил в покое, если это в твоих силах.

Я нарочно подбирал такие слова, чтобы у него оставался отходной путь: сказать, что это не от него зависит, или мало ли. Я допускал, что он инопланетянин, за которым действительно стоят наблюдатели. Я вообще уже много чего допускал в то время, потому что каждый сходил с ума по-своему, и очень возможно, что это было не сумасшествие, а даже прозрение. Например, на крышу дома на Остоженке залез оборванный мужик и стал орать, что сейчас будет атака дронов; его немедленно сняли, но на следующий день действительно была атака дронов, так что никогда не знаешь. Очень может быть, что у беспилотника собственная воля: не знаешь, что придет в отсутствующую голову.

- Кто там замешан в мои дела, этого даже я не знаю, - сказал Борисов в предсказуемой манере. - Но что касается тебя, то происшествие в четвёртом классе не осталось без последствий.

Это было ниже пояса. Дело в том, что однажды, когда я возвращался домой от тогдашнего одноклассника (собственно, это и была одна из причин попадания в «Циркуль»), меня довольно сильно отлупили в Кунцеве без всякого повода, наговорив мне при этом чрезвычайно унижительных вещей. Это были люди, которых я никогда не видел ни тогда, ни потом. Напали они на меня просто со злости, а может, приняли за другого. Никаких особых увечий они мне не нанесли, а руку вправил сосед-врач даже без вызова «скорой». Отец, конечно, поговорил с полицией, но когда они кого находили? Просто это была вещь, которая сильно повлияла на мое отношение к людям, и хотя закалила, с одной стороны, но, как всегда бывает, сделала особенно уязвимым с другой, и я предпочитал о ней не вспоминать, как собака старается не наступать на раненую ногу. С четвертого класса я знал, что со мной можно сделать что угодно, и я не всегда смогу этому воспрепятствовать. Отец говорил мне, что найдет этих

нелюдей под землёй, - поздних детей обычно любят больше, чем ранних, - и я ему даже верил, но поскольку он никого не нашёл, я и к нему с этого момента относился скорее сострадательно. Я понял, что и с ним могут сделать что угодно. Вообще сдержанные люди обычно впечатлительны, и лучше их не впечатлять таким образом, а то вся их жизнь - примерно как вся моя жизнь с того времени - может пойти довольно неожиданным путем; в конце концов, туда, где мы с вами сейчас разговариваем, я тоже скорее всего, не записался бы, если бы не тот инцидент в четвёртом классе. Поэтому первое моё желание при упоминании о том событии было - врезать Борису примерно так, как мне врезали тогда, после сообщения о том, что у меня нет с собой денег; тогда недавно прошёл пацанский сериал, и требование денег проносилось почти всегда в начале стычки, отвратительным гнусавым голосом. С тех пор я кое-чему научился, но Борисов, возможно, тоже кое-что умел, а возможно, умел кое-что другое; как бы то ни было, среагировал он быстро и даже не отпрыгнул, а как-то очень резко переместился вбок.

- Внимание, - сказал он словно и не мне, а тем, кто за ним в это время наблюдал. - Внимание, надо держать себя в руках. Всё-таки я председатель совета отряда.

Он сказал это примерно с такой же важностью, как полгода назад, когда отмазывался от дежурства, но ещё уверенней, словно за время своего председательства внутренне разбух и пропитался общим уважением к своей загадочности. Это был уже не тот Борисов, который пришёл в октябре. Этого уже никто не заставил бы дежурить. Что именно в нём изменилось - я бы не сказал, но он стал, по-моему, старше года на два, а зелёные глаза его стали ещё ядовитее.

Я действительно взял себя в руки, потому что ни при каких обстоятельствах не надо терять лицо, и не факт, что у меня получилось бы как следует его побить. Он был выше меня и гораздо увереннее, а уверенность в таких делах весит больше силы.

- Борисов, - сказал я, - что ты знаешь про четвёртый класс?

- Ничего, - ответил он ровно. - Я знаю, что четвёртый класс был, только и всего.

«Он ничего не знает», - подумал я с огромным облегчением. Он ляпнул первое, что пришло в голову, и это случайно совпало.

- И что случайного ничего не бывает, - сказал он с этим своим пресловутым чтением мыслей, и я погрузился в прежний ад.

- Но без последствий, - сказал он, - тоже не бывает ничего. И я, как говорится, принял к сведению.

Не знаю, что уж он там принял, но сначала на расспросы перестали тягать Селиванову, а потом полиция и вовсе отвязалась от «Циркуля», и нас оставили в покое. Впрочем, возможно, после пожара в ЦУМе всем просто стало не до нас, а в мае - опять же без календарного повода, - Борисов буднично сказал совету отряда, что увольняется, в смысле переходит в другую школу, и дальше совет должен функционировать без него. Поскольку организация прекрасно себя проявила, - сообщил он, - и многое предотвратила, за что совет дружины объявил ему личную благодарность, а он транслирует её нам, то его руководство больше не нужно, и дальше можно собираться самостоятельно. Это его заявление передала мне Степанова, потому что Селиванова, словно что-то чувствуя, контактов со мной в последний месяц избегала, сказав только, что я, конечно, хороший человек, но иногда и хорошим людям надо сначала думать, а потом совершать хорошие поступки.

Пятнадцатого мая – хорошо это помню, потому что на следующий день отец отмечал юбилей, -- Борисов подошел ко мне во дворе, где уже всюду пахло сиренью и нагретым асфальтом, и сказал, что нам есть о чём поговорить.

- Да? - переспросил я в его духе. - А по-моему, совсем не о чем.

- Это не очень интересно, - ответил он небрежно. - Моё дело передать артефакт.

Он залез в карман рыжей кожаной куртки и вынул красную машинку *Sylvanian*, вроде тех, какие я собирал во втором классе, когда отец часто летал в Японию. Конечно, мало ли кто коллекционировал *Sylvanian*, но конкретно такой гоночной модели у меня не было.

- Теперь ты председатель совета отряда, - сказал он совершенно без пафоса.

Я всегда знал, что буду председателем совета отряда, но представлял передачу полномочий совершенно иначе. Он мог бы, не знаю, хоть поздравить меня или пожать руку, но - это я помню совершенно точно - вышло так, что за весь учебный год он ни разу ко мне не притронулся. Он жал руку даже Шаиняну, когда они после месяца напряжения помирились. Но меня он никогда не тронул пальцем, даже когда передавал мне красный *Hornett*.

- Игорь, - сказал я. - Если ты заметил, я обычно вопросов не задаю.

- Очень хорошо, - кивнул Борисов.

- Но сейчас, понимаешь, я должен спросить. Я примерно догадываюсь, зачем всё это надо, но, по-моему, любые советы, включая советы отряда, в сложившихся обстоятельствах бесполезны.

Я сам удивился, что наконец заговорил с ним так, как говорил только сам с собой, и то исключительно по ночам, когда просыпался и мучительно следил за тенями от прожектора во дворе. Двор у нас всегда освещался прожектором, и его ртутный свет наводил на меня при зимних пробуждениях невыносимую тоску.

- Наступило время пушек, - сказал Борисов буднично, - и пора увлечь детей не коллекцией игрушек, а плетением сетей.

- Время пушек? - переспросил я, потому что такое совпадение было уж очень неожиданно.

- Время душек, - пожал плечами Борисов. - Время сушек. Это совершенно не важно.

И удалился, вскинув на плечо рыжую сумку.

На следующий день мне позвонили из совета дружины и сообщили адрес квартиры, где мы теперь будем собираться. Я не стал спрашивать, заказывать ли мне глянцевые карточки. В конце концов, председатель совета отряда и без указаний сверху знает, что ему делать.

И с этой передачей книг, конечно, дурной тон. Структуры структурами, в аморфное время других способов не придумано, но лучше передавать более нужные предметы. Никогда не знаешь, что может понадобится; но книги уж точно больше не пригодятся.

Нонконформист

2008 год. Пермь. Кровать.

Слушаем с Юлией молодого Хворостовского. Полчаса слушаем, молчим, естественно. Хворостовский совсем юн, исполняет романсы под аккомпанемент рояля. Закончил.

Юлия:

- Как тебе?

Я:

- В молодости он пел лучше.

- Почему?

- Пение в микрофон не проходит даром.

- Чем лучше? Я не слышу.

- Гибкий голос, естественное пение, будто он не поёт, а сопровождает голос, страхуя его на поворотах. Полётность другая, без усилий, как у Месси со штрафными. Тесситура шире, бельканто ненатурное, почти нечаянное, без выученного педалирования.

- Давай послушаем зрелого Хворостовского, а потом снова молодого?

- Давай. Только давай в обоих случаях «Онегина». Для чистоты эксперимента.

Включили. Тут сверху заиграл русский рэп в исполнении Вити АК. Очень громко заиграл. Поверите ли - я вздрогнул, как от пощёчины.

- Не ходи.

Это Юлия.

- Почему?

- Понятно же, кто там.

- Ну и что?

- Возьми книгу.

- Зачем?

- Подаришь им с порога, писатель и всё такое. Они пойдут навстречу.

- Это конформизм. Да и подленько.

- А ты нонконформист?

- Я - нонконформист.

Я уже встал с кровати, снял халат, надел джинсы и футболку, а говорил из вежливости.

- Тогда и нож не бери.
- Не возьму.
- И не дерись, как умеешь.
- Не буду.
- Будь обычным человеком, среднестатистическим.
- Хорошо.
- Я с тобой пойду.

Я бросился из квартиры, у Юлии не было шанса. Наверху заграссировал рэпер Гуф.

Я взлетел на восемнадцатый этаж и вдавил звонок.

Дверь открыла бабушка в инвалидном кресле.

- Молодой человек, выключите это, я не знаю, как.

Бабушка отъехала, я зашёл и как-то естественно укатил её в гостиную, где из больших свеновских колонок орал Гуф.

- Я «мышкой» что-то сделала, и он заорал.

Я склонился над компом, нашёл нужную вкладку, в одной был порносайт, и выключил музыку. Бабушка выглядела виноватой:

- Правнук купил. Учил меня, учил... Забыла. Или не разобралась. А звонить стыдно.

- Звоните мне, я под вами живу.

На столе лежали ручка и листок с чьими-то фамилиями, я перевернул его и написал свой номер.

- Я подруг искала «ВКонтакте», думала, может, есть.

- Нашли?

- Нет.

- Сколько вам?

- Я 1913 года рождения. Знаете, какое у меня самое яркое детское воспоминание?

- Какое?

- Как адмирал Колчак в Пермь пришёл.

- И какой он?

- Как власть, как высота. Смотришь, и голова кружится. Он на коне скакал, а за ним водопад людей.

- Как метафорично.

- Я дневник веду с двадцать восьмого года. Подробный. Каждый вечер пишу, овладела письмом. Там всё: коллективизация, красный террор, ежовщина, война; я медсестрой была, ранили под Курском.

Я задохнулся.

- Отдайте его мне.

- Кого?

- Дневник. Я писатель. Я могу доказать, у меня книги...

- Зачем он вам?

- Я напишу книгу. О вас. О времени. О двадцатом веке. Не хотите отдавать, позвольте его прочесть, при вас, тут.

- Я не хочу, чтобы вы читали мой дневник. И в книгу его превращать не хочу. Я хочу его сжечь. Вам пора.

Я пошёл боком из комнаты.

- Поймите, у вас литературный талант. Значит, и ваш дневник - это не просто приметы времени, это само время, его дух, он невероятно ценен. Не сжигайте его.

- А я хочу. Хочу освободиться от времени, от самой себя. Я столько раз представляла, как эти тетрадки горят в ванне...

Мы были в коридоре, я увидел шарф, взял его и зажал бабушке нос и рот. Но вдруг понял, что я жалкий Раскольников, бросил шарф и убежал.

Юлии я рассказал всё, как было, опустив подробность с шарфом. Каждую минуту я ждал милицию, но милиция так и не пришла. Зато через два месяца ко мне пришёл внук бабушки. Он вручил мне металлическую урну.

- Это что? Тут... она?

- Нет, что вы. Тут её дневник, пепел. Совсем из ума выжила.

Я взял урну.

- Спасибо.

- Да не за что.

Я пошёл на кухню, сел за стол, открыл урну и долго смотрел на пепел, даже потрогал его пальцами.

Мрамор

2009 год. Тихим майским вечером мы с Людмилой пошли в филармонию. Мы шли по тротуару, справа от нас тянулись заросли щедрой сирени, в которой жужжали пухлые шмели. Людмила надела вечернее платье, такую как бы тунику, которая струилась по её телу так естественно, так нечаянно, так прекрасно, что и Пермь превращалась в Древнюю Грецию, подстраиваясь под Людмилу. Смотришь на гараж - гараж, смотришь на гараж через Людмилу, ей за спину, нет никакого гаража - Парфеноник, личность. А может, я просто люблю Людмилу, как Роден мрамор.

У Людмилы рвущаяся на свободу грудь, будто, знаете, Господь перебрал все груди мира, груди нынешние, груди бывшие и даже груди будущие, а потом сел и вылепил грудь Людмилы. Она так гармонично помещена в её тело: в круглые плечи, музыкальные руки, живот с валиком жирка внизу, который так правильно целовать; в бёдра, налитые упругой

силой, в ноги с твёрдо очерченным икрами, в падающие русые волосы, такие длинные, что хочется намотать их на руку, стоя позади; в зелёные глаза, такие большие, что ещё чуть-чуть - и станут страшными, в вечно искусанные припухшие губы, в ясный лоб, в подробность бровей, в уши для бриллиантов.

Мы с Людмилой живём в центре Перми на Крисанова. Наш путь пролегал мимо драмтеатра, фонтанов и городской пустоты. Я хотел идти посередине площади, как бы захватывая её ногами, но Людмила взяла меня за руку и сказала:

- Милый, пойдём вдоль сирени?

И мы пошли сбоку площади по тротуару вдоль сирени. Встречные мужчины смотрели на Людмилу, как собаки на внезапный стейк.

- Думаешь, он споёт куплеты Эскамильо?

Людмила обожает куплеты Эскамильо - она поёт их, когда моет посуду, повязав фартук на голое тело. Она училась во французской гимназии.

- Обязательно споёт.

- В программе сказано - любимое. Вдруг он их поёт, но не любит?

- Думаешь, он поёт что-то, чего не любит?

- Он много поёт.

- Но вряд ли он поёт, чего не любит.

- Лучше я заранее расстроюсь, а потом, если что, обрадуюсь.

- Спой их мне.

- Сейчас?

- Да. Смути прохожих.

- Это я люблю.

Людмила радостно улыбнулась, в глазах возник блеск неглупого ребёнка. Она отпустила мою руку и перебрала пальцами воздух, как струны арфы.

- Toréador, engage! Toréador! Toréador!

Et songe bien, oui, songe en combattant...

Полётное меццо-сопрано с чуть уловимой грубинкой, делающей голос хоть и не кристальным, но более объёмным, осязаемым, взлетело над тротуаром, сиренью, улицей, неготовыми прохожими. Я не будто попал в сказку, я был в сказке, рядом летела птица Сирин, и она хотела летать только со мной. Я никак не могу привыкнуть к её голосу, к богатству чувств в нём.

Людмила допела рефрен и посмотрела на меня лисой. Мы остановились.

- Мила, это...

- У тебя слёзки.

Людмила взяла моё лицо в руки и поцеловала мокрую кожу под глазами. Меня осенило:

- Я сейчас, подожди.

Мы уже прошли сирень, поэтому я убежал назад, бросился к ней и стал рвать её влюблёнными руками. Когда я повернулся к Людмиле, её нигде не было. Я не понимал...

А потом я увидел открытый люк и побежал. Людмила была в колодце - проткнутая четырьмя арматурными прутами. Один прут торчал из середины её груди. Перед моим лицом залетали жирные мухи, я стал отмахиваться от них сиренью, пока не сообразил, что мухи летают внутри моих глаз.

Вдруг левое веко Людмилы дрогнуло. Я бросил сирень и полез в колодец, я хотел достать её оттуда, колодец был узким, я прижался к стенке и стал сползать.

Внизу я пощупал пульс Людмилы - его не было. Тогда я снял её с арматуры, стоя между арматурой, и держал её на руках над арматурой, а потом стал звать на помощь, потому что понял, что не выберусь наверх.

- L'amour! L'amour! L'amour!

Toréador, Toréador, Toréador! ...Паша, ты где?

Мы остановились. Я посмотрел на Людмилу:

- Я представил и как бы даже написал, что ты упала в колодец, и тебя проткнуло арматурой. Вот ты есть - и вот тебя нет.

Людмила рассмеялась:

- Хотя бы не крокодил Густав, как в прошлый раз.

- Тут страшнее.

- Почему?

- Потому что обыденно. Можешь постоять на месте?

- Стою.

- Хорошо. Я сейчас.

Я побежал к сирени и стал рвать её руками японского извращенца, щупающего в метро случайных женщин. Я смотрел то на сирень, то на Людмилу. Зачем я это делаю? Зачем повторяю сюжет? Я хочу, чтоб она умерла? Я так боюсь её потерять, что устал бояться, и хочу уже потерять, как хотят сорвать коросту или узнать диагноз?

Вдруг я подумал, что если донесу Людмилу до филармонии на руках, то я её никогда не потеряю, а если не донесу, то потеряю всегда.

Прикончив сирень в букет, я вручил его Людмиле и взял её на руки.

- Паша, ну зачем?

- Я хочу.

- Я тяжёлая.

- Я сильный.

Людмила обвила мою шею руками и положила голову на плечо. Я пожалел, что не могу идти так всю жизнь.

Людмила тихонько запела:

- Ты меня на рассвете разбудишь,

Проводить необутая выйдешь...

Это был прекрасный вечер. Никто не умер, я донёс Людмилу до филармонии, а Дмитрий Хворостовский спел куплеты Эскамильо.

...Нет, я люблю её не как Роден - мрамор. Я люблю её, как мрамор - Родена.

Казнь

16 августа 1936 года. Испания. Взвод наткнулся на него на окраине городка Ислеро-Фуэнте, близ Гранады, на взгорье, где стоит могучий вяз, зарубленный молнией, как топором дровосека.

Был вечер. Он качался на детской качели, привязанной пеньковыми канатами к правой руке вяза - такой толстой была эта ветвь. Он перебирал ногами тени ветвей и ел мороженое.

Патрулём руководил андалусец Себастьян Муэрте. Взмахом руки он остановил взвод перед качелью, подошёл ближе и сказал:

- Комендантский час. Что вы здесь делаете?

На Себастьяна глянули блестящие углы глаз, такие чёрные, будто перед ним сидела ночь.

- Качаюсь на качели, ем мороженое.

- Каудильо Франко ввёл комендантский час...

- Мне плевать на Франциско Франко. Он враг Испании, прогнутая черешня.

Себастьян сделал шаг назад, скинул карабин с плеча и прицелился в говорившего. Взвод последовал его примеру.

- Слезьте с качели. Живо!

Мужчина слез с качели, но есть мороженое не прекратил; оно занимало почти всё его внимание.

- По законам военного времени вы подлежите расстрелу. Поднимите руки вверх и идите в те заросли.

- Если я подниму руки, как мне есть мороженое?

- Бросьте его.

- Оно вкусное.

Себастьян посмотрел на взвод.

- Проучите его.

Взвод бросился к мужчине и обрушил на него кастаньеты прикладов. Мужчина упал. Себастьян Муэрте улыбнулся. К нему вернулась прежняя картина мира, которая ему нравилась. Потому что картина мира, где кто-то качается на качели, ест мороженое и совсем его не боится - не нравилась ему очень.

- Поднимите его.

Мужчину подняли. Он слегка улыбнулся вновь беззубым ртом. Из бровей на глаза и щеки стекали две струйки крови, делая мужчину похожим на демона.

Себастьян Муэрте не отказал себе в удовольствии:

- Не хотите ещё мороженого?

- Тсс... Птица поёт.

В кроне действительно запела птица. Все невольно прислушались, кто-то поднял голову.

- Ведите его вон в те кусты.

Мужчину отвели в кусты, точнее, за них. Там оказалась поляна, скрытая от посторонних глаз плотными зарослями.

- Привяжите его к дереву. Нет, лицом ко мне.

Мужчину привязали лицом к построившемуся взводу. Себастьян Муэрте взмахнул рукой - взвод взвёл курки карабинов.

Так и не опустив руки, Себастьян Муэрте спросил:

- Как вас зовут?

- Федерико Гарсия Лорка.

Взвод запереглядывался. Себастьян Муэрте опешил. Переварив, он подошел к Федерико.

- Вы душа Испании, я не могу вас расстрелять.

- У Испании больше нет души.

Себастьян обернулся к взводу:

- Развяжите его!

К дереву кинулись двое солдат.

Федерико сказал:

- Я не смогу оставить Испанию. Меня всё равно расстреляют, так пусть уж лучше сейчас, когда я готов.

Солдаты замешкались. Себастьян отступил на шаг.

- Я не хочу брать грех на душу.

- Это не грех. Когда о моей смерти узнают, мои стихи прочтут миллионы. Они прославят Испанию. Моё убийство послужит литературе. Лучше бы моё тело вовсе не нашли. Ореол таинственности пойдет моим стихам на пользу.

- Вы сумасшедший!

- Я - поэт.

- Хотите умереть - умирайте самостоятельно. Развяжите его.

Солдаты развязали Федерико, тот тёр запястья, когда Себастьян Муэрте бросил ему под ноги поцарапанный револьвер. Федерико тут же его поднял. Себастьян Муэрте вскинул руку:

- Уходим!

Взвод потянулся из кустов, Муэрте шел последним. Сзади раздался выстрел. Муэрте вздрогнул и бросился на поляну. Федерико лежал у дерева с чёрной дыркой в правом виске. Взвод со всех сторон обступил его. Себастьян Муэрте командовал:

- Выкопайте трёхметровую яму, бросьте туда тело, завалите его камнями, заройте, а сверху воткните куст. Никто не должен узнать о том, что Федерико Гарсия Лорка покончил с собой.

Так они и поступили. Говорят, - не знаю, правда ли, - но в тот вечер взвод поклялся на крови унести эту тайну в могилу. Я это знаю, потому что Себастьян Муэрте - мой прадед.

Страдалец нашего времени

Как человек, я сформировался в левом яичке Федора Достоевского. Никакое другое яичко не объясняет тех страданий, которые свалились на меня с пелёнок и даже раньше. Изначально в утробе моей матери планировали родиться двое: я и моя сестра-близнец. Но в какой-то момент я проглотил её. Теперь моя сестра - это огромная родинка на моём затылке, к которой я испытываю смешанные чувства. То как к родинке, то как к сестре.

Через семь лет у меня появилась настоящая сестра - Ангелина. Иногда я смотрю на неё странным взглядом, будто это не Ангелина, а та, первая сестра, сожранная мною. Точнее, я представляю, какой могла бы быть первая сестра, сожранная мною. Понятно, что я сожрал её бессознательно, какое уж там сознание, но потом-то сознание возникло и вцепилось в этот бессознательный акт с сознанием дела.

Ну, да к чёрту сестру. Я и без неё умел пострадать. Например, отец любил тушить об меня окурки, о левую руку; если не разноюсь, значит - пацан. Я трижды пацан. Я не вино отца. Что ещё делать с детьми, как не приспособливать их под свои нужды? Поэтому у меня нет детей. Слишком уж причудливы мои нужды, детям не выдержать.

Вообще, заводить детей - это как покупать вместо картины чистый холст, на котором уже после покупки неизвестно что изобразит художник. Эта естественная загадочность детей раздражает. Кто это такой халёсый-слатенький сидит на табуреточке? Андрюша Чикатило? Сашенька Пушкин? Блядь Оксана? Грузчик Федя? Зэка Тетерин? Наркоман Олег? Художник Репин? Кто?!

Я не люблю загадок. Мне лень думать, как неведомая комбинация генов, запертая в маленьком теле, взаимодействует с воспитанием, географией, социальной средой, и что в итоге из этого сформируется.

Мой отец был тренером в секции муай-тай. Я занимаюсь этим видом искусства с пяти лет. В философском смысле, из тренировок я вынес одно: если ты страдаешь, значит, всё по-настоящему. Если больно, значит, правильно. Постепенно между страданием и подлинностью возник знак равенства. Комфорт превратился в синоним лжи.

К восемнадцати годам я каждое утро пробегал десять километров, всякий раз пытаюсь побить рекорд по времени, тем самым обретая страдания. На тренировках я пахал до седьмого пота и никогда не отказывался от спаррингов, обретая страдания. Но это были страдания физические, - да, утомительные, но в чём-то резонные, понятные. Настоящие страдания я встретил, когда влюбился.

Я не принадлежу к современной субкультуре гомосексуалов. Мне противен их вечный промискуитет и зацикленность на физической красоте, я не вижу в этом высоты. Я люблю мужчин в античном смысле, я ищу в них ту андрогинность, о которой писал немецкий мистик Якоб Бёме в своей книге «Аврора, или Утренняя звезда». Женская красота представляется мне утилитарной. Широкие бёдра, чтобы легче вытолкнуть детёныша, лоно, чтобы в принципе его зачать, грудь, чтобы накормить детёныша молоком. Понимаете, красота - это веление свободы, а какая тут свобода, если всё рождено детерминизмом?

Я занимался любовью с одной девушкой, ласкал её грудь губами, можно сказать - сосал, как вдруг вспомнил, что точно

так же сосал грудь матери, такой бугристый сосок. На секунду я словно оказался в объятиях матери, посреди ужасного инцеста. И ведь действительно - разве эта грудь чем-то принципиально отличается от груди матери? А бедра? А лоно? А внутри? Мне стало противно, будто я провёл по губам обкаканными пальцами. Я убежал.

Ярославу я увидел на пляже. Я шёл по песку, отпывая камешки, поднял голову и увидел её в глазах солнца. Она наносила на кожу крем. Я остановился шагах в десяти и смотрел. Это был нудистский пляж. Я специально ходил туда в надежде найти то, что лорд Байрон нашёл в греческих банях. Ярослава была такой худенькой, что почти не имела груди, её бедра были столь узки, что не вытолкнули бы и жемчужину. Причём её удобка была не болезненной, а как у Киры Найтли - с ягодицами и круглыми ногами.

Я искал мужчину, а нашёл женщину и подругу. Весь июль мы встречались на нудистском пляже, плавали, загорали и разговаривали. Однажды мы стояли по пояс в Каме, когда Ярослава протянула руку, осторожно взяла меня за член и напряжённо уставилась. Я улыбнулся.

- Фу! Ты не представляешь, как долго я решалась.

Я взял Ярославу на руки, и она почти вся уместилась на моей груди, как кошка. Я вынес её на берег, в заросли, и положил на песок. Её маленькую грудь как бы компенсировали большие торчащие соски. Трогая их губами, я был потрясен тактильной новизной. Знаете, она из того типа женщин, к которым каждый раз подходишь заново, отринув прошлое, снова пытаюсь влюбить её в себя. В ней было что-то антибытовое. Она стала мне не женой, а вечной любовницей, для которой вечно хочется покупать платья.

Ярослава преподавала йогу, а я - муай-тай. Мы арендовали помещение, оборудовали его и зажили необыкновенно приятной жизнью. Мы ничего друг от друга не скрывали; если она хотела переспать с женщиной, а я с мужчиной, то и пожалуйста. Забавно, но никто из нас этой свободой так и не воспользовался. Это был высокий союз.

Ярослава умерла через три года во время родов. Она пила противозачаточные таблетки, но моё семя как-то их преодолело. Я погрузился в невероятную пучину страданий. Уехал в Москву. Стал завсегдатаем тёмных комнат гей-клубов. Мой чёрный ход превратился в ход парадный. Иногда я разбивал руки о стены. Мне нравилось смотреть, как тягучая кровь капает на ламинат, срываясь с руки красным шариками.

Потом я ушёл в спорт, точнее, в бег. Пробежал марафон. Двойной марафон. Тройной марафон. Пробежал двести километров. Пробежал триста. Осилит пятьсот. Шестьдесят раз подтянулся на турнике. Сто раз отжался на железных брусьях. Я не мог просто лежать на кровати. Мне нужно было действовать, нестись, я хотел мышечной боли, костяной боли, боли в лёгких, я хотел, чтобы эта боль не кончалась.

Однажды я бежал по Битцевскому парку, мне было двадцать четыре года, два года прошло со смерти Ярославы, я бежал 44-й километр и мечтал, чтобы на меня выбежал битцевский маньяк с молотком, как бы я его развоплотил, как бы убил, как бы сожрал! Я - машина. У меня диета, еда по граммам, сон по минутам, ледяные ванны, я - машина. Я бегу, дерусь, плаваю, отжимаюсь, подтягиваюсь, стою планку по сорок минут. Я - машина. Я ничего не чувствую. Я идеален. Боль - мой друг, страдание мне мать. Я робот.

Тут из кустов выметнулась белая лошадь и понеслась к Битцевскому обрыву. Я догнал её по диагонали, повис на уздечке, правой рукой обхватив шею и пригибая её к земле.

У самого обрыва лошадь остановилась. С лошади спрыгнула полная девушка и хлопала в ладоши. Такая счастливая.

- Круто как! Вы мой спаситель! Я чуть со страха не умерла!

Девушка достала телефон, подлетела ко мне, обняла и сделала селфи.

- Спасибо вам огромное! Как на земле-то хорошо!

Девушка слегка закружилась. Я посмотрел на мир: птица вон, сирень, точно ведь - весна.

- Пойдёмте, я вас тортом угощу. «Наполеон» из мацы; вы такой никогда не ели. Очень вкусный!

Я хотел сказать, что мне ещё пятьдесят шесть километров бежать, но вдруг подумал... Да пошли эти километры в жопу.

И пошёл с Таней есть «Наполеон» из мацы.

Шабашка

Работодатель снял мне квартиру на семнадцатом этаже приличного двадцатипятиэтажного дома на Щукинской. Весну за окном усугубляла сирень на обоях. Будто я попал в голову Врубеля, хотя мне и своего безумия достаточно. Я бывший наркоман. Однажды я пилил трубу с закладкой прямо возле Росгвардии. Не смог достать, купил ножовку и пилил. Безумству храбрых... Прокатило.

Но я не целиком наркоман, ещё я писатель, книжки пишу художественные на потребу. Мне кажется, мы всё делаем на потребу, даже детей. Но от детей хоть какой-то выхлоп, стакан в старости, а от книг ничего. Нет, шестьдесят тысяч аванс, а потом роялти, но это так, побухать или посетить бордель. Моя жена постоянно негодует из-за моих посещений борделя. Она никак не поймёт, что бордели посещают все мужчины мира, просто слабаки делают это мысленно, а отважные ребята, вроде меня, эмпирически.

- Олег, ты ходишь по борделям, ты мне изменяешь!

- Я там тренируюсь, Катя. А выступаю уже с тобой.

У нас с Катей лёгкие отношения - она меня любит, а я её люблю.

Я тут ходил на спектакль по своим рассказам. Там одна актриса... Боже мой! Я весь спектакль на неё смотрел, как борзая на зайца. Вот бы, думаю, эта актриса и ещё четверо в том же духе вышли на сцену и два часа мерили платья, танцевали под Майли Сайрус, красились, расчёсывали свои лошадиные волосы, смеялись и пели. Я бы на такой спектакль тыщу раз сходил. В конечном счёте, вся эта драматургия, бла-бла-бла, ничто по сравнению с обыкновенной красотой.

Про меня ещё, представляете, ребята из Перми документалку снимают.

- Вы поддерживаете СВО?

- Как?! Оно падает?!

- Да нет.

- Зачем же тогда его поддерживать?

Но всё это - книги, спектакли, документалки, - не приносят денег. А за двушку в Москве надо платить шестьдесят тысяч в месяц. Катя работает аналитиком, однако, её ста тысяч маловато. Поэтому я пишу сценарии для кино. Но в кино тоже считают, что СВО падает, и всячески его поддерживают. А мне хочется кино, ну, не знаю, - про двух девчонок, которые автостопом поехали на юг, и с ними всякая херня приключается. Или про чувака, который проснулся целиком в чужой крови, и весь фильм выясняет, что это, блин, за кровь такая.

Короче, я оказался в ловушке. Нет, можно вернуться в Пермь и пойти на завод, но и на завод меня не возьмут, меня никуда не возьмут - я на учётах у психиатра и нарколога. А ещё моей трудовой не касалась ничья ручка, она у меня девственница. А ещё мне тридцать восемь лет, и видок скверный.

Две недели питались мы с Катей макаронами с проклятьями, когда мне позвонили и предложили работу. Через три дня я поехал в Петербург. Это я Кате так сказал:

- Катя, подвернулась шабашка, я еду в Петербург.

- Чтоб у тебя не встал!

- Ты знаешь, что с каждым половым актом член мужчины чуть-чуть увеличивается?

- У тебя тогда должен быть, как у слона.

- Рад, что ты держишься.

Я увернулся от ложки, надел перчатки, вышел из квартиры, спустился вниз, заехал в магазин «Стройматериалы», купил перфоратор «Макита», человек передал мне ключ от квартиры, потом я снова сел в такси и вместо Петербурга приехал на Щукинскую. Там я купил булочек, фруктов и воды без газа.

В квартире я огляделся, проверил тумбочку возле двери, отнёс продукты на кухню, достал перфоратор и стал сверлить в стене дырки. Одну за другой. Я сверлил без остановки весь день.

Вечером в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок и открыл. На пороге стояла тётка лет шестидесяти в застиранном халате и со складками на шее.

- Здравствуйте. Я соседка снизу.

Я поздоровался.

- Ремонт?

- Дизайнерский ремонт.

- Надолго?

- Неделя максимум.

- У нас ребёночек днём спит. Вы не могли бы..?

- По закону я имею право сверлить с девяти утра до девяти вечера.

Тетка зыркнула и ушла. Я поел булок и лёг спать, не раздеваясь. Ровно в девять утра я взял перфоратор.

Был шестой час вечера, в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок и открыл. На пороге стоял мужчина хипстерской наружности. Он немного «завис». Моя лысая голова и широкие плечи сбили с него гнев.

- Извините. Вы весь день сверлите! Я на удалёнке, мне работать надо.

- Мне тоже надо работать. По закону я имею право сверлить с девяти утра до девяти вечера.

- Я полицию вызову!

- Вызывайте. Полиция вам скажет то же самое.

Я закрыл дверь и продолжил сверлить. Стены квартиры уже напоминали жилище термитов. Ночью мне приснилась актриса из спектакля. Кажется, я овладел матрацем.

В девять утра я снова взял перфоратор. От нечего делать я стал образовывать просверленными дырками геометрические фигуры и даже попытался изобразить Винни-Пуха.

Я как раз работал над его ушами, когда в дверь позвонили. Я положил перфоратор, подошёл и посмотрел в глазок. Потом достал из тумбочки пистолет с глушителем, он был без предохранителя, «глок-17», открыл дверь и дважды выстрелил Кузнецову Юрию Александровичу в голову. Он был свидетелем обвинения, которого следствие спрятало до суда в квартире наверху. Между прочим, за бронированной дверью с видеоглазком.

Я забрал рюкзак, положил пистолет на тело, спустился вниз по лестнице, вызвал такси от соседнего дома и уехал к себе. В подъезде я отклеил усы и вытащил цветные контактные линзы.

Понимаете, бытовые неудобства и криминальные опасения за свою жизнь лежат в головах людей на разных полках. Вот и Юрий Александрович не выдержал, пошёл негодовать. Не, ну странный мир, конечно. За книжку шестьдесят тысяч, а за убийство пять миллионов.

Великий рыб

Я вошёл в спальню - горел свет. Катя лежала поверх одеяла в пижаме и сверлила стену избыточно-недовольным детским взглядом. Катя - восьмилетний ангел. Впрочем, вряд ли бывают восьмилетние демоны. Чтобы стать ангелом, достаточно родиться. Чтобы стать демоном, надо потрудиться, восьми лет тут явно недостаточно.

- Почему не спишь?
- Расскажи мне сказку.
- Марш под одеяло.

Катя залезла под одеяло, я сел на край кровати. У Кати русые волосы, курносый нос и большие аметистовые глаза. Не ребенок, а мечта педофила.

- Хочу сказку.
- Ну, хорошо. Дай сообразить. Жил на свете кот по имени Мистер Цо-цо.
- Дурацкое имя.

- Не перебивай. Мистер Цо-цо жил не один. Вместе с ним жила кошка по имени Сибарея и старый ворчливый кот, которого все звали Перхоть.

- Фу!

- Не перебивай. Перхоть был уважаемым котом, потому что отсидел три дня в переноске.

- Зачем он там сидел?

- Хозяева куда-то его везли, не знаю. Однажды Мистер Цо-цо, Сибарея и Перхоть приехали отдыхать на Чёрное море.

- Я там была! Оно не чёрное, оно грязное.

- Раньше его звали Понт Эвксинский.

- Лучше бы так и звали.

- На море Мистер Цо-цо, Перхоть и Сибарея жили в доме с дендрарием.

- Это что?

- Это сад.

Катя кивнула. Надо сказать, она довольно смышленная девочка.

- Дальше.

- Мистер Цо-цо, Перхоть и Сибарея жили в домике, взаперти, хозяева не отпускали их в сад.

- Почему?

- Боялись, что они убегут, и их сожрут собаки или обидят плохие люди. Но Мистер Цо-цо, Перхоть и Сибарея очень хотели в сад. Оттуда в домик прилетали волшебные запахи. Чем там только не пахло! Агавой, сиренью, айвой, вишней, персиками, инжиром, сливами, абрикосом. Коты чувствуют запахи в шестнадцать раз сильнее, чем люди, представляешь?

Катя помотала головой.

- Коты хотели в сад, им хотелось изучать мир, познавать его, но ссориться с хозяевами они не хотели, поэтому сидели в домике смиренно. Пока однажды на море не случился шторм, и ветер не принёс в их носы небывалый запах моря. Перхоть, который перевидал на своем веку и собак, и двух ветеринаров, и даже летал в самолёте, так разволновался от этого запаха, что не стал вечером есть. Обычно Перхоть ел больше всех и даже блевал от избытка, поэтому его поведение сильно удивило Мистера Цо-цо и Сибарею. Ночью они пришли к нему под кровать. Сибарея спросила:

- Перхоть, почему ты не жрал?

К разговору подключился Мистер Цо-цо.

- Думаешь, Кожаные отравили еду?

Мистер Цо-цо недавно жил с людьми и не вполне им доверял. Перхоть ответил:

- Слышите запах?

Мистер Цо-цо и Сибарея кивнули.

- Знаете, что это? Так пахнет Великий рыб! Если съесть этот рыб, то никогда не умрешь и снова будешь делать котят.

Сибарея вскинула морду и спросила:

- Я смогу родить?

- Да.

Мистер Цо-цо оторвал язык от лапы:

- Я смогу её покрыть?

- Да. Мы станем прежними, дикими и настоящими. Мы должны добраться до источника запаха и отведать Великого рыба.

Мистер Цо-цо воодушевился, но Сибарея сомневалась. Она сказала:

- Не знаю, Перхоть. Мир полон бед. Нас могут разорвать собаки.

Перхоть ответил:

- Могут.

Мистер Цо-цо добавил:

- Или сбить машина.

- Не исключено. Но тот, кто доберется до Великого рыба, снова станет собой. Я не могу больше есть из корыта, как свинья. Я - кот! Я не могу больше сидеть на этих дешёвых дофаминах, на этих поглаживаниях. Мне надоело спать по ночам, когда спят Кожаные. Я хочу охотиться, хочу убивать, хочу видеть ужас в глазах мышей, хочу лакать горячую кровь. Я - хищник! Посмотрите, что эти ублюдки с нами сделали? Мы обрюзгли, разжирели, предали свою природу ради безопасности и комфорта!

Я понял, что сказка резко стала взрословатой, но Катя слушала с интересом.

- Они нашли Великого рыба?

- Утром они совершили побег. Самой ловкой из троицы была Сибарея. Она взобралась на стол и столкнула с него чашку, когда двое Кожаных только открыли дверь, чтобы пойти на пляж. В этот момент Перхоть и Мистер Цо-цо выбежали в сад и побежали на запах Великого рыба. Кожаные бросились за ними, но коты уже прошмыгнули на соседний участок и всю неслись прочь.

- А Сибарея?

- Она побежала, но увидела дерево и быстро залезла на него. Она никогда не лазила по деревьям. Потом она залезла на второе дерево. А затем и вовсе решила сначала залезть на все деревья в саду, а потом уже искать Великого рыба. Тут она увидела ящерицу в траве, напала на неё, но та отбросила хвост и скрылась в норке. А Сибарея полдня играла с хвостом, потому что он дергался, а потом съела его.

- Фу! А что случилось с Цо-цо и Перхотью?

- Долго ли, коротко, на самом деле минут через пятнадцать Мистер Цо-цо и Перхоть выбежали к морю. Они подошли к самой его кромке и сели в недоумении. Мистер Цо-цо спросил:

- Великий рыб - это вода?

Перхоть плакал.

- Этого не может быть.

В воздухе запахло псиной. К ним неслась свора собак, кобелей пятнадцать. Бежать было поздно. Завидев котов, псы ускорились.

Катя села в постели и взяла меня за руку.

- Их сожрали?

- Слушай. Когда псы были метрах в тридцати, морская волна вдруг выкатила прямо к лапам котов Великого рыба. Это был дельфин-азовка, погибший под винтами лодки. Перхоть тут же набросился на Великого рыба и стал грызть плавник. Мистер Цо-цо вцепился зубами в другой плавник. Едва они откусили по кусочку, как сразу преобразились: стали мускулистыми, больше размером, и храбрыми, как львы. Переглянувшись, Мистер Цо-цо и Перхоть яростно промяукали и пошли на свору собак в лобовую кавалерийскую атаку. Их хвосты стояли, как два знамени, глаза горели, как полярные звёзды, а сердца бились, как двигатели «мустанга». Псы никогда не видели таких котов-воителей и сразу бросились наутёк.

- Ура! А Кожаные? Они к ним вернулись?

- Вернулись. Когда Перхоть съел плавник, он узнал тридцать человеческих слов, и смог договориться с Кожаными, чтобы жить у них не как домашние животные, а как партнёры и самостоятельные коты.

- А Сибарея?

- Мистер Цо-цо принес ей кусочек плавника.

- Значит, она может рожать?

- Может. Но не хочет. Она где-то прочитала, что от родов растяжки.

- А, ну ладно.

- В общем, сказочке конец, а кто слушал - молодец. Теперь спи.

Я встал, подошёл к двери и погасил свет. В темноте раздался Катин голос:

- Когда я увижу маму и папу?

- Когда они заплатят за тебя выкуп, дорогая.

Я вышел из спальни, прикрыл дверь, зашёл на кухню. За столом сидел Берендей - играл в шахматы на телефоне. Я открыл морозилку, достал формочку для заморозки льда и поставил формочку на стол. В ней лежал детский мизинец. Берендей отвлекся от телефона и посмотрел на мизинец.

- Пора?

- Пора. Надо их простимулировать. Да и сказки заканчиваются.

Берендей встал, надел майорский китель, взял палец платком, положил в красивую коробочку, закрыл, убрал в карман и ушёл. Мизинец не Катин. Я отрезал его у мёртвой восьмилетней девочки в морге Чертаново. Я там помощником прозектора работаю.

Женя из Шервуда

Был у меня такой пациент, Женей звали. Милейший парень, служил в израильском спецназе, там у него «крышу» и сорвало... Достался он мне по наследству от врача, который уезжал в Америку.

- Женя Робин Гуд - очень занятный больной, - задумчиво произнёс мой коллега. - Вы только с отпусками его поосторожней. Он большой оригинал.

- Что, из отпуска не возвращается?

- Возвращается... Но не один, а с сопровождающими его лицами.

- А почему его Робин Гудом называют?

- О, это длинная история. Как-нибудь потом расскажу.

Но так и не успел или просто забыл, и уехал в свою Америку.

Женя - парень интересный и увлекающийся, много читал, но в голове у него был полный кавардак. То он писал стихи, то ударялся в религию, то начинал изучать каббалу, - и каждый раз с таким увлечением, что его ставили в пример другим хроническим больным.

Однажды попросился он в отпуск домой. Жил он со своей мамой где-то на окраине Беэр-Шевы, кажется, в узбекско-эфиопской резервации под названием Нахаль-Бека. Как-то кончились у него сигареты, а он мне и говорит:

- Отпустите меня к маме, она денег подкинет, а я сигарет куплю.

Отпустил я его на пятницу-субботу, как он и просил: «Пошлите меня на “два шэ”», то есть шиши-шабат, это так в Израиле называют пятницу с субботой. Как и положено перед отпуском, я всё проверил; вроде никаких агрессивных и суицидальных мыслей нет. Женя обещал вовремя вернуться из отпуска.

В ближайшую субботу я дежурил, он мне позвонил вежливо в отделение и говорит:

- Можно, я ещё на пару дней задержусь у мамы? Денег нет, а я в банк схожу и получу.

Я его спрашиваю:

- А лекарства?

А он так бодро отвечает:

- У меня сосед таксист, он меня к больнице сейчас подбросит.

Действительно, заехал, взял свой галоперидол с декинетом. Пожелал мне спокойного дежурства и уехал.

Ну, я утром дежурство сдал, пошёл домой отсыпаться. Но мобильник выключать не стал, мало ли что. Так вот, где-то в двенадцать дня одновременно зазвонили и домашний, и мобильник. Мне очень не понравилась эта синхронность... И я твердо решил не отвечать. Но после десятого звонка на мобильный я решил, что больше не могу отсиживаться в постельном окопе, и взял трубку.

Не то чтобы я узнал много нового о себе, однако среди разных ругательных слов, в основном на русском языке, мне настоятельно рекомендовали включить телевизор.

- А какой канал?

- Или второй, или девятый.

На том конце провода злобно бросили трубку.

На экране показывали симпатичную корреспондентку, и я прибавил звук.

- ...С места событий. Час назад было совершено дерзкое ограбление банка «Апоалим». Грабитель, не скрывая своего лица, используя пистолет системы «беретта», забрал двадцать пять тысяч шекелей и скрылся с места преступления. Всем, кто знает о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номеру 100. Вот его фотография.

На меня смотрело улыбающееся лицо Жени Хайкина.

Дальше - "минута молчания", растянувшаяся минут на десять. Из состояния ступора меня вывел звонок.

- Ты его старую историю болезни читал, эскулап хренов? Там же чёрным по белому написано: каждый отпуск Хайкина согласовывать с заведующим. Я думал, Бломберг, который уехал в Америку, единственный идиот.

- А зачем?

- Затем, м...к ты этакий, что это его конёк! Ограбление банков.

- Он мне сказал, что зайдёт в банк за деньгами. Но я же про ограбление ни сном, ни духом... И что теперь будет? Где его искать?

- Ничего больше не будет, и искать его не надо! У него стандартный подход: после ограбления он едет на такси в Эйлат. Там покупает сладости, сигареты, снимает люкс в шикарном

отеле и даже девочек заказывает. Потом деньги, естественно, кончаются, и он сдаётся в полицию. А она его к нам доставляет.

- Так когда же его ждать?
- Судя по сумме, через неделю.
- А откуда у него пистолет?
- А ты что, не знал о его коллекции?
- Какой ещё коллекции?
- Он года три коллекционировал ММГ, кучу денег угрохал из своей пенсии.

- Чего?
- Того! ММГ - модель массо-габаритная.
- Чего?
- Пистолетов и автоматов! Они как настоящие, один в один, только не стреляют. Прошлый раз он с «калашниковым» ходил брать банк «Дисконт», так вот двое посетителей обмочились, а старший кассир стал заикой. Скандал был на весь Израиль, все газеты писали... Было это лет пять назад. Ты что, не помнишь?!

- Откуда мне помнить, если я ещё в Союзе был?..
- Лучше бы ты там и остался! - в сердцах произнёс заведующий и бросил трубку.

Вернули Женю через пять дней.

Суда, конечно, не было. Большой шизофреник, хронический, дефектный...

До сих пор помню беседу с ним.

- Зачем ты пошёл в банк?
- За деньгами. У меня ведь пенсия кончилась, а у них всегда деньги есть.

- Да, но это не твои деньги.
- А я как бы ссуду взял, а потом с каждой пенсии бы выплачивал.

- Какая к чёрту ссуда, у тебя же в руках была «беретта»?!
- Так она же не настоящая.
- Так откуда охранник это знает?
- Так я ему первому и показал...
- Каким образом?!

- Я, когда в банк зашёл, он меня спрашивает: «Оружие есть?» Тут я достаю свой пистолет и на него направляю, и спрашиваю: «Узнаёшь?» Он мне отвечает: «Это “беретта”». «Знаешь, что делать?» Он говорит: «Знаю!», потом отдаёт мне свой пистолет, а сам ложится на пол. Я только и успел всем в банке сказать: «Здравствуйте», как мне сразу дали конверт с деньгами и сказали, что больше у них нет. Нет - так

нет. Я вышел, сел в такси и поехал в Эйлат. Пять лет там не был, красивый город.

- А если бы в тебя кто-нибудь выстрелил?

- Да нет. У меня же пистолет не настоящий. Зачем из-за каких-то цветных бумажек человека убивать? Тем более, у них там этих фантиков много, особенно в хранилище.

- А туда ты как попал?!

- Это я в прошлый раз, когда в банк "Дисконт" заходил. Но много брать не стал, я же не жадный. Так, чтоб на недельку хватило...

В общем, проработал я ещё два года в этом отделении, а потом меня пришёл сменять другой врач. Я, когда ему больных передавал, особо отметил Женю Робин Гуда.

- Очень интересный больной. Вы только, коллега, с отпусками поаккуратнее.

- А он агрессивный или суицидальный?

- Абсолютно нет, он неожиданный и оригинальный.

- В каком смысле?

- В самом прямом.

Был хороший тёплый вечер, и вдруг раздаётся звонок. Это мой будущий сменщик с дежурства звонит:

- У меня всё нормально. Я тут Хайкина на шиши-шабат в отпуск отпустил. Как вы думаете, он вернётся?

- Конечно, вернётся, но не сразу. Думаю, вы об этом узнаете одним из первых!

- А как?

- А вот это - сюрприз!

Тут мне вспомнились слова заведующего про идиота. Я улыбнулся и положил трубку.

Список приговорённых

Был типичный июньский день в Иерусалиме. На улице жара. А в магазине хорошо, кондиционер. Это был оружейный магазин.

- Мы можем предложить пистолеты на любой карман. Есть новые и подержанные. Есть и раритеты, но все исключительно в рабочей форме. Например, оригинальный немецкий «маузер» 1898 года, калибра 7,63; к нему прилагается деревянная кобура и сто патронов, дальность прицельной стрельбы не меньше пятисот метров. Всего пять с половиной тысяч шекелей. А вот этот «браунинг» легко помещается

в ладони, рукоятка инкрустирована перламутром, в обойме восемь патронов. Всего за тысячу триста шекелей. Ну, если и это дорого, есть старая «беретта» 22-го калибра и бельгийский шестизарядный наган, - каждый по шестьсот шекелей...

Продавец посмотрел на потенциального покупателя и сделал красноречивую паузу, предлагая ему осмыслить сказанное.

- Ну, так что же решили?

- Понимаете, цена для меня не главное, - вдумчиво произнёс клиент.

Продавец оружейного магазина «Мой калибр» уже с интересом посмотрел на собеседника.

- А что же для вас важно?

- Хорошая убойная сила, лёгкость в ношении и, конечно, вместительность обоймы.

- Чувствуется, что вы не новичок в нашем деле. Что ж, могу предложить вам «глок-17», вместительность 17 патронов; лёгкий, из полимерного пластика, отдача при стрельбе незначительная. К нему прилагаются две обоймы. Может стрелять из-под воды. Даже если его вытащить из грязи или песка, он будет стрелять, как ни в чём не бывало. Более того, к нему есть складной приклад. Вместе с прикладом – четыре тысячи шекелей. Можно заказать усиленные магазины на 33 патрона.

- Вот это мне подходит! Но мне нужно шесть усиленных обойм, - воодушевился будущий обладатель «глока».

- Вы меня простите, а зачем вам шесть усиленных обойм? Это же 198 патронов! Вы что, на войну собрались?!

- Да, - серьёзно сказал покупатель. - На войну со Злом. Злом с большой буквы «З». Я на такой пистолет три года откладывал с каждой пенсии.

Продавец слегка побледнел, но автоматически продолжал улыбаться.

- А что вы называете злом с большой буквы «З»?

- Я буду убивать плохих людей.

Продавец побледнел еще сильнее.

- Вы имеете в виду арабов-террористов?

- Почему обязательно арабов? Евреев.

- А евреи-то вам что сделали?!

- Ну, не всех евреев, только врачей!

Продавец начинает слегка заикаться.

- Ка-а-а-ких вра-вра-вра-чей?

- Ясно каких! Врачей-вредителей!

Тут продавец сливается с белой стенкой и, уже перестав заикаться, тихо спрашивает:

- А как вы их отличаете-то, плохих от хороших?

- Ну, это совсем просто, - разулыбался покупатель. - Тот, кто у меня в списке, тот и плохой!

И он достал из внутреннего кармана мятый листочек из тетради в клеточку.

- Вот, пожалуйста: номер один - Зальцбург Марк, психиатр. Номер два - Крейцер Ирина, психиатр. Номер три - Тверской Хаим, семейный врач. У меня тут восемнадцать фамилий. Вам их всех зачитать?

- Нет, спасибо, я вам верю. Но как же вы решили, что они плохие врачи?

- Я у всех у них лечился.

В горле у продавца пересохло, но вернулось исчезнувшее было заикание.

- Ввв-ам, на-на-навер-н-ное, потребуются запас-сс-ные о-о-боймы? По-до-ждите, я схожу на сс-сс-клад...

На ватных ногах продавец зашёл на склад и набрал номер «100».

- Алло, полиция? Я звоню из магазина «Мой калибр». Тут какой-то псих хочет купить пистолет и перестрелять два десятка врачей.

Через пять минут в магазин ворвались пятеро спецназовцев; заломив руки, вывели «истребителя врачей» и передали бригаде скорой помощи.

Артур Розенфельд, так звали этого «крестоносца», провёл в больнице, ни много ни мало, пять лет. Каждые полгода он писал апелляцию. И вместе с ней на стол психиатрической комиссии ложилась петиция от восемнадцати «приговорённых» врачей. Им очень не хотелось повторить судьбу двадцати шести бакинских комиссаров...

Комиссия, в которой тоже были психиатры, шла навстречу своим коллегам. Филейные части Розенфельда приняли на себя удар медицины, и были нафаршированы нейролептиками, как фаршированные перцы, которые готовила его покойная бабушка Рива.

Но эта оборона была прорвана, и не в меру ретивый адвокат решил добиться свободы для Артура. Он переснял пухлую историю болезни, ползал по Интернету, как блестящая навозная муха по трупам коровы, выискивая прецеденты. И вот однажды...

Мужчина ещё раз любовно протер тряпочкой медную табличку: «Заместитель главного врача, доктор Роберто Ривкин». Отойдя на два шага, он склонил голову к левому плечу и ещё раз посмотрел на надпись. Конечно, в Аргентине у него был кабинет побольше, но всё-таки... Нужно было сделать буквы покрупнее!

- Извините, к вам можно?

Мужчина недоуменно обернулся.

- Вы уверены, что ко мне?

- Вы же заместитель главврача этой больницы? - не то спросил, не то утвердительно произнёс посетитель.

Мужчина вздохнул и пригласил гостя в свой кабинет.

- Слушаю вас.

- Меня зовут Аарон Каплун, я адвокат Артура Розенфельда.

- А кто это? - удивлённо спросил мужчина.

- Вы что, не знаете своих пациентов? - в свою очередь удивился адвокат.

- Видите ли, - начал уклончиво Ривкин, - я здесь недавно. У моего предшественника случился инфаркт, и после реабилитации он категорически отказался от должности. А причину не объяснил...

- А, понятно... - сказал служитель Фемиды. - Дело вот в чём: у вас незаконно находится на принудительном лечении мой подопечный, и я готов передать дело в более высокие инстанции, чтобы добиться правды!

И он вытащил чёрную папку под мрамор, размером с мраморную плиту, на которой была наклеена надпись «Артур Розенфельд».

Роберто подумал, что его должность не такая уж и привлекательная, как казалось раньше. Он снял трубку, набрал номер заведующего первым мужским закрытым отделением, и царственно произнёс:

- Доктор Концевой, зайдите ко мне сейчас. Да, это срочно!

Через несколько минут в кабинет вошёл плотный мужчина в очках и в футболке с надписью: «Лас-Вегас».

- Вот, - и Роберто указал пальцем на своего гостя, - жалобы поступают, что у вас больные находятся на незаконных основаниях. А вы знаете, как у нас пресса реагирует на всё? Мы же в демократической стране живём, а не в России!

- А можно поконкретнее? - сказал заведующий отделением и посмотрел вызывающе на замглавврача.

- Речь идет о больном Розенфельде! - металлическим голосом заявил Ривкин, пытаясь показать, кто в кабинете главный.

- А! Артур-Истребитель; теперь понятно!..

- Что? Что вам понятно?! У вас человек пять лет, как в застенках КГБ, а вы даже шага к его реабилитации не сделали. Так что не вижу оснований задерживать пациента, и сам буду присутствовать на ближайшей комиссии и ходатайствовать о выписке. Да что вы там за бумажку мнёте?

- Ах, эту?! Так, ерунда. Санитар у Артура под подушкой обнаружил...

- Дайте сюда. «Седьмой, дополненный и исправленный список приговорённых». Что это за чушь?

- Вы читайте, читайте! Ваша фамилия третья, после лечащего врача и моей... А вы, если не ошибаюсь, его адвокат Каплун?

- Да, - с гордым вызовом произнёс молодой человек.

- Вы тоже есть в списке, - радостно сообщил доктор Концевой, - под номером восемь, после санитаров Хасана, Миши и Джорджа.

Оба его собеседника напоминали двух рыбок без аквариума. Заведующий мужским отделением снисходительно улыбнулся и бросил небрежно в сторону нового замглаврача:

- Кстати, ваш предшественник возглавлял шестой список...

Особняк над стадионом

Они ходили в кино рядом с Кулидж-Корнером. Потом зашли в соседнюю пиццерию. Не хотелось расставаться. Они медленно шли к её дому, стоявшему над городским стадионом. Это был общественный стадион, вечно зелёный, кажется, даже зимой, потому что и зимой солнце часто приходило сюда, отогревало землю и помогало траве расти и сохраняться до будущей весны. За оградой стадиона был заповедник с прудом, в котором жили рыбы восточного побережья Америки, и птицы, которых редко можно было встретить в наше время в американских городах. Например, голубая цапля. Он говорил иногда:

- У тебя глаза под цвет этой голубой цапли. И ноги такие же длинные.

- Не хватает мне ещё часами стоять на одной ноге! - отвечала она задиристо.

Он целовал её в горячие губы. Так они прощались у дверей особняка, в котором она жила со своими родителями.

Раньше в особняке жил и её старший брат. Но три года назад он поступил в университет Беркли, и теперь приезжал из Калифорнии только дважды во время учебного года: на День Благодарения и на Пасху. Он так любил свой университет, в котором сразу же увлёкся экспериментальной биологией, что если и приезжал в августе на недельку погостить в родительском коттедже на Кейп-Коде, то не оставался на еврейский Новый Год, который приходился на сентябрь.

Её дом в Бруклайне, ближнем предместье Бостона, был еврейским нетрадиционным домом, в котором всё разрешалось, кроме главного: нельзя забывать о своём происхождении и об истории еврейского народа. И ещё одно: не оставлять у себя мальчиков ночевать. Её гости должны были уходить не позднее полуночи. Таковы правила их дома. Отец, директор одного из отделений «Сити-банка», строго им следовал.

Её звали Маргарет, Марго, Марг. У неё были тёмно-каштановые волосы, мягкие скулы, голубые глаза, переливающаяся, как у бегунов-марафонцев, лёгкая насмешка на губах. И длинные красивые ноги. Осенью Маргарет любила ходить в

чёрном коротком пальто. Стоял октябрь. Она училась в Бостонской консерватории, мечтала стать концертной пианисткой.

Его звали Кристофер, Крис. В минуты нежности она называла его Кристи. Друзья придумали ему прозвище «Скальд». Он писал стихи. Крис был рыжеволосым крепышом. Рыжие кудри спускались на плечи, мышцы перевивались под футболкой, как тугие канаты парусников.

Когда они говорили о политике, Маргарет затаённо усмехалась, словно принимала за данность забавное несовершенство человеческого общества, даже если общество состоит всего из двух индивидуумов. Крис же откровенно хохотал и над либералами, и над консерваторами, потому что больше всего ценил в человеке и человечестве необычайные, до смешного, черты. У политиков черты забавности или экстравагантности выпирали с телеэкрана - в речах и в жестах. Особенно ему нравился пожилой, крепко скроенный негр, член Палаты представителей, который в дискуссиях все экономические и политические проблемы пытался объяснить комбинациями яблок и апельсинов. Эта наивная абсурдность была особенно мила Крису. Он ужасно не любил и всячески избегал правильных людей, которые ложатся спать вовремя, просыпаются по будильнику, платят вовремя по счетам и трясутся над общепринятой моралью.

К условиям быта он был не требовательным. Казалось, Крис сросся со своей брезентовой курткой, на спине которой красовалась выведенная масляной краской цитата из барда-диссидента Леонарда Коэна: «First we take Manhattan, then we take Berlin!»

Кристофер был из рабочей среды. Много лет отец его, выходец из семьи эмигрантов из Ирландии и Норвегии, и мать, привезенная в детстве родителями из послевоенной Польши, трудились по-чёрному, в полном соответствии с этой усталой метафорой тяжелого физического труда. Отец Криса двадцать лет провёл, валяясь под автомобилями или бегая от машины к машине на заправке. Наконец, около сорока лет от роду, отец с матерью накопили достаточно денег, чтобы внести в банк первоначальные десять процентов стоимости бензозаправки «Shell», продававшейся по умеренной цене. Отец перешёл в класс предпринимателей. Это несколько не изменило его образа жизни. Он продолжал заниматься ремонтом, разве что реже мотался между машинами, вставляя в баки пистолеты бензонасосов, получая у клиен-

тов наличные или прокатывая кредитные карточки. Заправкой занялся парень-филолог, недоучившийся до диплома, но гордившийся родством с Пушкиным и знанием нескольких пушкинских строчек; например: «Под небом Африки моей...».

Несмотря на убийственные ежемесячные платежи, назначенные банком за покупку бензозаправки, отец отправил Крису учиться в Бостонский Колледж, надеясь, что в их роду появится первый дипломированный адвокат.

Фильм, который они посмотрели, был французским, с традиционным драматическим сюжетом: семейная история времён оккупации Парижа немцами. В сюжет вплетались судьбы французских евреев. Пережила войну и оккупацию главная героиня фильма - жена французского банкира, католика, наследника старинного аристократического рода. Жена его по рождению была еврейкой, которая ещё с довоенных времён скрывала своё происхождение, зная о традиционных антиеврейских настроениях в доме жениха. Мимикрия под француженку, жену банкира-католика, помогла ей избежать депортации и выжить. Всё было бы прекрасно, не проснись в ней под конец жизни, где-то слева в груди, маленький зверёк под названием совесть. Этот зверёк-совесть напоминал миф о спартанском мальчике, который посадил за пазуху лисёнка, прогрызшего его кожу, а потом грызшего сердце (физические угрызения как модель нравственных угрызений совести), пока мальчик не умер, претерпев страшные муки. Моральные муки старой банкирши были не менее ужасными. Она их терпела всю жизнь, но не захотела умирать во грехе, а предпочла признаться сыну и внукам в своей пожизненной лжи.

Они шли молча, как будто каждый обдумывал фильм, заново просматривая жгущие кадры. Пока они смотрели фильм, Маргарет время от времени хотелось уйти, - так противны ей были колебания старухи-банкирши. Будто война и оккупация не кончились давным-давно, а проклятый еврейский вопрос ещё имел какое-то значение.

«Наверное, у нас в Америке не имел, а во Франции имел, и имеет до сих пор. Иначе почему банкирша так осторожно открывала свою тайну сыну и внукам? Разве тайна - быть еврейкой - в самом деле оказалась настолько страшной?» - подумала Маргарет. И поймала себя на мысли, что не уверена: стоит ли обсуждать еврейский вопрос с Крисом? Он

может и не понять её сомнений и колебаний; многие американцы далеки от подобных проблем. Для них это и не проблемы вовсе! Хотя, может быть, и стоит? Ведь история человечества как единая материя не прерывается, а возвращается к вечным сюжетам. Всегда есть следы прошлого.

Словно прочитав её мысли, Крис сказал:

- Какая-то полоумная французская старуха! В Америке такие немислимы!

- Потому что никому нет никакого дела, кто ты: еврей, католик или протестант! - воскликнула Маргарет. - Вот, например, тебе, Крис, важно или не важно, что я еврейка?

- Марго, важно, что мы любим друг друга! - он обнял её, и они начали целоваться. Они шли, останавливались и целовались, пока не подошли к особняку. Фонари горели у парадной двери. На третьем этаже, в кабинете её отца, зелёная лампа светила, как турецкая луна. Отец никогда не ложился спать, пока Маргарет не возвращалась домой.

Маргарет познакомилась с Крисом всего три месяца назад. Он пришёл на концерт студентов консерватории вместе с приятелями по колледжу. В перерыве, ничего никому не объяснив, он пошёл за кулисы и разыскал Маргарет. После концерта он пригласил её в бар. С тех пор всё и началось. Они виделись часто, но, несмотря на приглашения, Крис не заходил в дом.

- Почему? Ты стесняешься? - спрашивала Маргарет.

Он смеялся в ответ:

- Разве я, по-твоему, стеснительный? Здесь, в парке и на стадионе, так хорошо и вольготно. Что нам делать в комнатах?

«Почему Крис не заходит в дом? Чего он стесняется или стыдится? - спрашивала себя Маргарет. - А если нет, почему отказывается?»

Однажды Крис пригласил Маргарет к себе домой днём. Он жил на границе Бруклайна и Бостона. Туда стекались трамваи, автобусы, грузовики, таксомоторы и прочий городской транспорт. Здесь было царство бензоколонок, мастерских по ремонту автомобилей, дилерских контор с демонстрационными залами. Здесь шумело, гремело, гудело, свистело, звенело с утра до ночи. Крис любил эти уличные шумы. Они были для него, как для фермера шум листвы и шелест стеблей на кукурузном поле. Отец был на бензоколонке, мать уехала погостить к старшей сестре в Вустер. Они были совершенно одни. Никто не мешал им заниматься любовью.

Она горячо любила его. Он это видел и чувствовал, потому что ничьи губы, кроме её губ, не могли так отчаянно целовать его; ничьи губы не могли так страстно выпивать каждую клеточку его плоти. Никто до сих пор не был ей таким желанным, как Крис. И всё же, даже после этого, Крис отказался заходить к ней домой.

То же самое было и с фамильным коттеджем на Кейп-Коде. Он ни за что не хотел заходить внутрь, а тем более ночевать там, хотя иногда её родители оставались в городе. Несколько раз Крис приезжал на Кейп-Код в субботу или воскресенье. Он звонил ей по мобильнику. Он выходила. Они ехали на пляж, купались и резвились в океане, как беззаботные дети, пока было тепло. Начиная с середины сентября, просто гуляли по пляжу. Они уходили далеко, пока не оказывались около обширного имения, огороженного каменной стеной, из-за которой выглядывал замок с башней, увенчанной задорным колпаком крыши. «Тоже мне, отгородились!» - однажды процедил Крис и сплюнул сквозь зубы.

Обычно по утрам, до того, как уехать в консерваторию на звонком трамвае линии «С», Маргарет натягивала спортивные брюки и джемпер с белой окантовкой и делала пробежку, а потом зарядку на стадионе. В это раннее время по зелёному полю носились друг за другом собаки, а их владельцы (правильнее сказать: няни, опекуны, гувернёры, тренеры) умиленно наблюдали за своими питомцами и вели задушевные разговоры. И в это утро так было. Но появилось и нечто новое. По росистому с ночи ковру стадиона там и сям были разбросаны спальные мешки, одеяла, тележки, термосы, складные столики со стульями, упаковки с бутылками питьевой воды и другие предметы, присущие лагерю туристов или стоянке беженцев. Из спальных мешков и из-под одеял высовывались заспанные лица обитателей этого лагеря. У Маргарет мелькнула мысль, что это какие-то спортивные сборы, временная стоянка, подготовка к соревнованиям или что-то в этом роде, но она тотчас отказалась от этого предположения, потому что лагерь представлял собой картину хаоса. Но не было времени вдаваться в разгадку происхождения этого сборища, необычного для городского стадиона. Она сделала разминку около скамейки, поставленной несколько лет назад на пожертвование, внесенное её отцом, - о чём свидетельствовала медная дощечка с его именем и фамилией. Надо было спешить домой, чтобы переодеться,

позавтракать и успеть к трамваю, который отвезет её на урок со знаменитой когда-то русской пианисткой.

В пятницу Крис был занят и не смог встретиться с Маргарет. Наутро она со всей семьёй отправилась на Кейп-Код. Отец вёл «мерседес», переговариваясь с матерью. До Маргарет донеслись обрывки фраз о каком-то движении протеста против банков, с главным лозунгом: «Захвати Уолл-стрит!». Маргарет не вслушивалась в разговор родителей, занятая размышлениями об очередной пьесе, которую предстояло разучить к следующей неделе. Она любила, прежде чем начать разучивать, прочитав ноты несколько раз и словно прослушать музыку изнутри. Она была серьёзной девушкой и старалась во всё вникнуть самой. Это относилось к её учёбе, к домашним обязанностям, и к отношениям с Крисом. У Маргарет была задушевная подруга Эбби, с которой она могла говорить обо всём на свете. Но Эбби уехала на уикэнд в Нью-Йорк.

На Кейп-Коде их ждала приятная дачная рутина. После ланча в ресторане местного яхт-клуба, они вернулись домой. Маргарет продолжила занятия на фортепьяно, и поначалу долго отказывалась поехать к приятелям родителей. Всё же она, наконец, согласилась, потому что отец посмотрел на нее поглубевшими, как утреннее небо, глазами и сказал:

- Поехали с нами, доча. Так мало видимся на неделе!

Согласилась - и пожалела об этом. Лучше было бы проваляться с книгой в гамаке, следя за развитием запутанной интриги в романе. Лучше, чем слушать дискуссию о каких-то демонстрантах, запрудивших центр Нью-Йорка вокруг Уолл-стрита - района, где высились громады банков.

Во время коктейля у приятелей речь зашла о волне анархической ненависти к банкам толпы, раскинувшей поблизости от Уолл-стрит палаточный лагерь. С экрана телевизора многократно повторялся дерзкий лозунг толпы: «Захвати Уолл-стрит!». Маргарет показалось, что родители и хозяева повторяли этот лозунг с ироническим оттенком, который маскировал их обеспокоенность. «Что тут особенного? - подумала Маргарет. - Леваки с очередными требованиями невозможного. Кто их поддержит?» Но вдруг ей припомнилось утро на стадионе: спальные мешки и одеяла с несколько необычными туристами. Маргарет не показала виду, что все эти разговоры о толпе, вооруженной лозунгами протеста, ей

вовсе не безразличны. Из-за Криса? Где он? Она соскучилась. А Крис? Что, если их любви наступит конец? Вместо любви придёт безразличие...

Она отвлеклась и взглянула на экран телевизора. Операторы показали крупным планом группу демонстрантов, над которой покачивался транспарант: «Долой евреев-банкиров!» В гостиной воцарилось тяжёлое молчание. Хозяин коттеджа, финансист, резко поднялся с кресла, отставил бокал мартини с водкой, и выключил телевизор со словами:

- Сколько можно смотреть эту мерзость?!

- Как бы эта мерзость в дальнейшем не обернулась чем-то похожим на марши нацистских молодчиков! Они тоже начинали как социалисты-анархисты! - сказал отец, оглядев гостиную. Когда его глаза остановились на Маргарет, ей показалось, что из голубых они стали тёмно-синими, как океан перед штормом...

После возвращения в город отец решил пройтись до стадиона, чтобы размяться после дороги с Кейп-Кода. И, конечно же, наткнулся на палаточный лагерь. Маргарет поняла это по его озабоченному лицу.

Прошла неделя. Телевизор в новостях показывал перемещения в центре Бостона групп протестующих с плакатами солидарности: «Мы поддерживаем захват Уолл-стрита!». Маргарет перестала бегать на стадионе. Как будто бы она сама себя убедила в том, что у неё на это есть веская причина. Крис не звонил всю неделю. И этому Маргарет нашла своё объяснение: замотался в колледже. С родителями она уехала на Кейп-Код в пятницу под вечер. Был обычный уикендовский траффик. Маргарет смотрела на пробегающие стволы корабельных сосен и думала о Крисе. «Почему он не звонил? Важные дела? А вдруг?..» Она перебирала самые противоположные - логичные и бессмысленные - причины его молчания. И не могла рассказать об этом матери. Раньше бы она рассказала, как рассказывала всегда о своих мальчиках. А теперь стыдилась. Словно боязнь открыться была связана с утренним стадионом и с кадрами телехроники о людях, которые вышли на открытую борьбу с банками и банкирами. Она вернулась в Бруклайн, как обычно, под вечер в воскресенье.

Почти ясновидение, присущее во время критических поворотов жизненного сюжета, заставило её пойти следующим утром на стадион. От предыдущего посещения остался смутный осадок. Ещё до уикенда на Кейп-Код Маргарет дала

себе слово подождать, пока необычный туристический лагерь, более похожий на становище бродяг, исчезнет бесследно. Теперь она понимала, что между этими туристами-бродягами на стадионе, толпой в Манхеттене, призывающей захватить Уолл-стрит, и кадрами местной телехроники, в которых показывали лагерь, раскинувшийся в центре Бостона на Дьюи-сквер, существует несомненная связь.

Было около семи часов утра. Она вышла из дому и спустилась со склона холма, уставленного дубами. Их подножья утопали в желудях, напоминавших ей человечков в спортивных шапочках набекрень. Она усмехнулась: в тяжёлые минуты она умела отвлечься чем-нибудь смешным, и тревога уходила прочь, хотя бы на время.

Маргарет спустилась с холма и выбежала на стадион. Лагерь исчез. Почти исчез. Остались две палатки, обитатели которых, наверно, проспали общую побудку. Теперь они торопливо снимали и складывали палатки, закатывали матрасы и заталкивали свой походный скарб в рюкзаки.

Маргарет была знакома с укладом туристической жизни. В старших классах школы и в летнем еврейском лагере в Нью-Гэмпшире, она участвовала в восхождениях на невысокие лесистые холмы, - с ночёвками в лесу на берегу озера. С постановкой палаток запускался механизм вольной походной жизни: приготовление пищи, купание, пение у ночного костра, переглядывания с мальчиками и тайные мимолетные поцелуи под защитой широченных стволов. Так что, увидев последние признаки уходящего лагеря, она успокоилась, поверив, что её предчувствия напрасны, и что Криса здесь и в помине не было.

Она собралась было начать утреннюю пробежку, как вдруг натолкнулась на парня невысокого роста, в ковбойской шляпе и диковинных остроносых сапогах. Этого парня она встречала раньше в баре рядом с Кулидж-Корнером, где бывала с Крисом. Парень упрямо заталкивал в мешок голубую палатку, покачивая головой так, что месяцеобразные медные серьги звенели, как цыганская музыка.

Неожиданно для самой себя Маргарет спросила у парня:

- Ты не видел Криса?

- Скальда?

- Да, Скальда, Криса.

- А как же! Он у нас один из вожаков. С основной группой ушёл ещё затемно на Дьюи-сквер. Они сейчас там!

Ватные ноги дотащили Маргарет до дома. Она переоделась, села в такси около гостиницы «Холидей Инн», и сказала шоферу:

- На Дьюи-сквер, пожалуйста!

Вышла из такси - и увидела палаточный город. И снова смесь бродяжного и туристического быта бросилась ей в глаза. Палатки были небрежно натянуты; там и тут торчали грязные матрацы, подбоченились мусорные баки, а рядом с ними стояли вёдра, набитые каким-то хламом; валялись обрывки газет и плакатов, дымились допотопные печурки для приготовления пищи, ожидали своего часа прочие предметы быта - кочевого? осадного? бродяжного? Тут же топырились на ветру наскоро намалёванные транспаранты с революционными требованиями к властям, финансовым магнатам, могущественным компаниям и другим сильным мира сего от имени всемирного братства доведенных до отчаяния людей.

Никто не обращал на Маргарет внимания. Она искала в толпе Криса. Вдруг кто-то из протестующих крикнул:

- Идём к консульству Израиля!

Тотчас взмыли два новых транспаранта: «Израиль должен уйти!» и «Свободу Палестине!» Во главе толпы шёл Крис-Скальд.

Крис увидел свою возлюбленную, но не остановился. Он шёл впереди толпы навстречу полицейскому заслону. С кем-то на пару Крис нёс огромный транспарант: «Захвати Уолл-стрит!»

И всё же, перекрыв голоса своих сотоварищей, Крис помахал свободной от транспаранта рукой и крикнул:

- Марго, сюда! Пойдём с нами вместе!

А в толпе, идущей за Крисом, отозвалось:

- Израиль должен уйти! Израиль должен уйти! Израиль должен уйти!

- Нет, Крис!! - крикнула Маргарет, скорее обращаясь к самой себе, чем к своему возлюбленному. - Я с вами никогда не пойду! Израиль будет вечно!

Свидание

...Забывшись, в полудрёме, усталый от бесконечных артобстрелов Богдан Емельянович брёл по утренней мёртвой улице родного города, усыпанной камнями, стёклами и автоматными гильзами. Стояли сгоревшие танк и БТР, и гражданские машины. Он никак не мог понять: зачем эта война? Откуда взялись взаимная лютая злоба и ненависть? Почему теперь русские и украинцы - кровные враги?

Вот уже десять дней он ходил этой дорогой на свидание с любимой женщиной. Он надеялся только на одно: поговорить с Галей, посидеть на могилке жены, похороненной во дворе дома номер 49 по улице Советской.

Богдан Емельянович осторожно обходил многочисленные воронки, оставшиеся после налётов российских самолётов. Он заметил около одной из воронок изуродованное тело рыжей кошки и остановился. Это была соседская кошка Фанта, недавно родившая котят. Очевидно, бедняга вышла поискать корм для своих котят и попала под раздачу. Теперь котята, наверное, умрут с голоду.

Вдруг из подворотни выскочили люди в камуфляже с российским флажком на рукаве.

- Дед, укропов не видел?!

Богдан, пребывая в полной отключке, не уловил вопроса и проковылял мимо доблестных российских солдат. Ему было глубоко наплевать на солдат, на войну, на себя. Единственное, что его тревожило: во что бы то ни стало добраться до улицы, где они с женой когда-то жили.

Их пятиэтажную «хрущёвку» разбомбили две недели назад. Тогда под завалами погибло много людей, в том числе и его жена. Пока он ходил в аптеку за лекарствами для Гали, начался авианалёт. Здание, в которое угодила бомба, сложилось, как карточный домик. Одиннадцать часов Богдан откапывал свою изувеченную жену. С огромным трудом откопал и похоронил её тут же, во дворе дома, где они прожили почти сорок лет. На крестах, кроме имени и фамилии, писали номер квартиры, где жил покойник, чтобы облегчить поиск пропавших без вести. Было чудовищно символично: номер места проживания человека совпадал с номером его могилы.

Вдруг из подворотни выскочили люди в камуфляже с украинским флажком на рукаве.

- Эй, диду, москалей не бачив?!

Богдан, пребывая в полной отключке, не уловил вопроса и проковылял мимо доблестных украинских солдат.

Ещё две улицы - и он оказался на месте. Обходя огромную воронку - наверное, от трёхтонной бомбы - он обратил внимание на волонтеров-самоубийц, раздающих суп немногим выжившим.

Все были заняты важным делом. Солдаты хладнокровно убивали друг друга, свято веря в своё справедливое дело. Европа снабжала Украину оружием и цинично наблюдала, чем закончится эта кровавая заварушка. Одни адекватные люди тысячами удирали от войны, другие адекватные - защищали родину любой ценой. Добровольцы раздавали еду выжившим, - практически покойникам, не имеющим ни средств, ни сил убежать. Люди жили в подвалах и хоронили близких тут же, во дворах своих разрушенных домов. Город выглядел, как Сталинград, полностью разрушенный во время немецкой осады.

Богдан устало покосился в сторону проспекта и заметил возле раздолбанного светофора старуху в чёрном, с косой в руке. Она что-то записывала в блокнот. Явилась на очередную жатву. Естественно: ведь не нужно посылать наводнения и землетрясения, пожары и бури. Люди сами, добровольно, уничтожали друг друга. Старуха в чёрном была в восторге! Особенно она благодарила лётчиков, бомбивших мирные города.

Наконец, Богдан добрался до родной улицы. Благо, он остался жив, не наступив на мину. Обошёл пепелище и остановился на детской площадке, возле наспех сколоченного креста.

- Ну, здравствуй, Галя.

В ответ - тишина.

- Извини, что три дня не приходил, здорово бомбили...

В ответ - тишина.

- Думаю, что скоро встретимся.

В ответ - тишина.

Он посмотрел на хмурое небо и вымолвил:

- Господи, я устал жить. Забери меня к себе.

И в ответ Богдан услышал:

- Ты ещё не выполнил свою миссию, поэтому пока живи.

Какую именно миссию, Богдан не знал...

Эхо

Таня с двумя малолетними детьми, четверо пенсионеров и женщина неопределённого возраста уже две недели прятались в подвале центрального универмага. Его стены оказались довольно надёжным убежищем, метровой толщины, ещё царской постройки. Люди выходили наружу по очереди, в поисках еды. Трёхэтажный подвал универмага был хорошим укрытием от авиабомб и пушечных снарядов.

Когда-то красивый уютный город с полумиллионным населением был полностью разрушен за неделю войны. Наступающие разрушили всё: жилые дома и магазины, коммуникации и линии электропередачи. Кто мог уехать - уехали, кто не мог - погибли, кто очень хотел жить - спрятались в подвале универмага.

В это время наверху солдаты противоборствующих сторон сотнями уничтожали друг друга, причём с особой жестокостью, оправдывая зверства взаимной лютой ненавистью. А в подвале текла своя жизнь. Пятилетний Петя, напуганный происходящим, хотел тишины и манной каши. И ещё хотел, чтобы не было взрывов, особенно ночью. Таня от голода теряла сознание, но отдавала свою еду детям.

Когда начался очередной авианалёт, люди, сидевшие в подвале, надеялись на лучшее и думали, что смертоносная бомба уж точно не попадёт в них. Типа: снаряд в одно и то же место не падает дважды.

Но гул взрывов нарастал, стремительно приближаясь к городскому универмагу. Что говорить, лётчики профессионально делали ковровую зачистку. Через некоторое время руины универмага преобразовались в новые руины, а подвал завалило окончательно.

Люди оказались в каменной ловушке. Все они притихли, осознавая неотвратимость смерти в этой братской могиле. И лишь пенсионер Александр Юрьевич - бывший полковник советских войск - встал и громко произнёс, - так, чтобы слышали все:

- Спокойно, товарищи, нас обязательно найдут и откопают! Не может быть, чтобы нас не спасли.

Кто-то из сомневающихся робко спросил:

- А как мы узнаем, что нас откапывают? Ведь мы глубоко под землёй?

- Отставить панику! Нас обязательно будут искать! Необходима полная тишина, чтобы знать, с какой стороны идёт помощь. И ещё: погасите свечи и не разговаривайте, экономьте воздух.

Примерно через два часа послышался глухой, еле различимый звук, похожий на далёкое эхо. Звук шёл непонятно откуда, но внушал находящимся под завалами надежду на спасение.

Военный пенсионер тут же подал голос:

- Я же говорил, что нас ищут и обязательно найдут! Мне нужна тишина, чтобы перестукиваться со спасателями.

В гробовой тишине эхом отозвались удары Александра Юрьевича железкой по бетонной стене подвала. Но случилось невероятное - где-то там, очень далеко, еле слышно прозвучали ответные удары, подобные азбуке Морзе.

Все разом успокоились. Таня облегчённо вздохнула. Перестали плакать её измученные дети. Женщина неопределённого возраста нервно кашлянула. Пенсионеры одобрительно зашептались.

- Я же ясно сказал, что мне нужна абсолютная тишина! - закричал военный пенсионер.

Все тут же замолчали; казалось, перестали даже дышать. Снова в темноте послышался перестук спасателей и Александра Юрьевича, - перестук надежды, которая, как известно, умирает последней. С каждым ударом надежда, отдалённым эхом, крепла в обречённых людях.

Время в заточении течёт совершенно по иному, чем на воле - гораздо медленнее. Тем более, что с каждым вздохом воздух, казалось, таял, приближая кончину от удушья.

Казалось, время перестало существовать, сознание мутилось, Но перестукивание продолжалось. Оно длилось бесконечные девять часов.

Когда обитатели каменного склепа были в полузабытьи, и лишь отставник из последних сил стучал по стене ржавой кружкой, чтобы звучало эхо, помощь, наконец, пришла. Но совершенно с другой стороны, откуда её совсем не ждали...

Десять с половиной килограмм

Я всегда обожал котов, поэтому взял из питомника двух симпатичных котят, которых назвал Чип и Дейл. Дейл имел

строптивный характер, царапал и кусал чужих, а Чип был полной ему противоположностью - добрый и ласковый. Но вместе они жили дружно, не дрались.

Дейл мне нравился больше, поэтому с самого начала это был мой кот, а Чип находился под эгидой жены.

Чип, к огромному сожалению, прожил у нас недолго, всего пять лет, потому что заболел и умер. А Дейл жив до сих пор. Теперь это не маленький балованный котёнок, а солидный кот внушительных размеров, весом в десять с половиной килограмм.

Его любимое занятие - лежать у меня на плече, в результате чего плечо буквально отваливается. Однако я терплю, ведь беспредельно люблю Дейла.

...Вечером ожидался интересный футбол: томская «Томь» против ленинградского «Зенита». «Зениту» надо было упрочить своё лидирующее положение, а «Томи» - наконец-то вырваться с последнего места турнирной таблицы.

Я подготовился основательно: закупил достаточно пива и солёных орешков.

Дейл спокойно сидел рядом со мной на диване и смотрел футбол. Похоже, это ему, как и мне, нравилось.

Первый тайм наши, томские, выиграли - 2:1.

Начался второй тайм. Я пил пиво и закусывал орешками. Как-то неудачно проглотив очередной орешек, я поперхнулся. И подавился.

Пытаясь выплюнуть застрявший орех, я провоцировал рвоту, но всё казалось напрасно. Изогнувшись в три погибели, я склонился над унитазом и пытался либо выплюнуть злосчастный орех, либо проглотить его. Но тот застрял намертво в горле.

Когда я стал задыхаться от нехватки воздуха, мне стало страшно.

Дейл ходил около меня и жалобно мяукал. Вдруг он высоко подскочил и со всей силой прыгнул мне на спину, придавив меня своей тяжестью. Его веса хватило, чтобы орех сдвинулся с места и вылетел из горла. Я был спасён, а довольный Дейл стал тереться о мою ногу.

Кто его научил ударять по спине, когда что-то застревает в горле?

Дейл сделал именно то, что в тот момент было мне необходимо.

Я выбросил в мусор оставшиеся орешки и продолжил смотреть футбол. А Дейл направился к своей миске, чтобы поесть и стать ещё тяжелее...

«Я был душой дурного общества...»
(главы из книги воспоминаний)

Деньги-франки и жемчуга стакан

Так вышло, что я родился в семье коллекционера. Как мой отец, мальчик из бедной еврейской семьи, всю жизнь борющийся за кусок хлеба, стал страстным коллекционером, и как получилось, что к середине жизни его коллекция советских почтовых марок уже считалась одной из лучших в Москве, понять совсем не просто. А дело обстояло так.

Отец родился в небольшом еврейском местечке Млинов на Западной Украине, в семье потомственного портного. Местечко это до конца XVIII века принадлежало Польше, но после третьего раздела стало Россией. Моему отцу ещё не исполнилось и года, когда началась Первая мировая война. Примерно через месяц после начала войны командующий Западным фронтом русской армии, генерал Иванов, принял решение о выселении всех евреев из прифронтовой зоны, поскольку евреи, по его мнению, в силу близости их языка к немецкому, поголовно являлись потенциальными шпионами. К чести русской администрации, следует, правда, отметить, что одновременно была отменена и черта оседлости.

Мой дедушка Даниил нанял подводу, посадил в неё свою молодую жену с грудным ребёнком и поехал куда-то на восток. Так семья оказалась в русском городе Курске. Население Курска было очень разношёрстным. Рядом с беженцами, еврейскими и не еврейскими, жили выселенные из своих домов дворяне, представители местного духовенства, русские, поляки, чехи - и кто только не...

Один юноша из польской дворянской семьи, по имени Людвиг, подружился с папой. Он-то и приобщил папу к коллекционированию. Папа начал собирать всё: марки, монеты, бабочек, птичьи яйца. Когда вырос, остались, правда, только марки.

Дедушка редко соглашался взглянуть на коллекции сына. Все силы и время он отдавал одной цели – прокормить семью. Несмотря на то, что портной он был хороший, и заказов

было немало, все деньги уходили на покрытие бесчисленных налогов, с помощью которых власти пытались задушить частную инициативу. И, в общем, безусловно, в этом преуспели.

Но однажды он согласился посмотреть коллекцию монет. Его внимание привлекла большая, очень грязная монета, которую отец по случаю выиграл в расшибалку. Была когда-то такая игра, в которой надо было ударить своей монетой по монете противника, лежащей на земле. Если монета переворачивалась от удара, то ударявший её забирал. Дед монету забрал и пошёл к ювелиру. После того, как монету почистили и помыли, оказалось, что она золотая. Дед получил за неё приличную сумму, что было очень кстати.

На войну против Германии отец ушёл добровольцем, прихватив с собой два альбома марок. В 1943 г. он был ранен осколком в голову и несколько дней лежал без сознания, а когда очнулся - первое, что он спросил у склонившейся над ним медсестры: «А где мои альбомы?»

Вот у такого папы, через год после того, как он вернулся с фронта, родился я. Говорят, что приобретённые качества не передаются по наследству. Не верьте, передаются, и ещё как. Папа с трудом дождался дня, когда мне исполнилось два года, и открыл альбом с марками. И, как сказал Высоцкий: «Шепнул, навёл – и я сгорел». И вот, горю до сих пор, хотя с того момента уже прошло более семидесяти лет.

Конечно, я начал с марок. Папа купил мне маленький блокнотик, который стал моим первым альбомом, и понемногу стал давать мне марки, которые он аккуратно клеивал в мой альбомчик с помощью специальных филателистических наклеек. Но однажды мой приятель, четырёх лет от роду, убедил меня, что марки в альбом надо наклеивать с помощью канторского клея. Марки после этого, правда, почему-то почернели и стали единым целым с листами блокнота. Папа мою инициативу не поддержал и даже на некоторое время перестал давать мне марки. Но потом, под обещание к канторскому клею более не обращаться, меня простил.

Когда мне исполнилось девять лет, в моей жизни произошли сразу три важных события: меня приняли в пионеры, я начал изучать английский язык с домашним учителем и начал собирать монеты.

Идея собирать монеты принадлежала исключительно мне. Фантики и солдатки уже больше меня не интересовали, марки и бабочки были под эгидой папы, а мне хотелось чего-

то, что было бы только моим. Этим «моим и только моим» и стали монеты.

Собирателей монет называют нумизматами, от греческого «номизма» - монета. Известный российский археолог Герман Федоров-Давыдов утверждает, что раньше их называли нумизматиками. Мне это напомнило старый анекдот, в котором незадачливая жена с гордостью сообщает подруге: «А у меня муж – сифилитик», имея в виду, что он филателист.

Первые монеты в коллекцию я получил из папиного кошелька. В середине 50-х годов в обращении находились все монеты, выпущенные с 1921 года. Нередко в сдаче вы могли получить серебряный полтинник или даже рубль двадцатых годов, не говоря уже о более мелких номиналах. Я начал собирать советские монеты по годам, то есть хотел иметь в коллекции монеты всех номиналов, отчеканенные во все годы выпуска. Первые иностранные монеты я получил от мамы: кто-то из её сотрудников, возвратившись из-за границы, подарил ей несколько мелких монет.

К моменту начала коллекционирования монет я уже знал, что Израиль – это еврейское государство, и мне очень хотелось иметь израильскую монету. И вот наступает 1957 год, и в Москву съезжаются делегации со всего мира на Фестиваль молодёжи и студентов. Меня, конечно, отправляют в это время с папой на море, потому что все уверены, что делегации третьего мира привезут в Москву разные болезни, и детей надо спасать. Но мама остаётся в Москве и получает задание: встретиться с израильской делегацией и достать мне монету.

Мама честно выполнила задание, но члены делегации, с которыми ей удалось встретиться, оказались арабами, и монеты маме не дали. Но счастье от меня не отвернулось: вернувшись из отпуска, папа обнаружил, что один из его сотрудников достал израильскую монету. Сотрудник этот был взятый антисемит, и папа, будучи его начальником, монету у него экспроприровал.

Коллекция понемногу росла, и мысли о ней иногда сильно отвлекали меня во время школьных занятий. Я мысленно представлял себе, как приду домой, высыплю монеты из коробочки из-под монпансье, разложу их по странам и по годам. Голос учительницы в этот момент моего сознания не достигал. «Скупого рыцаря» я в свои 12 лет ещё не читал, но если бы прочёл, то наверняка бы почувствовал духовную близость с бароном:

«Весь день минуты ждал, когда сойду

В подвал мой тайный, к верным сундукам».

Были монеты, которые мне очень хотелось иметь, но у моих сверстников их не было, а купить я ничего не мог, так как до шестого класса своих денег не имел. Одной из таких монет был серебряный американский доллар с орлом на лицевой стороне и головой Свободы на оборотной. Если бы кто-нибудь тогда подарил бы мне такой доллар, я, наверно, умер бы от счастья. Но вот, когда я учился в шестом классе, маме удалось устроить меня в специальную английскую школу. Школа находилась довольно далеко от дома, туда надо было ехать на трамвае, занятия продолжались долго; короче, родителям пришлось выдавать мне немного денег на завтрак и на проезд. За редким исключением, получаемые деньги шли на приобретение монет.

Мои новые школьные товарищи были людьми гораздо более сведущими, чем те, с которыми я общался до того. Один из них поведал мне, что, если в воскресенье поехать в центр и стать у входа в отель «Метрополь», то кто-нибудь из иностранцев обязательно подарит монетку, а то и несколько. И я поехал.

Оказалось, что таких умников, как я, там человек сорок. Каждый раз, когда подъезжал какой-нибудь автобус с туристами, мальчишки бросались к ним, выпрашивая монетки и жевательную резинку. Туристы, как правило, никак на эти приставания не реагировали, а старались побыстрее войти в отель. Я стоял в сторонке, мне было очень стыдно. Но вот один из туристов, американец, полез в карман, достал оттуда горсть монет и подбросил их в воздух. Монеты покатались по асфальту, и мальчишки кинулись их подбирать, примерно так, как у нас подбирают конфеты, брошенные в синагоге на праздновании бар-мицвы. Зрелище было отвратительное, а американец надрывался от смеха. Мне стало неприятно, я спустился в метро и поехал домой.

...Было несколько постоянных мест, где можно было приобрести монеты: во-первых, единственный в Москве клуб нумизматов на Профсоюзной улице; кроме того, в летний период иногда устраивались встречи коллекционеров в каком-нибудь парке, типа Центрального парка культуры и отдыха, Измайловского или Сокольнического парка, или Сада им. Баумана. С середины 60-х годов в Москве стали появляться клубы коллекционеров, как правило, в помещении районных домов культуры. Председателем одного из таких клубов в течение почти 20 лет был мой отец.

Довольно быстро папин клуб стал одним из самых популярных в Москве. Дело в том, что, по существовавшим тогда понятиям, коллекционный материал в клубах продавать было нельзя, это считалось спекуляцией, вне зависимости от продажной цены. Разрешалось только меняться. Руководители многих клубов, партийные держиморды, строго следили за соблюдением этого абсурдного порядка и очень досаждали коллекционерам. У папы обстановка была свободной, его клуб любили, и в годы расцвета его членами были более четырехсот человек. Столь значительные успехи в области пропаганды коллекционирования не могли укрыться от глаз властей предрезающих, и в начале 80-х годов, уже после моего отъезда в Израиль, папа был введён в состав правления Всесоюзного общества филателистов.

Я постепенно определил главное направление своей коллекции: меня особенно интересовали монеты царской России, особенно серебряные монеты рублёвого достоинства. На втором месте по шкале интересов шли монеты СССР; иностранные монеты отошли на задний план, денег я в них не вкладывал, но, если попадались, оставлял. Я уже давно мог купить любимый когда-то доллар, но не делал этого: любовь прошла, остались лишь воспоминания.

Вспоминаю смешной случай во время одного учебного семинара в университете. Мой научный руководитель, профессор Владимир Васильевич Белецкий, да будет благословенна его память, держался со студентами очень по-дружески. Во время семинара, посвященного динамике космических полётов, он обратил внимание на то, что я, вместо того, чтобы слушать его объяснения, что-то оживлённо рассказываю приятелю о монетах. Он посмотрел на меня и говорит:

- А у меня дома есть мешочек с монетами.

Не сдержав свою гордыню, я бросил:

- А у меня дома есть шкафчик, а в нём две тысячи монет.

Он улыбнулся и говорит:

- А я – профессор и вообще...

Я покраснел и извинился.

...Никакая серьёзная коллекция не может существовать, если нет каталога. Лучше, если в каталоге есть цены. Коллекционер обязан знать, что существует, а зная это, он определит, чего ему не хватает. Если каталога нет, собирание становится непрофессиональным. В этом, кстати, причина, почему коллекционирование значков и открыток никогда не достигало такой популярности, как коллекционирование почтовых марок и монет.

До начала 70-х годов в Советском Союзе с каталогами было плохо. Вдруг в 1963 году появился очень фрагментарный каталог монет Азии и Африки. Почему он появился на свет на несколько лет раньше каталога советских монет и лет на двадцать раньше каталога монет России, знают наверно, только на небесах. Но и он был мгновенно раскуплен коллекционерами.

В середине 70-х годов папа привёз мне из Венгрии «Всемирный каталог монет XX века» Гюнтера Шона в переводе на английский, что в значительной степени облегчило мне собирание иностранных монет. Но меня больше всего занимали монеты царской России, а каталога на них не было. Кто-то сообщил мне, что до революции был издан замечательный по своей полноте и аккуратности каталог царских монет. Назывался он «Таблицы русских монет двух последних столетий» Хр. Гиля.

Я обежал все известные мне букинистические и антикварные магазины, но ничего не нашёл. Тогда мне пришла в голову идея пойти в библиотеку им. Ленина, заказать там эту книгу и сделать с неё ксерокопию, - эту услугу библиотека оказывала. Однако выяснилось, что книгу эту можно заказать только в научном зале, а вход туда разрешался только людям, имевшим учёную степень, кандидатскую или докторскую, или имевшим направление с места работы, предусматривающее использование данной книги.

Ушло около двух лет, прежде чем я нашёл человека, который выполнил мою просьбу и принёс мне вождеденную ксерокопию.

Закончилась учёба в университете. В день получения диплома у меня родилась дочь. Естественно, что в этот год лето я проводил в Москве. Поскольку до выхода на работу по распределению оставалось ещё два месяца, я устроился на работу киоскёром в газетный киоск. Работая с мелочью, я откладывал в сторону более редкие монеты из находившихся в обращении. Однажды меня пытался обмануть один человек, протянув мне старый пятак, который уже давно вышел из обращения и покупательной стоимости не имел. Я же не только согласился принять его платёж, я дал ему газету и ещё три копейки сдачи. В то же мгновение человек исчез в подземном переходе. Невдомёк было товарищу, что пятак его был довольно редок и стоил, как минимум, раз в двести больше своей номинальной стоимости.

Летом 1974 года я отдыхал с женой в Керчи. Дней за десять до отъезда мы забрели на блошинный рынок. Ничего интересного: какие-то старые примусы, мельхиоровые ложки, пустые флаконы от духов. Вдруг на одном прилавке я вижу алюминиевую миску с монетами. Перебираю, ничего интересного. Смотрю, рядом с миской лежит серебряная монета средней величины, на ней хорошо виден год чеканки, а он 1727. Тип монеты мне абсолютно не знаком, что приводит меня в крайнее замешательство: я коллекционер с двадцатилетним стажем, я видел тысячи монет, а вот такой не видел никогда. Пытаясь сдерживать волнение, я спрашиваю о цене. Мужик говорит: «Пятнадцать рублей». Цена не маленькая; напомним, что в те времена зарплата начинающего инженера составляла 105 руб. в месяц. Тем более, нам скоро уезжать – деньги на исходе. Но если это редкость, то 15 рублей – это не деньги.

Вечером бегу на почтамт звонить папе. Люди моего поколения ещё помнят, что такое междугородний разговор. Вы приходите на переговорный пункт и заказываете разговор, как правило, три минуты, так как цена одной минуты очень высока. Потом вы ждёте, чтобы вас вызвали и сообщили номер кабины, из которой вы будете говорить. Ждёте час-два-три; иногда вам сообщают, что абонент не отвечает, и вы отправляетесь домой, чтобы прийти назавтра.

К счастью, папа дома. Мне нужно, чтобы он посмотрел в старинном аукционном каталоге казанского антиквара Абдрашитова, сколько стоит серебряный грош 1727 года. За три минуты папа этого сделать не может, и мы договариваемся, что я позвоню завтра.

Дожидаюсь вечера и снова бегу на переговорный пункт. Папа говорит: «Четыреста рублей». У меня останавливается сердце. 400 рублей в царские времена – это целое состояние. Дедушка говорил, что на 5 рублей он кормил семью в течение месяца.

Не могу уснуть; едва дождавшись утра, бегу на рынок. На моё несчастье, он в этот день закрыт. Я уже и есть не могу, все мысли о монете: а вдруг её уже кто-то купил, а вдруг мужика не будет на рынке, или я его не узнаю?..

Наконец, наступает утро, и я бегу на рынок. Узнаю мужика, но монеты на прилавке нет. Я не хочу о ней спрашивать, это может взвинтить цену, но выбора нет, и я задаю вопрос. На свет появляется монета, - уже легче. Теперь надо спросить о цене. Я долго верчу монету в руках, но всё-таки нахожу в

себе силы и, наконец, задаю вопрос. «Я же тебе сказал, пятнадцать рублей». Я достаю деньги и забираю монету.

Оставшиеся дни отпуска я был крайне рассеян; все мои мысли были о том, как я приеду в Москву и покажу монету специалистам. И вот, наконец, я в Москве. Я еду в Исторический музей и звоню в отдел нумизматики. Мне отвечает какой-то молодой человек. Я говорю, что хотел бы показать специалисту грош 1727 года. Он спрашивает: «Медный?». Я говорю: «Нет, серебряный». Он кричит в трубку: «Я бегу к вам!»

Уже потом из «Таблиц» Гиля я узнал, что медный грош – монета обычная, а серебряный – крайне редок.

Молодой человек долго вертит монету в руках, а потом говорит: «Это подделка, но неплохая. В коллекции Исторического музея тоже нет подлинной; наша подделка даже хуже вашей».

...Как и в детстве, были монеты, которые мне очень хотелось иметь. Особенно мне хотелось иметь в коллекции золотую монету. И вот однажды папа сообщил мне, что к нему обратился человек, который хочет продать платиновую монету. Человек этот, обращаясь к папе, рисковал. Продажа и покупка изделий, в том числе и монет, из золота и платины частным образом считалась уголовным преступлением. Если вы такое изделие хотели продать, то единственное, что вы могли сделать, не нарушая закона, это отнести его в государственную скупку драгоценных металлов, где вам бы заплатили по смехотворному государственному тарифу.

Платиновые монеты чеканились в России очень короткий период, с 1828 по 1845 год. Всего было выпущено три номинала: 3 рубля, 6 рублей и 12 рублей. Монета, которую предлагал человек, была трёхрублевого достоинства. Он хотел за неё 150 рублей. Для такой монеты это было недорого, и я монету купил.

Незадолго до этого я решил расстаться с коллекцией значков, которую собирал почти 20 лет. Особенно хорошо продавались наградные спортивные значки, которых у меня было немало. Вскоре после платиновой я купил ещё и две золотые монеты.

Сегодня трудно представить, в обстановке какого террора мы жили. В папин клуб постоянно приходил один очень крупный нумизмат. По словам очевидцев, он обладал огромной коллекцией царских монет, среди которых было немало редких дорогостоящих экземпляров. Но денег у него никогда не было, потому что как только он что-либо продавал, он тут же

покупал что-нибудь в коллекцию. Жена его постоянно ныла, что ей хочется иметь дублёнку. Но дублёнок в обычных магазинах не было, продавались они только в магазинах сети «Берёзка» за иностранную валюту или сертификаты. Сертификатами назывались платёжные средства, выдаваемые человеку, который сдавал государству привезённую из-за границы валюту. Покупка иностранной валюты или сертификатов считалась уголовным преступлением.

При покупке товаров в «Берёзке» человек обязан был предъявить документы, подтверждающие его право иметь валюту или сертификаты. Простофиля-нумизмат, к сожалению, этого не знал. Купив у кого-то сертификаты, он привёл жену в «Берёзку», чтобы купить ей дублёнку. Тут же была вызвана милиция, и открыто уголовное дело. Кончилось всё трёхлетним тюремным заключением и конфискацией коллекции.

Неожиданно мне предложили купить содержимое копилки царских времён. В копилке было 400 одинаковых полукопеечных монет 1899 года. Все были в изумительном состоянии; видно было, что они никогда не были в обращении. Цена была привлекательной, но, по неопытности, я не имел понятия, что продать такое невероятное количество монет невозможно, для этого нужно прожить две жизни. Несмотря на полную абсурдность этого приобретения, по прошествии сорока лет я все монеты продал и неплохо на этом заработал.

Коллекция моя продолжала увеличиваться, в ней уже было более 600 царских монет, из них более 40 составляли особенно любимые мной серебряные рубли. Но приближалось время расставания. Я собирался в Израиль, и было ясно, что коллекцию мне взять с собой не удастся. Чтобы вывезти из Союза монеты, нужно было, имея визу на руках, получить разрешение специальной комиссии министерства культуры, а потом ещё и заплатить пошлину за каждую вывозимую монету, по тарифам, которые ничем не напоминали тарифы скупки драгоценных металлов.

Я начал искать среди отъезжающих в Израиль людей, которые готовы были бы пройти всю эту унижительную процедуру. Пошлину, разумеется, оплачивал я. Дважды мне это удалось, но на третий раз был получен отказ без всяких на то оснований, и я свои усилия прекратил.

Расставаться с коллекцией – это как расставаться с любимой женщиной, и обиднее всего - не потому, что разлюбил, а потому что надо уезжать. Я оставил коллекцию папе. Спустился семь лет и папа собрался уезжать. Продавать коллекцию

было бессмысленно: с деньгами нечего было делать, и папа обменял коллекцию на редкие марки, которые смог переправить в Израиль. В течение без малого двадцати лет я пытался продать эти марки в Израиле, специально ездил для этого в Париж, слал гонцов в Нью-Йорк. Успехи были более чем скромными.

Но вот, в начале века, на филателистическом небосклоне появились «новые русские». Цены взлетели к небесам. Я не растерялся и выставил свои раритеты на нью-йоркском аукционе Cherrystone. На вырученные деньги я справил четыре свадьбы и бар-мицву сыну.

Через пару лет обвалились цены на нефть, и «новых русских» как ветром сдуло. Вместе с ними обвалились и цены на марки, но я в своём Эльдорадо уже побывал.

И вот я в Израиле - без монет, без каталогов, без постоянного жилья и без денег. Но унывать было некогда, началась новая жизнь, а с ней возродился и интерес к монетам. Двое знакомых, согласившихся взять в Израиль мои монеты, привезли мне их. Невозможно описать, как эти несколько серебряных рублей согрели мне душу.

Через четыре месяца после приезда, с помощью старых друзей, я нашёл работу по специальности. Зарплата была невысокой, расходов было немало, но старое увлечение возродилось. Как и в глубоком детстве, я начал с монет, находящихся в обращении. О покупке более редких монет речь пока не шла.

Жил я в Иерусалиме, и кто-то из друзей привёл меня в Старый город. Вхожу в Яффские ворота и вижу слева антикварный магазин. Денег нет, но любопытство пересиливает. Вхожу в магазин, и трах: под стеклом лежит памятный серебряный рубль 1859 года, отчеканенный в честь открытия памятника Николаю I в Петербурге, - монета редкая и дорогая. Спрашиваю, сколько стоит. Грек, владелец магазина, говорит: «Пятьдесят долларов».

Мне не нужен каталог, мне не нужно звонить папе, мне абсолютно ясно, что цена мизерная, но денег-то нету. Сделаю умное лицо, из магазина я ухожу. Начинается история серебряного гроша, вторая серия.

Сегодня такую монету можно купить на интернетовском аукционе «eBay» за 1500 долларов. Сорок лет назад цены, конечно, были пониже, но 50 долларов и тогда были ничто.

Я продержался два месяца и снова пришёл в магазин. Монета на том же месте, да и цена не изменилась. Я снова ушёл.

Прошло ещё два месяца; терпеть я уже больше не мог и монету купил. Два года я ею наслаждался, а потом случилось несчастье.

Только начав работать, я начал играть на бирже. В экономике я ничего не понимал и не понимаю, никаких отчётов или рекомендаций я не читал, а играл на бирже, как в рулетку. И, надо сказать, преуспел. Из привезённых из России 100 долларов я за полгода сделал 200. И тогда ко мне началось паломничество. Иммигранты из СССР распоряжались деньгами крайне неумело. Живя в условиях сильной инфляции, они не находили ничего лучшего, чем купить доллары и держать дома на чёрный день. Самые смелые держали доллары в банке, на долларовом счету, и получали 3% годовых. А тут какой-то выскочка за полгода сделал 100%. Мне стали предлагать деньги, чтобы я ими играл на бирже. Условия диктовал я. И вот, что я придумал: я обязуюсь, что дающий мне деньги в любом случае ничего не теряет. Если же на его деньги удастся что-либо выиграть, я получаю 20% от выигрыша.

Некоторое внутренне чувство заставило меня быть осторожным, в результате я взял у людей только 10000 долларов, а мог бы взять гораздо больше. Мне казалось, что я играю солидно, покупая в основном банковские акции, которые давали небольшую прибыль, но зато их курс не падал. И вдруг оказалось, что банки искусственно вздули курс своих акций, и в один момент всё обвалилось.

Верный своим обещаниям, я оказался должным вернуть людям около 5000 долларов. Пришлось продать пианино и, конечно, все имевшие ценность монеты. Этого, разумеется, не хватило, и я ещё долгие месяцы с каждой зарплаты раздавал долги.

Кто-то рассказал мне, что на площади Давидка есть нумизматический магазин. Владелец магазина Эпштейн торговал монетами ещё со времён британского мандата. Монеты он знал хорошо, разговаривать с ним было одно удовольствие. Видя мой интерес, он выложил передо мной с десятков золотых пятирублёвых монет Николая II. Пожалуйста, на выбор по 35 долларов за штуку. Очень дёшево, но денег не было совсем. Думаю, приду потом. Года через два пришёл: ни магазина, ни Эпштейна. Сегодня такую монету дешевле, чем за 300 долларов, купить нельзя.

Через семь лет после моей репатриации ко мне приехал папа. Увы, без мамы, мама скоростижно умерла за месяц до получения визы.

С его приездом ситуация резко изменилась. Большую часть своей коллекции марок папе удалось переправить в Израиль. Коллекция была большая, с большим количеством редких экземпляров. Было ясно, что продолжать собирать коллекцию должен я. Монеты стали пасынком. Мне не удалось заинтересовать своих детей коллекционированием. Ни марки, ни монеты их не волнуют. Может, успею увлечь кого-нибудь из внуков...

Раскинулось поле по модулю 5

В 1970 г. распределение на механико-математическом факультете МГУ проходило в три этапа: два обычных, а третий - распределение евреев. Не всех, конечно, - тех, у которых не было «отцовского лифта», а таких было человек 75. Кроме них, были ещё человек 5, не относящихся к данной этнической группе, которые проспали или прогуляли два первых этапа.

Год был тяжёлый; в принципе, никто из целевых организаций брать евреев не хотел. Я помню, как НИИАА (Институт автоматики и ещё чего-то) прислал на мехмат заявку на 18 выпускников. Туда тут же примчались 25 человек, из которых только две девочки не были «инвалидами пятой группы». В конце концов, институт прислал окончательную заявку только на них. Потом оказалось, что у этих девочек есть и другие заявки, и они выбрали что-то другое, но институт своей первоначальной заявки не изменил.

Перед третьим распределением произошло чудо: было принято решение, что организации, не являющиеся целевыми, тоже могут подавать заявки на выпускников мехмата.

Я стою в коридоре, никаких заявок на меня нет, студент я довольно средний, так что об аспирантуре речь вообще никогда не шла; настроение, прямо говоря, пессимистическое. Вдруг один из сотрудников нашей кафедры подводит ко мне какого-то человека, по виду еврея, который начинает уговаривать меня идти в их институт, обещая библиотечный день, защиту диссертации в течении трёх лет и ещё какую-то сладкую белиберду. Я смотрю ему в глаза и задаю непростой вопрос:

- Скажите, а ваш отдел кадров вполне уполномочил вас делать мне такие предложения?

Наступает небольшая пауза, он тоже смотрит мне в глаза, а потом говорит:

- Вполне.

Так я оказался в институте "Оргэнергострой". Вместе со мной туда же в том году пришли Саша Карнаух и Саша Питт, да будет благословенна его память.

Начальником отдела, в котором мы все работали, был человек по имени Олег Меерович Дукарский, русский по паспорту. В марте следующего года он зовёт меня в кабинет, выгоняет секретаршу и говорит:

- Слушай, Нудлер, я вижу: ты человек общительный, друзей у тебя много; поезжай на мехмат, привези мне несколько выпускников.

Я ему говорю:

- Олег Меерович, знаете ли вы, что ждёт выпускника мехмата?

Он говорит:

- Что?

Я говорю:

- Одно из двух: либо он пойдёт по линии академической, научным руководителем у него будет академик или, минимум, член-корр, через три года кандидатская, ещё через пять докторская. Либо он пойдёт в «ящик», - погоны, зарплата для начала в два раза выше, чем у вас, тринадцатая зарплата, и т.д. и т.п.

Он говорит:

- Что же, значит, ко мне никто не придёт?

Я ему говорю:

- Я этого не сказал.

Он говорит:

- Нудлер, ты что, издеваешься надо мной? Что ты хочешь этим сказать?

Я ему говорю:

- А евреев вы готовы брать?

Он аж побелел, а потом говорит:

- Дай мне подумать.

Через неделю опять вызывает меня, опять выгнал секретаршу, закрыл за ней дверь, и кладёт передо мной официальную заявку, подписанную отделом кадров Министерства энергетики и электрификации СССР на 8 выпускников мехмата МГУ. При этом добавляет:

- Ну, привези мне хотя бы одного русского.

Я на дыбы:

- Да где же я его возьму?!

Он:

- Ну, оплати ему такси.

Я ни в какую. Он:

- Ну, наври ему чего-нибудь.

Мне сразу пришло в голову, что я навру кому-нибудь из иногородних, что в нашем институте могут дать московскую прописку, - и я согласился.

Приехав на мехмат, я общался только с евреями. Подводят ко мне белокурого мальчика по имени Юлий Кошевник, красный диплом, ни одной заявки, в глазах слёзы, губы дрожат. С трудом выговаривает:

- А вы берёте?

Я ему говорю:

- Берём!

Среди восьми избранных была и Оленька Кардаш. Одному иногороднему я, как и собирался, наврал про прописку, и он так загорелся, что уже сам хотел заплатить за такси за всех.

Короче, привёз я всех в институт и повёл их на приём к начальнику отдела кадров Павлу Степановичу Антощенко, антисемиту до мозга костей. Первым пустил, конечно, иногороднего, а всех остальных выстроил в порядке возрастания признаков принадлежности к еврейству, именных и внешних. Последней поставил девочку по имени Хана Ехильевна Элькинд-Фрид.

Через пять минут после начала интервью с иногородним разъярённый Антощенко вылетел в коридор.

- Где этот дурак, что сказал ему про прописку?!

Я скромно сидел в сторонке, ничем не выдавая, что я с этим дураком знаком.

После каждого следующего кандидата Антощенко всё больше сникал, но он ничего не мог сделать, - отдел кадров министерства уже дал своё добро.

Я ездил на мехмат в качестве представителя института четыре года подряд и привёз в отдел 15 человек; как нетрудно догадаться, все были мазаны одним миром.

А кончина у ПСА (Пал Степаныча Антощенко), как его называли в институте, выдалась самая что ни на есть неприглядная: муж его любовницы, не в срок вернувшийся домой, попросту выбросил его с балкона третьего этажа, и в институте появился его портрет в траурной рамке со словами «Дорогой и любимый».

Текоа – поселение в Иудейской пустыне

История Текоа ведётся с древних времён. Здесь в VIII веке до н.э. жил пророк Амос. Это был период, когда в Земле Обетованной, куда евреи пришли после сорокалетнего скитания по пустыне, было два еврейских государства: Израиль со столицей в Самарии (впоследствии Себаста, неподалёку от нынешнего Шхема) и Иудея со столицей в Иерусалиме. Израиль, в котором в тот период правил царь Иеровоам II, был государством, не чужающимся идолопоклонства. Не говоря уже о том, что мораль в государстве была в полном упадке: роскошь правящих элит, беззаконие, несправедливый суд, нищета и бесправие народа.

Пророк Амос беспощадно обличал пороки тогдашнего общества и предрекал ему неминуемую гибель. Так оно и случилось: ассирийский царь Саргон взял Самарию в 721 г. до н.э. и увёл в плен десятки тысяч евреев, которые уже никогда больше не вернулись обратно, бесследно растворившись среди народов Месопотамии.

Современные евреи – это потомки тех, кто жил тогда в Иудее. И они, как известно, пережили катастрофу: в 586 г. до н.э. Первый Храм, находившийся в Иерусалиме, был разрушен вавилонским царём Навуходоносором. И снова десятки тысяч евреев были уведены в плен. Однако, тут сбылось и другое пророчество Амоса, который предсказал, что евреи вернутся, отстроят города, насадят виноградники, будут пить своё вино и больше никогда не покинут свою землю.

Через 70 лет после вавилонского пленения евреев Вавилон пал, побеждённый Персией. Персидский царь Кир разрешил евреям вернуться. Под руководством Эзры и Нехемьи часть евреев вернулась и отстроила Храм.

Во времена Второго Храма Текоа прославилось тем, что поставляло масло для храмовой меноры. В эпоху римского владычества царь Ирод Великий, узурпировавший власть, получив её из рук римских императоров, построил неподалёку от Текоа роскошный дворец, сделав его своей резиденцией.

Почти 600 лет простоял Второй Храм, но в 70 г. н.э. и он был разрушен римским императором Титом. На этот раз в качестве рабов были вывезены в Рим более миллиона евреев. Почти две тысячи лет мы были в изгнании, но вот мы снова здесь, чтобы выполнить завет: «И насажу Я их на земле их, и не будут они больше вырваны из земли своей, которую Я дал им, - сказал Господь, твой Бог». (Амос 9:15).

История современного Текоа начинается в 1977 г., когда армия передала один из своих лагерей в распоряжение гражданских властей. Первыми поселенцами были репатрианты из Советского Союза. Это была небольшая группа из пяти-шести семей и ещё четырёх-пяти одиночек. Почти никого не осталось сегодня в Текоа из этой группы.

Первые поселенцы были полны энтузиазма, однако отсутствие опыта жизни в коллективе, неумение идти на уступки и неуёмное желание всё сделать по-своему привели к тому, что все перессорились, и значительная часть первой группы оставила поселение и вернулась в город. Существование поселения оказалось под угрозой. И тогда Сохнут направил в Текоа группу молодых американских евреев, которые незадолго до этого репатрировались в Израиль. Многие члены этой группы были знакомы между собой, они и явились тем фундаментом, на котором Текоа выросло и укрепилось. Произошло это накануне праздника Суккот 1979 года.

Почти все члены этой группы живут в Текоа и по сей день, окружённые детьми и внуками. Бесспорным руководителем этой группы был 27-летний Бобби Браун из Нью-Йорка, он и стал первым председателем административного совета Текоа.

Интересна связь членов этой группы с борьбой советских евреев за право репатриации в Израиль. Многие из них, будучи в Америке, участвовали в демонстрациях в поддержку советских евреев, а некоторые даже принимали активное участие в акциях против Большого театра и «Аэрофлота». Часть из них входила в группу р. Меира Кахане.

С Бобби Брауном связано и принятие нашей семьи в Текоа. Дело в том, что Бобби – филателист, причём весьма серьёзный. Когда мы с женой искали поселение, где хотели бы поселиться, мы попали и в Текоа, там у нас были друзья. Мы заполнили все полагающиеся в таких случаях анкеты, и были приглашены на субботу, в рамках которой должны были участвовать в трапезах в трёх разных семьях. После этого люди, у которых мы обедали, должны были сообщить своё мнение о нас приёмной комиссии.

Заполняя анкету, я в графе «хобби» написал «филателия». Кто-то из приёмной комиссии сообщил об этом Бобби. Он немедленно потребовал, чтобы на обед в субботу мы были приглашены именно к нему.

Через 10 минут после знакомства мы оставили наших жён обсуждать проблемы детских болезней, а сами углубились в

обсуждение проблем гораздо более важных, как-то: определение подлинности редких марок, надёжность израильских аукционеров, покупка альбомных листов и каталогов, участие в филателистических выставках, и т.д., и т.п. Как только мы ушли, Бобби обежал всех членов приёмной комиссии и потребовал нашего немедленного принятия в члены поселения. Впоследствии мы с Бобби в течение четырёх лет вели в Текоа филателистический кружок для детей.

Переезд в поселение был для нашей семьи идеологическим только наполовину. Я-то свои взгляды сформировал ещё в России. Мне было абсолютно ясно, что следует бороться за каждый кусочек еврейской земли, а все разговоры о мире с арабами, который достигается с помощью территориальных и прочих уступок, - не более, чем химеры, не имеющие права на существование. Поэтому моё сердце всегда было с поселенцами, а действовать я привык по принципу, высказанному рабби Гилелем в трактате «Авот»: «Если не я для себя, то кто же? И если не сейчас, то когда?».

Но моя жена... Она приехала из Парижа, где леволиберальная пропаганда успела основательно промыть ей мозги. В силу этого ей казалось, что поселенцы – это экстремисты, а потому ей с ними не по дороге. Все мои убеждения ни к чему не приводили. Но, вот у нас родилась дочка, а через некоторое время вторая. Мы жили в Иерусалиме, в новостройке. Заталкивать две коляски по узким лестничным пролётам на четвёртый этаж оказалось делом сложным, а переезд хотя бы этажом ниже стоил больших денег, которых у нас не было. А в поселении за деньги, вырученные от продажи квартиры в Иерусалиме, можно было купить дом; небольшой, конечно, но проблема с колясками устранялась сама собой.

В конце концов, жена сдалась, и мы оказались в Текоа. Было это в декабре 1985 года.

Поначалу всё шло хорошо. Отношения с арабскими соседями были вполне дружескими. Рейсовый автобус, соединявший нас с Иерусалимом, шёл через арабские деревни, а потом через Бейт-Лехем (Вифлеем), населённый исключительно арабами. Многие жители Текоа закупали овощи и фрукты в Бейт-Лехеме, некоторые чинили там машины, у некоторых среди арабов были друзья. Вся эта идиллия продолжалась до декабря 1987 года, когда началась первая интифада – цепь спровоцированных арабами террористических актов, направленных не только против жителей поселений, но и против всех евреев Израиля вообще.

...Наша старшая дочь Сима пошла в местный детский сад. Там было весело и приятно, воспитательницы в Текоа, да и вообще в Израиле, очень заботятся о детях, дети окружены любовью и вниманием, они очень быстро развиваются и быстро становятся самостоятельными. Иногда это, правда, приводит к тому, что излишняя самостоятельность перерастает в самоуверенность и даже в нахальство, но, как говорится, «нет худа без добра».

Вспоминается один смешной случай. Трёхлетняя Сима, вернувшись из садика, заявила мне:

- Я сегодня сказала Ави (соседский мальчик) - «хазир».

(Чтобы не оскорблять вашего слуха непристойным словом, переведём это как «поросёнок»).

Я, конечно, возмутился, долго ей что-то объяснял, а закончил тираду словами:

- Это слово произносить нельзя!

Сима – девочка покладистая, спорить не стала.

Месяца через два после этого мы поехали в Париж навещать родителей жены. В один из дней жена повела нас в Булонский лес, а там, помимо всяких прочих детских развлечений, на каждом холмике вольеры каких-нибудь домашних животных. И вот мы подходим к одному из таких холмиков, на котором стоит маленькая и очень живописная избушка. И вдруг из неё выходит такая розовенькая хрюшка, а за ней целый выводок поросят. Сима, которая никогда в своей жизни не видела свиньи, спрашивает меня:

- Папа, кто это?

Я, естественно, на иврите говорю ей:

- Это хазир.

На что Сима мне в ответ с укоризной:

- Папа, это слово произносить нельзя!

О рассказах Иосифа Альбертона

Есть жанр в литературе, который собирает симпатии всех читателей: это «записки врача». И нет такого литератора, который, будучи медиком по профессии, не воспользовался бы своими наблюдениями профессионального врача, своей близостью к «чистилищу человеческих страданий». В начале XX века в России была даже широко известна шутка: наши мединституты выпускают большое число писателей.

И правда же: В.В. Вересаев, М.А. Булгаков, А.П. Чехов, В.И. Даль, В.П. Аksenov, Г.И. Горин... – их выдающиеся произведения, основанные на личном врачебном опыте, обогатили мировую литературу.

Короткие рассказы израильского хирурга Иосифа Альбертона достойно и талантливо продолжают эту традицию. По сути дела, это зарисовки, но острый глаз доктора Альбертона хирургически точно отделяет характерные черты каждого персонажа, каждой ситуации, смысла каждой «истории» так, что в двух-трех абзацах возводит их в ранг судьбы.

Это хорошая проза, обходящаяся только самым необходимым, и потому она кратка: ни описаний красот природы, ни пространных рассуждений о человеческих достоинствах или недостатках. В двух-трех словах перед нашими глазами предстает человек, – всегда весомо, всегда трудно и правдиво.

Не забывается...

Дина Рубина

Дом исцеления

(рассказы из цикла «Дайте мне руку...»)

Мой дом

Как сказал Киплинг, «страна – это её запахи». Первый запах в Израиле: запах прелых плодов из апельсиновых рощ в деревушке Эйн Веред, наутро после приезда. Потом приехали мы в Иерусалим, в период заклеенных для защиты от «скадов» окон, и стали искать квартиру на съём. Всё было не то...

И вот, приводит нас маклер в хороший район, рядом с госпиталем, о котором я уже размечтался; подводит к двери квартиры и говорит: «Вы сами её посмотрите, а я на улице подожду». Зажал нос, открыл дверь и убежал на улицу. Из квартиры под жужжанье мух потянула убойная вонища, но я всё же в эту зону вошел. Квартира четырёхкомнатная, балкон-садик, вид красивый на три стороны, полностью нам подходит. Но вот весь пол в ней, по всей площади – в дерьме чуть не по щиколотку.

Оказалось, что в квартире уже несколько месяцев забит канализационный стояк. И сказал я маклеру: зови сантехника, и да откроет он мне подвальное помещение. И пришёл сантехник, и открыл мне доступ к стояку, и оставил мне инструментарий, и смылся прочь от вони и от очей моих. И купил я в ближайшем «супере» моющие средства, и разобрал стояк, и прочищал его, и мыл-драил будущий дом свой до полуночи и до полного блеска. И въехали мы в эту пустую квартиру, и собирали мебель по мусоркам и свалкам, и освещал квартиру кружевной абажур, в кустах найденный...

А потом сказал мне Боря Песок, анестезиолог, из старых семидесятников: перед каждым вновь прибывшим стоит ведро дерьма, и от самого вновь прибывшего зависит, будет ли он всю свою жизнь на исторической родине черпать из этого ведра в день по ложке, или прикончит это ведро сразу залпом. «Ты, - говорит, - это ведро, похоже, прикончил».

А жена моя – филолог и патентовед, поэтому на работу её взяли сразу в Министерство высшего образования. Уборщицей-поломойкой. И первый заработок в дом принесла дочка подросткового возраста, тоже споломойства, - а откуда ж

ещё? А я, имея опыт микрохирургии, бесплатно делал показательные операции в госпитале своей мечты. Отрезал и пришивал хвосты крысам в виварии.

Через полгода я начал работать хирургом в том самом госпитале, а жена – воспитательницей. И жизнь этой страны стала нашей, со всеми её кровью, потом, слезами и радостями. Да, радостями, которых было намного больше.

С тех пор прошло много лет, и если мы изредка вспоминаем о первых шагах в Израиле, то только со смехом. И вспоминаем первый дурманящий запах апельсиновых рощ... Вот только когда слышу или читаю что-то вроде: «Ну что ж, мы тут порепатририруемся немножко, да и назад», или: «Я бы не хотел абсорбироваться в малокультурном Израиле» (абсорбироваться!), или: «Израиль я рассматриваю только как запасной аэродром», или: «Знаете ли, в нынешней ситуации паспорт израильский не помешает», –откуда-то начинает тянуть тем самым, от чего чистил ту первую квартиру. И тогда слегка поташнивает.

Люди с красными носами

Им разрешается сопровождать детей в операционную, и иногда дети предпочитают быть с клоунами, а не с родителями. Дети к ним привыкают, да и они к детям тоже. Как-то бежал по задней, непарадной лестнице – сидят они кучкой на ступеньках у детского отделения, рыдают в голос, краска по лицам размазана. Даже не стал спрашивать, что случилось, и так понятно. А заработки у них... Они подрабатывают, где могут – на днях рождений, на бар-мицвах, на городских гуляньях; но основная работа у них здесь, в госпитале. В отделениях развешены их фотографии с номерами телефонов и с предложениями вызывать их в любое время суток. Приезжают они безотказно.

Смешная девчонка

Ей двадцать два. Родители моего возраста, она у них единственная, приёмная. Мать, как только у дочери диагностировали рак, стала религиозной. Отец каждый день приносит ей какой-нибудь цветочек, каждый день другой. Она всё время

шутит и смеётся, когда не рисует и не рукодельничает. Вокруг постоянно подружки-хохотушки. Медсёстры выходят из палаты со смехом сквозь слёзы.

Пару лет назад, при первой встрече:

– У тебя рак, и тебе с ним надо будет бороться.

– Нет, доктор, это у рака есть я, и это ему со мной надо будет бороться.

Три операции, облучение. Короткий ёжик после химии. Глазищи серые, ресницы длиннющие, сеют ветер. Похожа на молоденькую Шинейд О'Коннор, только намного красивее. И улыбка, которая заставляет улыбаться всех вокруг.

Вхожу в лифт – там она в стайке друзей-подружек. Как всегда - визжат, хохочут, целуются. Стайка вылетела из лифта, и стало тихо. Разговариваю по мобильному. Стоит напротив, губу прикусывает, глаза переводит с табло лифта на меня и обратно. Понял, что хочет что-то спросить, отключил айфон. Кивнул ей – говори.

– Я буду жить?

Гений

Он один из признанных интеллектуалов современности. Он написал массу книг. Перевёл Талмуд на иврит. Его среда общения – Далай-лама, Хокинг, Киссинджер, Велихов, Папы Римские и иже с ними. Они часто собираются на интеллектуальные тусовки по всему миру, чтобы обсудить какие-то сверхпроблемы приватного порядка. Его близкий друг и родственник – Айзек Азимов. Этот человек читал всё и знает всё. ВСЁ. И понимает, и чувствует ВСЁ. Он работает 19-20 часов в сутки.

Пришёл посмотреть его поздно вечером. Слышу хихиканье за занавеской. Постоял, поколебался, приоткрыл занавеску. Лежит этот божок, похожий на божков из книг Жана Эффеля, и аж сучит ногами от удовольствия. В руках у него киплинговская "Книга джунглей". На тумбочке стопкой Танах, томик Стейнбека, брошюра по математике, биография Сталина и свежие газеты. Спрашиваю:

– Как самочувствие?

– Да что там моё самочувствие – всё нормально. Слава Богу.

Махнул рукой, мол, пустяки все это. И продолжил:

– Знаете, доктор, я страшно люблю детские книжки. Книги для взрослых, даже самые умные, могут быть скучными. Хорошие детские книжки скучными быть не могут. Их просто никто не будет читать. Вообще я думаю, что всю жизнь перед сном надо читать хорошие детские книжки.

Адин Эвен Исразель (рав Штайнзальц). Несколько его цитат: «Исход из Египта совершился благодаря великой отваге, граничившей с безрассудством, — встать и уйти, а там будь что будет».

«Более тяжёлая стадия рабства наступает тогда, когда раб забывает о том, что он раб».

«Один из основных посылов Пасхального Вечера (Седер Песах) - "И расскажи сыну своему"».

«Человечество по сути не меняется. Люди, поколение за поколением, совершают одни и те же ошибки, натываются головой на одну и ту же стену. Мы, евреи, правда, пошли чуть дальше. Мы этот процесс материализовали. У нас для этого есть специальная Стена».

Дайте мне руку

Симпатичная, ухоженная женщина 73 лет. Уже которое утро подряд на обходе в отделении она спрашивает меня:

– Скажите, где моя мама?

Когда боли после операции усиливаются, она плачет:

– Хочу к маме.

Плачет, когда родственников нет рядом, хотя не помнит, как их зовут.

Это болезнь Альцгеймера (Alzheimer disease). Терри Пратчетт как-то сказал, что у больного с Альцгеймером как бы две болезни – сама болезнь, и сознание того, что у него Альцгеймер.

Недавно увидел в сети эту «Поэму об Альцгеймере» Оуэна Дарнелла:

"Не просите меня что-то запомнить,

Не пытайтесь заставить что-то понять,

Дайте мне успокоиться и почувствовать, что вы рядом.

Поцелуйте меня в щеку и подержите меня за руку.

Вам не понять моей растерянности.

Мне горько, и больно, и я потеряла себя.

Я знаю только одно – я хочу, чтобы вы были рядом,

Чтобы были терпимы ко мне.

Не ворчите, не ругайте, не кричите на меня.

*Я не могу стать лучше,
Не могу по-другому, как ни пытаюсь,
Просто помните, что я в вас нуждаюсь.
Я потеряла все лучшее, что было у меня наяву.
Не лишайте меня вашей поддержки,
И любите меня, пока я живу".*

Таксист

Водитель такси, тридцати восьми лет, пришёл показаться через две недели после операции. Пару лет назад он отдал почку своему больному племяннику. Участвовал в трёх войнах, дважды был ранен. Каждую неделю набирает группу детей-инвалидов и бесплатно катает их по Иерусалиму. Пояс у него какой-то, не то по каратэ, не то по дзюдо.

- Когда мне можно на работу?
 - Ещё неделю отдохни, не спеши.
 - Ладно, буду дома сидеть, рисовать.
 - Ты рисуешь?
 - Да так, балуюсь. А на курсы мне можно ходить? Там занятия по три часа в день.
 - А что за курсы?
 - Курсы для добровольцев по работе с неблагополучными подростками.
 - Можно.
- Распрощались. Казалось бы, чему может научить неблагополучных подростков простой шофер такси?

Хирург Джеймс Барри

Военный врач-хирург Джеймс Барри (James Barry, 1789-1865) был инспектором медицинской службы британской армии. Всю жизнь он провёл в разъездах по колониям её королевского величества – Маврикий и Южная Африка, Канада и Индия, Мальта и Остров Святой Елены. Везде, где шли боевые действия или свирепствовали эпидемии, Барри был активным участником организации врачебной помощи британским солдатам и местным жителям. Джеймс Барри постоянно был на слуху в связи с его бурной врачебной деятельностью, но и не только: с именем Барри были связаны скандальные пистолетные дуэли, странные связи, нарушения ар-

мейских уставов и самоуправство на местах. В общем, личность была незаурядная и яркая. Помер Джеймс Барри в Лондоне, в возрасте 65 лет, от дизентерии.

Помер он, значит, и, согласно законам Британской империи, тело его было передано коронеру для составления заключения о смерти. И тут-то выяснилось, что военврач Джеймс Барри был совершенно и абсолютно женщиной.

Урок

Звонит стажёрка:

– Мне нужна твоя помощь. Я принимаю в отделение больного с раком желудка. Он здесь с родственниками, и я должна им всем об этом сообщить, а я не знаю как. У меня нет опыта.

Пошёл, помог. А вот это письмо я храню много лет. Человек, написав его, прожил ещё три-четыре месяца. Перевод с английского.

«Ноябрь 16, 1991.

Дорогой доктор Альбертон,

Во-первых, я благодарю Вас за помощь, оказанную мне на прошлой неделе в отделении экстренной медицины. Я очень ценю ваш профессионализм, и то, как поздно ночью Вы уделили мне так много внимания и были так настойчивы в проведении исследований, чтобы установить правильный диагноз. Это всё не само собой разумеется, и, возможно, окажись я в других руках, всё это заняло бы дни или недели. Я очень Вам за это благодарен.

Тем не менее, считаю необходимым обратить Ваше внимание на важную, на мой взгляд, деталь. Вы ещё молодой врач, и я думаю, что вам это будет полезно. О том, что у меня рак желудка с метастазами в печень, и оперировать меня уже поздно, Вы сообщили моему сыну, который меня сопровождал. А после этого Вы сказали мне, что операция мне не нужна, и что меня будут лечить другие врачи. И это всё.

Мой сын молодой и крепкий парень, но я представил себе, что на его месте в ту ночь могла быть моя жена, у которой очень больное сердце. Как это известие подействовало бы на неё?

Я убеждён, что Я И ТОЛЬКО Я имею полное право первым знать всё, что происходит в моём собственном теле. Знать правду. Я знаю, что Вы учились в стране, где многие вещи

были скрыты от людей, и это было нормой. Мне кажется, что это неправильно. Больной должен знать правду, а врач обязан знать, какими словами, когда и в чьём присутствии сообщить ему эту правду.

Ещё раз выражаю Вам глубокую признательность за всё, что вы для меня сделали, и желаю Вам всего наилучшего.

Искренне ваш – Р. С.»

Арик

Мы с ним давно не виделись, а тут встретились на конференции хирургов.

– Привет, - говорю, - как дела?

– Полный порядок. Как у тебя?

– Нормально. Как семья, дети?

Смеётся, показывает фото детей:

– Вот, сын Арик уже армию отслужил. Дочки-двойняшки закончили школу.

– Что ты говоришь?! Летит время. Красивые какие. А сын просто богатырь!

...Теперь он зрелый специалист, а случилось так, что в первый день его работы хирургом террорист взорвал автобус в центре страны. Он вместе со всеми помчался в приёмное - да-да, «все побежали, и он побежал». Тут же начали поступать раненые, много раненых. Вокруг крики, суета. Главный хирург распределял бригады, и отправил его к каталке с мальчишкой, которого уже собирались везти в операционную. Кто-то тронул его за плечо:

– Вены у пацана тонкие, спавшиеся. Надо открыть вену на стопе. Умеешь?

– Умею.

– Вперёд.

Медсестра уже надрезала джинсы, снимает ботинок. На липучке ботинка белой краской выведено «Арик». Медсестра торопит:

– Доктор, ну?! Быстрее, он же кровит, у него давление падает!

Нога белая, как простыня. Слева от пупка рваная рана, справа - три родинки в ряд. Маленькая, чуть побольше, и ещё побольше. Сын, Арик.

Эйн Харод

Надо съездить, потому что музею кибуца Эйн Харод 80 лет, а это один из лучших израильских музеев. Надо ещё и потому, что в 1921 году моя двоюродная бабка Йона Альбертон, тогда девчушка восемнадцати лет, поднялась и удрала от советской власти в Палестину. Вышла там замуж за парня по фамилии Хермони, и в 1923 году они со товарищи начали поднимать кибуц Эйн Харод.

Через год к ним присоединилась ещё пара моих двоюродных дедов-бабок, и стали они вместе крестьянствовать: осушали болота, ворочали камни, сеяли-пахали, растили сады, оживляя мёртвую землю. Непрерывно воевали с арабами, теряли близких и друзей в боях и в малярийной лихорадке, рожали детей и продолжали строить Эйн Харод среди гор Гильбоа. Сегодня это одно из самых красивых и популярных мест в Израиле.

Почти тридцать лет назад, в сентябре 1989-го, мы, наконец, приехали в Эйн Харод. Встречали нас двоюродные братья отца – Авшалом и Илан Альбертон, коренные эйнхародцы, но встречали каждый на своей территории, потому что в 1952 году кибуц раскололся надвое – на Меухад и Эхуд.

Эйнхародцам войн, малярии и тяжелого труда было мало, и они, включая моих дядьев, от избытка сил и энергии ещё и разрешали внутрикибуцные идеологические противоречия. Поделили всё – землю, скот, мастерские, кибуцную кассу и даже семьи... И только музей искусств решили не делить, оставить общим. Так он и стоит на пригорке между двумя Эйн Хародами уже 80 лет, напоминая о том, что совсем разделиться на этой земле невозможно.

Яффа

Для меня бело-голубой флажок Израиля это еще и моя тетка Яффа. И глаза у нее были голубые. Яффа ушла от нас, как только стукнуло ей сто два года. Ей было всего восемнадцать, когда она, старшая дочь в семье, поднялась и уехала в Палестину. Одна, пробираясь через турецкие, греческие, британские кордоны. Тогда, в начале тридцатых годов, в Палестине были пески, болота, камни, малярия, голод и британская администрация. Через несколько лет в Палестину

уехал средний брат. Мой отец в это время учился на врача и в семье мечтали, что уже вот-вот, и станет он доктором в Иерусалиме, семья объединится, и заживут они...

Летом сорокового года в восточную Бессарабию пришел отец народов Сталин и решил иначе. Мой отец с остатками семьи оказался в лагерном поселке Компанейск под Карагандой. Там и начал врачевать. Дед мой и бабка ни дочь Яффу, ни старшего сына Йоханана так больше никогда и не увидели.

К нашему приезду в Израиль Яффа и её друзья уже осушили болота, разобрали камни, разбили сады и апельсиновые рощи от моря до Тулькарема, вырастили детей и внуков, при этом воюя без конца. И строили маленькую страну для этих детей и внуков. Яффа работала в поле, потом воспитывала детишек в деревенском детсаду, потом помогала старикам в доме престарелых. А как эта простая крестьянка знала литературу, историю, музыку... Очень любила детей и стариков, а тем, кто между этими возрастными группами, спуска не давала.

Яффа никогда ничего не боялась. Всегда говорила правду в глаза. На фото она стоит руки в боки перед президентом Навоном в его доме. Чего уж там она ему выговаривала, не знаю. Тетка терпеть не могла политиков, но это мы все такие, "любовь" к политикам у нас семейное качество. И вот смотрю я на наших нынешних, суетливо танцующих перед камерами, нагло врущих, продающих и покупающих себя и других, болтающих всякую херню и рвущихся "управлять страной». Ни один из них не дотянется до подола юбки синеглазой моей тетки Яффы. Ни один.

Вернуться в Люблин

Красная спортивная машина Дарека буквально наматывала километры на широкие шины. Мы мчались из Варшавы в Люблин. Владислав Соколовский на заднем сидении пересматривал бумаги, проверяя места и сроки назначенных встреч, а я, после двух выступлений с перерывом в несколько часов, рассеянно следил за дорогой.

Мысли мои витали в далеком прошлом. Замыкался некий временной круг, линии судьбы, доселе свободно витавшие в пространстве, вплетались в новый узор.

Моя прабабушка Рыся приехала в Одессу из Люблина в начале двадцатого века. Как, почему, зачем – уже никто не помнит. Она родила шестерых детей; три сына ушли на фронт и не вернулись. Впрочем, этого она не успела увидеть: Рыся погибла в самом начале августа 1941 года, возвращаясь с призывного пункта, после прощания с младшим сыном. Это была первая бомбежка Одессы фашистской авиацией.

Никто из нашей семьи никогда не бывал в Люблине. Я первым возвращался в этот город после столетнего перерыва. Не то, чтобы эти мысли повергали меня в трепет, но некоторое волнение ощущалось. Видимо, оно всё-таки проступило на моем лице, потому что Дарек, не отрывая глаз от дороги, осторожно спросил:

- Что-нибудь не так?
- Всё так.

Солнце еще играло в окнах верхних этажей величественного здания бывшей ешивы «Хохмей Люблин», «Мудрецов Люблина», когда красная спортивная машина остановилась на большой стоянке перед входом. Я с трепетом рассматривал колонны, желтый фронтон, надписи на иврите и польском. В еврейской истории это место осталось под названием «фабрика раввинов».

В 1931 году ребе Меир Шапиро, один из величайших еврейских мудрецов предвоенного поколения, бывший тогда главным раввином Люблина, торжественно открыл ешиву для избранных. Попасть в нее было очень трудно: на вступительных экзаменах от абитуриента требовалась доскональное

знание не менее ста листов Талмуда. Как тогда говорили: «под иголку». Экзаменатор протыкал иголкой лист в каком-то месте, а абитуриент, не переворачивая его, должен был рассказать, что написано в этом месте на обратной стороне.

Учились в ешиве одновременно около пятисот студентов. К сожалению, Вторая мировая война оборвала ее существование, но за эти несколько лет в ней выросли тысячи знатоков Учения, многие из которых стали раввинами. Мне доводилось встречаться с выпускниками «Хохмей Люблин», духовными руководителями нашего поколения, и я хорошо помню их восторженные воспоминания о времени, проведенном в стенах ешивы. Правда, молодость всегда вспоминается с теплом и радостью...

На первых этажах шестизэтажного здания располагались учебные классы и синагога, остальные были отданы под жилые комнаты для студентов. Многие из них неделями не выходили наружу, всё своё время отдавая учёбе и молитве.

Сегодня ешива «Хохмей Люблин» под тем же названием продолжает свою работу на Святой Земле, в городе Бней-Браке. Руководит ею один из учеников ребе Меира Шапиро. А в Люблине, в бывшем здании ешивы, находится роскошная гостиница «Бар-Илан». Молитвенный зал и несколько аудиторий превращены в музей; класс в подвальном помещении служит для небольших приемов.

Владислав заказал номера именно в этой гостинице, а встреча с профессурой Люблинского католического университета планировалась в том самом подвальном классе. В самом фантастическом сне мне не могло пригрезиться, что я буду выступать в этих стенах и тем самым окажусь приписанным к сонму мудрецов Люблина. Пусть не так, пусть в другом качестве, но всё-таки приписанным.

Восторг, благоговение и радость наполнили меня до самой макушки. Я стоял, не в силах двинуться с места, наблюдая, как гаснет день, и сиреневые сумерки опускаются на здание ешивы.

Атмосфера начала встречи ощущалась слегка напряженной. В воздухе витало: обеим сторонам есть, что сказать друг другу. Надо было как-то разрядить обстановку. И я вспомнил совет Талмуда¹: даже самую серьезную проповедь начинать с шутки.

¹ Тракта́т «Шабат», лист 30, страница вторая.

– Я хочу предложить «лехаим», – сказал я, берясь за стакан с минеральной водой. – Тост «за жизнь».

Ну, кто же может отказаться от такого предложения?! Все дружно наполнили стаканы, кто колой, кто содой, кто кофе.

– Пospорили двое, – начал я. – Один говорит: настоящего хасида можно определить по тому, как он готовится ко сну. Вот я, например, долго и вдумчиво читаю молитву, затем приготавливаю себе пробуждение: то есть ставлю рядом с постелью кружку с водой и тазик, а на столик бутылку с водкой. Проснуться, омыть руки, сказать молитву, принять 50 грамм и начать день с правой ноги.

Отвечает ему второй:

– Тоже мне хасид! Возле твоей постели стоит бутылка водки, а ты идешь спать?!

Атмосфера разрядилась. И сразу возник серьезный вопрос. Руку подняла красивая женщина, с резко очерченными чертами лица. Разумеется, блондинка. И, ясное дело, профессор.

– Давайте отодвинем в сторону мелкие вопросы и поговорим о главном, – решительно произнесла она. – Как вы видите смысл жизни человека и его место в мире? Не потерялось ли значение отдельной человеческой судьбы в фоновом шуме цивилизации?

– Писатели не отвечают на вопросы, – сказал я. – Писатели рассказывают истории. Позвольте мне остаться в рамках выбранного амплуа.

– Но кто же собирается вам мешать? – парировала оппонентка.

– Известный в Нью-Йорке журналист несколько месяцев пытался проинтервьюировать знаменитого композитора, – начал я. – Композитор был совсем немолод и очень занят, поэтому переговоры о встрече затянулись надолго. Но, в конечном итоге, договорились. Накануне встречи композитор неожиданно позвонил журналисту.

– Прошу прощения, но наша встреча, похоже, срывается. Именно в это время из Лондона будут транслировать по радио симфонию молодого композитора, получившую первое место в престижном конкурсе. Я хотел полететь, да сил нет. Но хоть послушаю.

– А можно мне послушать эту симфонию вместе с вами? – спросил журналист.

– Пожалуйста. Только при одном условии: не мешать мне расспросами. Современная музыка – вещь не простая, вы,

несомненно, многое не поймете, начнете интересоваться и развалите мне всё удовольствие.

В оговоренное время журналист сидел на диване рядом с композитором. Тот оказался приятным, улыбчивым человеком, совсем не таким суровым, как казался во время разговоров по телефону.

Перед началом исполнения симфонии, диктор торжественно назвал имя известного дирижера, объяснил, что в составе оркестре почти сто пятьдесят музыкантов, из них пятнадцать скрипачей. И поплыла, покатила, застонала и заплакала странная для слуха музыка, совсем не похожая на симфонии классических авторов.

Теперь журналист понял условие композитора: ему действительно хотелось задать несколько вопросов о том, что означают эти звуки и почему их называют музыкой.

Трансляция длилась полтора часа. Первые сорок минут журналист откровенно страдал, то и дело украдкой поглядывая на часы. К концу первого часа он вдруг понял, что оркестр, отодвинув в сторону мелодию, прямо говорит об эмоциях и чувствах. Под конец симфонии журналисту стало казаться, что уже понимает этот язык. Это были не только эмоции, но и рассуждение о правде и неправде, о любви и предательстве, о верности и об измене. Слова заменяли звуки, но они звучали столь красноречиво, что обращались прямо к разуму, минуя паутину фраз.

Журналист попытался сформулировать, что именно хотела сообщить ему симфония, но тут трансляция завершилась.

– Вижу, вам понравилось, – сказал композитор.

– Я даже не знаю, как ответить. Это было нечто иное, чем то, к чему я привык. Но я полный профан в музыке, а уж в современной тем более. Было бы очень интересно узнать ваше мнение.

– Неплохо, совсем неплохо, только оркестр немного схалтурил – одной скрипки не хватает, – ответил композитор.

Они договорились о встрече, и композитор заметил:

– Вы уже начали брать интервью. В следующий раз продолжим разговор о музыке.

По дороге домой журналист слегка разозлился.

– Как можно в радиотрансляции услышать, что не хватает одной скрипки из пятнадцати? – подумал он. – Всё-таки, уважаемый композитор держит меня за дурака. Ладно, попробую доказать, что я хоть и профан, но не дурак.

Добравшись до компьютера, журналист написал емейл дирижеру. После слов приветствия, восхищения и благодарности, спросил:

– У вас возникла какая-то проблема со скрипками? Такое ощущение, что одного скрипача не доставало.

Поскольку он был известным журналистом, дирижер сразу ответил:

– Да, но откуда вы узнали?! Перед самым началом исполнения один из скрипачей поднимаясь на сцену, поскользнулся, упал и вывихнул руку. Заменить его было уже невозможно, пришлось исполнять в неполном составе – четырнадцать скрипок. Но я понадеялся, что кроме немногих специалистов, присутствовавших в зале, этого никто не заметит. Как вам удалось различить такое в радиотрансляции – ума не приложу!

«Это какой-то нечеловеческий слух, – думал журналист, проникаясь искренним уважением к композитору. – Сверхъестественные способности! Теперь я понимаю, почему он добился таких успехов в музыке».

На следующий день журналист не выдержал, позвонил композитору и честно рассказал ему обо всём.

– Я просто изумлен тонкостью вашего слуха. Даже дирижер написал, что такое невозможно различить в радиотрансляции. А вы различили!

Композитор рассмеялся.

– Всё проще, чем вы думаете, – сказал он. – Открою вам тайну. Дело в том, что эту симфонию написал я, под псевдонимом. Хотел посмотреть, есть ли возможность у молодежи пробиться на сцену. Поэтому знаю точно роль каждой скрипки, и сразу услышал, что одной недостает.

Я сделал паузу и оглядел публику. Люди сидели, как зачарованные. Мне удалось сломить холодок отчуждения и установить контакт.

– Так и человек, – продолжил я. – Ему кажется, будто в гигантском хоре человечества его роль незаметна, и если он не играет свою партию, никто этого не заметит. Не так! Владыка мира, прописавший каждому из нас роль, точно слышит фальшивые ноты, а уж тем более, если мы бросаем инструмент и уклоняемся от игры. Нет в мире никого, кто может нас заменить, поэтому играть надо обязательно.

Вопросы посыпались один за другим. Мы проговорили около двух часов, и только политкорректность вынудила за-

вершить встречу в начале десятого. Распрощавшись со слушателями, я взял у портье ключ и пошел в синагогу. Включил свет в пустом зале и долго сидел, прислушиваясь.

Воздух был полон неслышных уху звуков, теплого прикосновения эмоций, быстрых цветных сполохов, с трудом улавливаемых боковым зрением.

Старые еврейские книги рассказывают о четырех видах душ: у минералов, у растений, у животных и у человека. С тремя последними, в общем, понятно, но какая душа может быть у камней или песка?

Сила, создающая из бесформенного материала структуру камня или песка, называется душой. И у этой души есть память. Камни впитывают в себя события, хранят звуки, помнят цвета и эмоции. Когда после смерти Высший Суд рассматривает дело каждого человека, камни дома свидетельствуют о его поступках.

Зал синагоги в «Хохмей Люблин» несколько лет назад полностью отреставрировали. Всё в нем было новым: и деревянная утварь и роскошный «арон-кодеш», шкаф для хранения свитков Торы, и шкафы, полные книг. Богатая люстра заливала зал теплым светом, стены покрывал слой свежей краски, но камни под ней остались теми же, что сто лет тому назад. И они говорили. Надо было лишь выбрать угол зрения и слуха.

Следующим утром, перед встречей с читателями в центральной публичной библиотеке Люблина, Гжегож Фигель, заместитель директора этого славного учреждения, водил меня и Владислава по старому городу. Не влюбиться в Люблин было невозможно. Уют и покой стояли в его улицах от старых булыжников мостовой до карнизов крыш. Стайки щебечущих школьников и группы туристов с воркующими через мегафоны гидами не нарушали величие древней тишины. Они просто с ней не пересекались, гомоня в другом измерении.

Через одну из улиц была натянута проволока, и на ней покачивался жестяной канатоходец. Я сразу узнал его.

– Люблинский штукаръ?

– Конечно, Башевис-Зингер, – подтвердил Гжегож.

К сожалению, это было почти всё, что осталось от старого еврейского Люблина. Квартал, в котором жил Провидец, где святость струилась по улицам, как дождевая вода во время ливня, был полностью уничтожен фашистами после ликви-

дации гетто. Несколько столетий еврейской культуры Люблина стерли вместе с одной из самых многочисленных общин города.

Я стоял на большой автостоянке на месте бывшего еврейского квартала. Опять пытался услышать и увидеть, но ничего, кроме запаха выхлопных газов, не сумел почувствовать. Слова Эли Визеля звучали в моих ушах.

«Если у человечества ещё нет лекарства от рака; если оно пока ещё не осваивает Марс, если оно всё ещё не в силах победить голод и найти новые источники энергии, то это потому, что те еврейские гении, которые должны были совершить все эти открытия, сгорели в печах Освенцима».

Да, наибольшее количество Нобелевских лауреатов дал миру наш маленький народ. И больше половины этих лауреатов – выходцы из Польши. Невозможно представить, каких бы высот достигла эта страна, останься в ней евреи, которые жили на месте нынешней автомобильной стоянки.

Здание Люблинской публичной библиотеки радовало солидностью размеров и удивляло монументальностью старинной мебели. Директор библиотеки Тадеуш Славецкий хорошо вписывался в эту обстановку. Он был такой же монументальный, солидный и обстоятельный. Перед встречей с читателями мы пили кофе в его кабинете.

– Электронные читалки заполняют мир, – сказал я. – Киндлы, таблетки, смартфоны изрядно потеснили милые сердцу нашего поколения бумажные книги. Интересно, кто ходит в библиотеку Люблина?

– Вы совершенно правы, – с живостью отозвался Тадеуш. – Средний возраст наших читателей перевалил за пятьдесят. Молодежь появляется у нас только для написания работ в рамках учебы. Художественную литературу они читают с телефона. Но никто не знает, как может повернуться история. Все думали, будто грампластинки – это давно забытая эпоха, но теперь они возвращаются, и настоящие ценители музыки предпочитают винил лазерным дискам.

Когда мы вошли в зал, где проходила встреча, правота слов Тадеуша бросилась в глаза. Средний возраст собравшихся читателей намного превышал рубеж пяти десятилетий.

Одна из стен зала представляла собой копию гигантской картины Яна Матейки «Грюнвальдская битва». Оператор, из пришедшей на встречу группы люблинского телевидения,

попросил меня встать у этой стены. Вместе со мной они интервьюировали блестящего переводчика моих книг, профессора Силезского университета Петра Фаста. На фоне оскаленных лошадиных морд, занесенных мечей и искаженных яростью битвы лиц воинов, разговор о книгах еврейского писателя выглядел несколько странно. Храня верность выбранному амплу, на все вопросы я отвечал историями. Вот одна из них.

Однажды к Провидцу прибежал взъерошенный еврей.

– Ребе! – закричал он. – Спасите, ребе! Мне срочно нужны деньги, просто немедленно, прямо сейчас!

– Что тут удивительного? – спросил Провидец. – Деньги нужны всем, и как правило, прямо сейчас. Их нехватка – во все не повод впадать в такое волнение.

– Только что на площади перед синагогой я встретил ангела смерти, – ответил еврей, дрожа от волнения. – Он скорчил удивленную рожу и погрозил мне пальцем. Дайте мне денег на самого резвого балагулу, ребе, я хочу бежать поскорее в Замостье!

– Почему именно в Замостье? – удивился Провидец, доставая кошелек.

– А чтоб как можно дальше!

Еврей взял деньги и выбежал из комнаты.

Следующим утром по дороге в синагогу Провидец встретил на площади ангела смерти.

– Ну-ка, иди сюда, – поманил его пальцем праведник, и ангел немедленно повиновался. Как сказано: цадик приказывает, и Небеса выполняют. И если Небеса, то тем более ангел, пусть даже смерти.

– Ты зачем испугал еврея? – строго спросил Провидец.

– Вовсе я его не пугал, – ответил ангел смерти. – Я только удивился: что он тут делает? Ведь вчера вечером у нас с ним была назначена встреча в Замостье!

Разговор с читателями получился теплым и откровенным. Наверное потому, что Эва Хадриан, телеведущая люблинского телевидения, любезно согласившаяся вести эту встречу, сразу выбрала задушевный тон. Владислав и Петр переводили мои взволнованные речи, Дорота Мосцибродская с кошачьей грацией замечательно прочитала несколько рассказов из книги «Однажды в Галиции».

Последний вопрос из зала меня удивил. Задала его еще не потерявшая изящества пожилая дама с чуть тронутыми фиолетовой краской седыми волосами. Сиреневый беретик был кокетливо сдвинут набок, плотно прилегающая голубая блузка не застегнута на верхнюю пуговицу. По манере держаться ощущалось, что дама когда-то была красавицей, привыкла к вниманию мужчин и даже слегка им избалована.

– Из ваших слов я поняла, что вам очень нравится Люблин. А вы бы не хотели сюда вернуться? Переселиться на родину предков? – спросила дама.

– Мне такая мысль даже не приходила в голову, – удивился я.

– Почему? – в ответ искренне изумилась дама.

– Любить чужое не означает отказываться от своего. Люблин для меня очень красивое, дружелюбное место. Но не дом. Мой дом и дом моих детей на Святой Земле. Десятки поколений наших предков три раза в день поворачивались лицом в сторону Иерусалима и просили Всевышнего удостоить их вернуться в свою страну. Ну, если не их, то хотя бы детей или внуков. Мы – то поколение, на котором сбылись молитвы двух тысячелетий. Как же могу о таком позабыть?

Я скосил глаза на картину. Прямо за моей спиной бандит, похожий на запорожского казака, набросив аркан на шею всадника с длинной бородой, тащил его с лошади.

«Нет уж, – подумал я. – Дома лучше».

Обрезание на Небесах

Что было, то было

Если бы Хону спросили: «Чем ты, дружок, занимаешься всю свою жизнь?» – он бы коротко ответил: «Спасаясь!»

О, за таким ответом немедленно последовал бы второй вопрос: «От чего же ты спасаешься?» И можете поверить, Хоне было бы что сказать. Но прежде всего он бы воскликнул: «От нищеты!»

Всевышний не бросает деньги с небес, особенно евреям в Польше. И булки, как вы знаете, тоже не растут на кустах. Чтобы положить в рот кусок хлеба, надо ох как потрудиться!

Спасаться Хона начал с ранней юности. Учиться в ешиве, подобно большинству сверстников, ему не хотелось. Голова Хоны совершенно не подходила для усвоения еврейской премудрости. Знания даже не входили в одно ухо, чтобы

выйти из другого, а отскакивали, едва коснувшись ушной раковины. Таким создал Хону милосердный Господь, так кого же тут винить, кроме Его Самого!

Местом спасения Хона выбрал двор для кошерного убоя скота. Огромный, почерневший от времени и дождей дом, в котором находилась бойня, располагался в центре Казимежа-Дольны, напротив старой каменной синагоги. Нет, о карьере резника или проверяльщика Хона даже не мечтал: для этого требовалось долго учиться и сдавать тысячу экзаменов.

При слове «тысяча» ему почему-то начинала мерещиться груда золотых монет, а вовсе не стопки книг, которые надо было штудировать. Хону интересовали только золотые, и он хорошо понимал, что легко они не достанутся. Поэтому путь свой он начал самого низа, устроившись мыть двор от крови.

Хона был среднего роста, с круглым, симпатичным лицом, обрамленным нежной юношеской бородкой. Держался он прямо, в одежде соблюдал опрятность, старался ходить ровно, некрупным шагом. Вот только его глаза выражали постоянное беспокойство, а голос иногда начинал дрожать без всякой видимой причины.

Работал он старательно, и быстро был замечен. Шаг за шагом, ступень за ступенью Хона начал продвигаться по хозяйственной части бойни. Дела он старался вести честно, то есть воровать только в тех случаях, когда обман невозможно изобличить. Постепенно ему удалось приобрести репутацию надежного человека, и когда, спустя десять лет, управляющий бойней в одночасье скончался от апоплексического удара, хозяин выбрал Хону его преемником.

С тех пор прошло еще пятнадцать лет. Заматерел Хона, оброс жесткой бородой и мягким жиром. Страх перед нищетой давно ушел в прошлое – теперь Хона боялся потерять достаток, большой дом, мягкую постель, покорность жены, почтительность детей, уважение в синагоге. Ему нравилось сидеть в первом ряду перед раввином и щедро жертвовать бедным, зная, что слух о величине пожертвования немедленно разнесется по Казимежу-Дольны.

Хону нельзя было ни записать в злодеи, ни причислить к праведникам. Без религиозного рвения, но лишенный недостойных привычек, не транжира, но не скопидом. Обыкновенный человек, чаще добрый, чем злой, реже вспыльчивый, чем спокойный. А большее знать о душе человеческой может только ее Создатель.

С уверенностью про Хону сказать можно было лишь одно: правило во всем довольствоваться малым он крепко зарубил себе на носу. Вот только применял он его избирательно, распространяя лишь на духовную сферу.

Нет, три ежедневные молитвы в синагоге он пропустить не мог, это бы отрицательно сказалось на делах. Да и ходить в нее было близко, три шага от бойни, отчего же не сходить? И на уроки Торы несколько раз в неделю непременно заглядывал. Управляющий кошерной бойней обязан выглядеть человеком благочестивым, иначе кто станет покупать у него мясо?

Для видимости такого поведения хватало за глаза, но если бы кто-нибудь сумел заглянуть внутрь Хониной души, он бы в ужасе отшатнулся, пораженный безразличием глубоким, точно сугроб в середине зимы, и ледяной холодностью.

Зато во всем, что касалось личных удобств, красивой одежды и вкусной еды, Хона вел себя со щедростью пьяного шляхтича. Объяснял он это весьма незатейливо: для чужого глаза. Если управляющий бойней живет на широкую ногу, значит, дела у него идут хорошо. А раз так, можно строить с ним долгосрочные отношения, давать в долг, не спешить с требованием выплат и вообще делать всевозможные поправки.

В конце концов, любовь к роскоши сыграла с Хоной злую шутку. Как-то раз пришлось ему оставить свое местечко, и отправиться в Люблин по весьма неприятному делу.

Иногда Хона решался покупать для убоя животных сомнительного происхождения. Нет, упаси Боже, он никогда не связывался с ворами или заведомо сомнительными личностями. Но во всяком деле существует серая полоса, которая может принести немалый барыш, а может доставить крупные неприятности.

Хона был осторожен и привередлив, поэтому всегда выходил из такого рода сделок с солидным кушем. Но на сей раз всё пошло наперекосяк и закончилось судом. И хоть были у Хоны основательные доказательства, позволяющие объяснить свое участие в преступном сговоре не злым умыслом, а неправильным расчетом и неоправданной доверчивостью, но суд иноверцев всегда смотрит на еврея недобрым глазом. Дело пахло изрядным штрафом и подмоченной репутацией. Прощелыга адвокат вырвал из Хоны изрядный кус мяса вместе с кровью, но пообещал, что приговор будет в его пользу. Пообещал! Все они сулят золотые горы, чтобы получить от клиента гонорар побольше.

Приехал Хона в Люблин рано утром, и, так как заседание суда было назначено на послеобеденные часы, отправился в синагогу. А куда еще идти еврею в незнакомом городе?

Отыскав старосту – габая, он попросил порекомендовать хороший постоялый двор с кошерной едой на неделю. Габай, впечатленный представительным видом и дорогой одеждой гостя, назвал самое лучшее заведение такого рода в Люблине.

Постоялый двор находился неподалеку, на широкой улице, отходящей от главной площади, и произвел на Хону весьма благоприятное впечатление. Да, он любил роскошь, а запахи, доносящиеся из зала, где завтракали постояльцы, были самые что ни на есть аппетитные.

Хона попросил ключ от номера и достал кошелек, чтобы заплатить, но сумма, которую назвал служка, заставила его остолбенеть. Она почти равнялась величине штрафа в случае проигрыша судебного разбирательства.

Не говоря ни слова, Хона спрятал кошелек и вернулся в синагогу.

– Может быть, у вас в Люблине есть постоялые дворы подешевле? – спросил он габая.

«Вот же скопидом, – разозлился габай. – Знаю я этих богачей, из-за гроша удавятся! Ладно, дам ему совет».

– За подешевле идите к Провидцу, – сказал он. – Ребе держит для бедняков ахсанию, гостеприимный дом. Спать, правда, придется на лавке, а есть черный хлеб с кашей, зато совершенно бесплатно.

Хона принадлежал к малочисленной группе евреев Польши, не признавших хасидизм. Он, разумеется, слышал о чудотворце из Люблина, способном, по рассказам его хасидов, провидеть будущее, но эти рассказы отскакивали от сердца Хоны, как стрела отскакивает от смазанного жиром щита. Увы, положение, в которое он попал, не оставляло выбора, и, напуганный люблинскими ценами, Хона отправился в ахсанию хасидского ребе.

– На сей раз придется довольствоваться малым, – повторял он себе. – Что дадут, за то и спасибо!

И знаете что, в ахсание оказалось совсем неплохо! Спать, действительно, было жестковато, но кормили вполне сносно.

Разбирательство заняло три дня. Прощелыга адвокат не обманул, Хону оправдали по всем пунктам. Радостный, он попрощался с распорядителем гостеприимного дома и спросил:

– Я бы хотел как-то расплатиться с Провидцем за ночлег и еду.

– Ребе не берет плату за исполнение заповеди гостеприимства. Он вообще не прикасается к деньгам. Разве что к медным монеткам, которые ему приносят, когда попадают на прием.

– Но хоть спасибо я могу ему сказать?

– Конечно. Сегодня Провидец принимает после полудня, напишите записку с просьбами – квитл, и займите очередь. Если повезет, до ночи сумеете попасть. Благословение Провидца немало стоит!

Разумеется, никаких просьб Хона писать не стал. В записке он поблагодарил ребе за гостеприимство и благословил его сам.

На прием он попал поздним вечером. За столом, в глубоком кресле, сидел пожилой еврей с усталым лицом. Он развернул поданный служкой квитл, пробежал его глазами и положил на серебряное блюдо, где высилась горка записок предыдущих посетителей. На другом блюде лежали медные монетки, Хона добавил туда несколько своих.

– Желая тебе благополучного возвращения домой и успешного, надежного ведения дел, – Провидец чуть повысил голос на слове «надежного», и Хона сразу понял, на что тот намекает.

– Спасибо! – сказал он и открыл рот, чтобы спросить, откуда ребе знает про его обстоятельства, но почувствовал, как служка тянет его за рукав к выходу.

«Ну и хорошо, – подумал Хона. – Зачем лишние разговоры о моих делах? Я уже и так всё понял!»

От ребе выходили пятясь. Когда Хона, уже стоя на пороге, толкнул задом дверь, Провидец вдруг произнес.

– Было бы неплохо вступить в завет отца нашего, Авраама.

По дороге в Казимеж-Дольны Хона размышлял о встрече с Провидцем. И чем больше размышлял, тем чаще его губы кривила презрительная усмешка.

«Этот ребе устроил целое представление, и поначалу поймал меня на свою удочку, – думал Хона. – О том, что я каждый день хожу в суд, ему, конечно же, донес управляющий ахсании. Да и в самом суде, несомненно, у ребе хватает глаз и ушей, как без того?»

Не скрою, меня поразило замечание про надежное ведение дел. Но сейчас, поразмыслив, я понимаю что, ничего удивительного в нем нет.

Зато с заветом отца Авраама Провидец попал пальцем в небо. Обрезание – брис мне сделали, как положено, на восьмой день. И делал его не какой-нибудь новичок, а самый опытный мозель Казимежа-Дольны, друг моего отца».

Хона вспомнил старого мозеля, который иногда приходил в субботу после утренней молитвы выпить вместе с отцом пару рюмок маминой вишневой наливки. Ах, какая это была вишневка! Весь Казимеж-Дольны мечтал ее попробовать. Но мать держала ее под замком, и выдавала в особых случаях и для особых гостей. Мозель принадлежал к тем самым особым гостям.

Правда, парой рюмок дело никогда не ограничивалось. Немолодой уже мозель быстро хмелел, начинал бормотать что-то невнятное, перемежаемое возгласами: «киш мир ун тухес¹», и мама быстро выпроваживала Хону из горницы.

«Интересно, что бы сказал этот так называемый Провидец старому мозелю? Что он ошибся? Что неправильно сделал брис? Ха-ха-ха!»

Хона не сдержал смехок.

«А в целом неплохо придуманное представление, – сказал он себе. – Сначала поразить посетителя якобы пророческим видением, затем напустить туману, чтобы тот начал сомневаться и трепетать. А всё для чего? Да для того, чтобы сбитый с толку человек явился к ребе просить совета! Вот так вот вербуют хасидов, вот так берут в плен души!»

Вернувшись в Казимеж-Дольны, Хона не стал рассказывать о своей встрече с Провидцем. Мало ли с кем ему приходится разговаривать во время деловых поездок?! Жизнь плавно покатила дальше, спокойная, сытая, уверенная жизнь. От всяких сомнительных сделок Хона теперь шараялся, как от огня, но Бог был милостив и в избытке посылал ему честный заработок.

Прошло четыре года. О поездке в Люблин и встрече с Провидцем Хона давно позабыл. Сейчас его больше всего заботила погода.

Стояла ненастная осень, серые злые волны ходили по Висле, волглый воздух приносил насморк и кашель. Хона вернулся домой пообедать. Омыл руки, благословил хлеб, съел кусочек, макнув его в солонку, затем выпил щедрую рюмку водки, без которой обед в такую сырость невозможен. Крякнув, потянулся за селедкой, и вдруг уронил вилку на стол.

¹ Поцелуй меня в задницу (идиш)

– Голова моя, голова! – просипел Хона, сжимая ладонями виски. – Голова моя...

– Что с тобой Хона, что, что?! – вскричала жена, видя, как лицо мужа из бледного становится ярко-пунцовым. Но Хона ей не ответил. Уронив лицо в тарелку с супом, он подергался несколько секунд и умер прямо на глазах онемевшей от ужаса жены.

Хоронили его со всеми еврейскими почестями. В общем и целом, покойный был хорошим человеком, достойным членом общины. Помогал бедным, молился в миньяне три раза в день, посещал уроки Торы. А что скрывалось у него внутри – не дело человеческое. Как сказано: открытое нам и детям нашим, а скрытое – Всевышнему, Владыке мира.

Белую атласную капоту и широкий белый кушак Провидец надевал только на брис. Обычно его приглашали быть сандаком – держать на коленях младенца во время обрезания. Поэтому полы капоты были покрыты пятнышками крови, брызгавшей из-под ножа моэля. Провидец не разрешал стирать капоту.

– Эти пятнышки святы, – говорил он.

Разумеется, каждый еврейский отец в Люблине мечтал, чтобы его сын вырос хоть чуть-чуть похожим на великого праведника и чудотворца. Тот, на чьих коленях заключается завет Авраама, становится духовным проводником нового еврея. Как это происходит, нам непонятно, но души младенца и сандака навсегда переплетаются вместе.

И было: в один из дней Провидец пришел на утреннюю молитву в белой атласной капоте, подпоясанный белым кушаком.

– Сегодня брис? – начали спрашивать у габая удивленные хасиды. – Почему мы ничего не знаем?

– Я сам ничего не знаю, – отвечал не менее удивленный габай. – Но никакого бриса сегодня нет.

– Тогда почему ребе пришел в белой капоте?

– Понятия не имею, – пожимал плечами габай.

Спросить Провидца никто не решался. Если ребе надел белую капоту, значит, есть для того веские причины. Ай, мы их не видим, нам они не понятны, так это проблемы наших глаз и нашего духовного уровня.

Провидец уловил настроение хасидов, и после завершения молитвы собрал ближайших учеников, и принялся рассказывать:

– Недавно наш мир оставила душа еврея из Казимежа-Дольны. Предстала она перед Высшим Судом, и выяснилось, что обрезание этому еврею сделали плохо, неправильно сделали. Почему так получилось – непонятно; мозль, который обрезание сделал, был опытным и умелым. Но что сделано, то сделано. И не исправлено. А это значит, что место на Небе еврей получит совсем иное, чем мог бы получить. Прямо скажем, не лучшее место. А если еще прямее – плохое.

И взмолился еврей, заплакал:

– Почему я должен отвечать за чужие ошибки?! Мне ведь за всю жизнь ни разу не сказали, что брис неправильный!

– Во-первых, сказали, да ты не послушал, – возразил обвинитель. – А во-вторых, почему ты решил, будто речь идет об ошибке? Это вовсе не ошибка. Так было задумано.

– Но для чего? – вскричал еврей.

– Если бы ты стал хасидом и ходил каждый день в микву, – объяснил обвинитель, – твой неправильный брис быстро бы заметили, и послали бы к мозлю на исправление. Но к хасидизму ты относился прохладно, а в микву ходил раз в год, перед Йом-Кипуром. Да и то старался окунуться на речке, подальше от любопытных глаз. Так что вина тут твоя, а не мозля.

– Но нельзя же наказывать человека за то, о чем он не догадывался? – продолжал умолять еврей. – Неужели нет способа исправить положение?

– Есть, – сказал защитник. – Пусть кто-нибудь из живущих на земле праведников назначит тебе тикун, исправление. Ну-ка вспомни, у кого из цадиков ты побывал в последнее время.

– Ни у кого, – разрыдался еврей. – Я к цадикам сроду не хаживал!

– А ты вспомни, вспомни, – настаивал защитник. – Может, всё-таки было что-то похожее.

И вспомнил еврей.

– Это случайно получилось! – сказал он. – Но вы-то откуда знаете?

Усмехнулся обвинитель, улыбнулся защитник, а судья ответил:

– Для Высшего Суда тайн не существует ни на Небе, ни на земле. Отправляйся в Люблин, к Провидцу, проси назначить тебе тикун.

И пришла ко мне душа еврея из Казимежа-Дольны, – продолжил свой рассказ ребе, – и стала просить о спасении. И

сказал я, что ничего не могу сделать, ведь при жизни у него со мной не было никакой связи. И вскричал он криком великим и страшным, и напомнил о нашей встрече и тех монетках, которые положил на серебряное блюдо. А для Высшей Справедливости вес ста золотых такой же, как вес медного грошика. И не было у меня выхода, и пришлось назначить ему тикун, исправление бриса.

– Но в чем состоял тикун, ребе? – спросил габай. – Разве можно исправить брис после того, как тело предано земле?

– А вот этого я не могу раскрыть, – ответил Провидец.

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. начиная с №14.

*

Какая родина дороже — доисторическая или обетованная?
Да обе — тов! Обе хороши!

-

Английская поговорка: «Подошёл к развилке — иди по развилке».

-

Блюм, бродя по Дублину, мечтал о домишке в Тверии, на озере Кинерет — будто вправду намеревался покинуть исходный ирландский Нил...

*

В Мидрашах сказано: «Простое не может быть истинным».

*

Чехов на самом деле всё время описывает коммунальную квартиру, «Воронью слободку» (пусть снаружи и барская усадьба) — варварские свары, абсурдный галдёж, кипучая жизнь бестолковая...

*

Читал я, кажется, «Евреи — боги истории», — занимательная книжка!

-

«Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов...» (В. Набоков, «Лекции...»).

*

Берлиоз (булгаковский) — в нём Берл-медведь подлиза.

*

За Мёртвое море
Живее борись ты!
Лишь не думающие о будущем
Говорят: «Фу, туристы!»

*

Книга у Коллонтай — «Любовь пчёл трудовых». «Бабушка русской проституции», как писал Гуль.

-

Дурацкий термин — «абстракционисты». Куда как лучше по-русски — беспредметники (у Гуля прочёл о Кандинском).

*

Густопопсовые российские пустоты, скверно сложенные, дохло сочинённые, захлёбывающиеся радостным твяканьем — Абырвалг!

-

«Последняя сосна российского сведенного бора» (Саша Чёрный о Иване Бунине).

-

Местечко, газетко «Шестиконечнерштерн»...

-

В просвещённой Флоренции при Медичи отмечали день рождения Платона — 7 ноября.

-

Раз «Дискобола» изваял Мирон, значит, тот — Мироныч.

*

В 8 утра в Ариэле в супере, покупая бутылки водки, Эд. Бор-машенко встретился со своим раввином. Рав воззрился в изумлении — и профессор, и арамейский знает, и к «биме»¹ вызываем регулярно — а неистребимо! «Русские» имманентно!

*

Как писали о вечере И. Л. Переца в Петербурге в начале XX века, «вечер закончился далеко за полночь, оставив на всех хорошее впечатление».

-

Это Тыняновское определение — «качество присутствия» — когда тын в прозе исчезает, забор валится — и ты видишь, осязаешь действо...

-

Западный Алтай, 60-е годы. Приехали Воронели с друзьями, пошли в лес по грибы. На опушке встретили девочку лет восьми в веночке, с лукошком.

— Девочка, грибов много? — До хуища.

-

И я, презрев презервативы, иду «на вы» — нагой во тьму...

¹ Бима- помост в центре синагоги, где происходит ритуал чтения Торы, для участия в котором вызываются члены общины, участвующие в молитве.

*

С одной стороны такой единый европейский Сибарис (древнегреческий полис, погрязший в роскоши и погибший с жиру), а с другого берега — Россия, сроду прираставшая Сибирью, с неизжитыми варварскими нравами и вечным набитием шишек под глаз себе и окружающим.

*

Как писал Михаил Веллер: «я лично подверг прочтению».

-

Как Красовицкий бы написал: «С древнееврейские пишу стихи картин».

-

Жёлтая чернуха и красная депресня.

-

«Притча требует прозрачности» — учит Розовский (повторяя Товстоногова).

*

Ломоносов придумал свою систему оценок — от «всё исполнено» (высшая) до «шабаш» (низшая). Русский язык отличается бодростью и звоном (примерно так).

-

В Тель-Авиве начали строить трамвай. Придёт трамвай, полный травой морской!

*

Недавно узнал, что огурец — ягода. Всю жизнь ягодкой солёной закусывал!

-

Великий джазмен Телониус Монк говорил, что когда совершаешь «неправильные ошибки» — тогда плохо, а вот надо найти «правильную ошибку», верное отклонение — и станет искусство!

-

Набоков буркнул, что у Достоевского вечно превращение Бедлама в Вифлеем. А у нас — обратный процесс... Плюс температура в палате повыше.

*

Когда мы щёлкаем семечки, то представляете, сколько шероховатой, малостерильной, неинтересной поверхности надо облизать, чтоб налущить щепотку пищи... Так и при поглощении читива...

*

До ценностей мировой культуры мне далековато, да и акцент мешает. Споткнувшись на какой-нибудь странице, я вместо «упс» восклицаю «йонс!».

-

Книжка Лёни Левинзона. «Блошиный рынок» в Тель-Авиве называется Пишпишим. Барахолка наша литературная — пиши-пиши, пишем-пишем... Всё под хвост!..

*

Нынешняя руслитра... Ох, беда... Куда мне, чуланному строчкогону, чайнику закопчённому — тут титаны литературы, блестящие паралимпийцы!

*

Сплав, микс стилей, вьюжный фьюжн прозы.

-

Мир состоит из 22 букв плюс Единый — 23 хромосомы.

*

Малевич как-то сказал Хлебникову: «Вы не заумник, вы умник. Вот Кручёных — этот да...».

*

Ибо сказано в Евангелии: «Молись о даре истолкования».

-

«Земля была безвидна и пуста, и дух витал над водами, напевая: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно...» (Заветное)

-

«Подтравная речь», как писал Набоков о двойном дне текста — зазеркальные звуки.

-

Неустранимость странности — страницы меняют нумерацию, но суть остаётся, переливается радужно из примордиального в порожнее.

*

«Попробуйте подбрасывать и перевёртывать слова» (А. Ремизов).

-

Мрачный пессимизм — пёс с им, измерителем терпения!...

-

Светлая дорога до цугундера! Духовные склепы!

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Вторая сумка, полная небылиц

Культовым литературно-фольклорным явлением 50-х годов прошлого века в Израиле стала совсем небольшая книжка «Ялкут а-казавим» (1956) - сборник «чизбатов» – историй, легенд и анекдотов о боевых, но порой наивных и недалеких пальмахниках. Один из возможных переводов названия сборника - «Сумка, полная небылиц». Собрали и литературно обработали фольклорный материал известные в ишуве литераторы – служивший в Пальям Дан Бен-Амоц и пальмахник, поэт Хаим Хефер. Глагол «ле-чазбет» ещё с 40-х годов означает «рассказывать небылицы», или «пули лить» как ещё за сто лет до этого писал Н. В. Гоголь (*Чичиков Ноздрёву: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить».* «Мёртвые души», 1842).

Вторым очень похожим (даже умышленно такого же формата и оформления) по стилю и содержанию изданием стал сборник «чизбатов» «Хай, кейфак?» (*Как дела? – арабск.*), собранных Ури Села, изданный в Тель-Авиве в 1967 году. Будучи преисполнен уважения, но и трудно скрываемой ревности к популярности «Сумки небылиц», Села пишет в предисловии к своему сборнику, что «по прошествии 11 лет со времени появления «Ялкут» молодым членам Ассоциации любителей говорить правду (*то есть пра-пра-правнукам барона Мюнхгаузена в Израиле. – А.К.*) есть что рассказать». Эту литературную трибуну и предоставил им составитель нового сборника забавных историй и придумок.

Хронологически повествование начинается с раннего подмандатного периода, переходя в события Войны за Независимость, а затем – в 50-60-е годы. Таким образом, «Хай, кейфак?» фактически является дополнением «Ялкут а-казавим» с такими же чёрно-белыми стилизованными рисунками (художник в издании не указан). Миниатюры повествуют о жизни евреев и арабов ишува и израильтян в молодом государстве во всем её многообразии – от армии до спорта, от взаимоотношений между сводными братьями – евреями и арабами, до кулинарных пристрастий. На страницах книжки появляются и национальные герои – Бен-Гурион, Моше Даян, г-н Муграби – хозяин знаменитого кинотеатра в Тель-Авиве, и другие народные любимцы.

Это особый жанр мягкого, доброго народного юмора, когда внешне недалёкий и наивный Хаимке, Йоске или Шмулик служит

постоянным объектом для шуток, однако порой может легко «срезать» любого умника.

*Отобрал, перевёл с иврита и написал предисловие
Александр Крюков*

Хаврута о митута¹

Элиэзер Рои, много лет работавший сотрудником спортивного общества «А-Поэль», однажды так открыл соревнования по боксу, обратившись к участникам: «Товарищи! Не забывайте, что все вы – члены Гистадрута, поэтому прошу вас не наносить друг другу слишком сильных ударов».

Заботливый родитель

В кибуце Сде Бокер рассказывают: много лет назад заботливый отец Давид Бен-Гурион упрашивал свою маленькую дочку Геулу съесть банан. Он бегал за ней и уговаривал: «Геулинька, съешь банан - вырастешь большая, как папа...».

Метафора

Авраама Шапиру однажды пригласили на радио для записи передачи о первых поселенцах Петах-Тиквы. Шапира начал: «Алло! Вы меня слышите? Здесь Авраам Шапира, здесь Авраам Шапира. Я хочу рассказать вам о Хавкине, да, старом Хавкине. Когда он приехал в Петах-Тикву, там ни одной живой собаки не было, кроме меня, да и я ещё был маленький».

Свитер

Когда Ханита представляла собой только башню и забор, там был Сулейман, местный пастух, человек известный во всей Галилее. Вы могли просидеть у костра всю ночь, выпить ведро кофе, и хворост у вас уже весь закончится, - но не удивительные рассказы о Сулеймане. Вот один из них:

- Однажды в Ханите случилась такая зима, подобной которой не могли припомнить даже старики из Басы. А уж в Басе, как известно, доживают до глубокой старости. Так вот, беда была в том, что у людей не было достаточно денег на покупку теплых вещей. У каждого был только один свитер...

Ладно, каждый надел свой свитер, чтобы утеплиться. И тут приходит Сулейман, весь дрожит от холода и говорит, что

¹ Высокое по стилю словосочетание из арамейского: дружба или смерть.

его свитер куда-то пропал. Все его пожалели и пошли искать этот свитер. Искали, искали – не нашли. Нет свитера, - и нет денег на новый. Так несчастный Сулейман остался на всю зиму без свитера. И только в пасхальную ночь обнаружилось, что свитер-то был надет у Сулеймана под рубахой.

Стук в дверь

Рассказывают, что старый Муграби, именем которого называют кинотеатр¹ и площадь², был немного глуховат. В один из дней Второй мировой войны, когда итальянцы бомбили Тель-Авив, г-н Муграби сидел в своём кабинете в здании на площади. Одна из итальянских бомб упала на примыкающей к ней улице Пинскера – совсем рядом...

Г-н Муграби поднял лицо к двери и крикнул:

- Войдите!

Важная информация

После одного из собраний Ехиэль Дувдевани многозначительно кивнул группе доверенных парней, приглашая их пройти за ним за угол здания, чтобы его не услышали посторонние. Он собрал ребят в тесный кружок, положил руки им на плечи и произнёс: «Парни, я сейчас занимаюсь вопросами безопасности и время от времени встречаюсь с Бен-Гурионом... Хочу сообщить вам кое-что, но это должно остаться между нами, никому не передавайте: Положение трудное, но будет лучше».

Землю – старушкам!

Некая старушка, которая круто подняла денег в Штатах, однажды решила, что после 120 она хочет быть похоронена только на кладбище в Дгании – в нескольких метрах от Иордана и могилы Гордона.

Она направила письмо в секретариат Дгании, рассказала о своём желании и присовокупила к письму чек на 25 тысяч лир для постройки в квуце Дома культуры или чего-нибудь такого её имени.

В шабат на собрании членов квуцы обсуждалось распределение земельных угодий квуцы на предстоящий год. Между несколькими ветеранами коллектива разразилась острая

¹ Здание сгорело в 1986 году.

² Официальное название – Площадь им. 2 ноября (день опубликования Декларации Бальфура).

дискуссия: что эффективнее - расширить территорию банановых плантаций или отдать землю под пруды для разведения рыбы?

Тут встал Бусик и взял слово:

- Бросьте молоть чепуху! Самое выгодное – отвести землю старушке!

Сочинение

Когда Моше Даян учился в молодежной школе Ханы Майзель в Нахалале, учитель как-то поручил классу написать сочинение «Самый главный день в моей жизни». Моше Даян написал просто: «Самый главный день моей жизни ещё не наступил».

Специалист

Юдка из Мишмар ха-Эмека провёл две недели за границей в составе молодёжной делегации. С тех пор его считали серьёзным специалистом по международным вопросам. Однажды, когда ребята обсуждали различные странные блюда, Юдка вмешался и заявил:

- Да что вы знаете?! Во Франции лягушки считаются блюдом декольте.

Большой Ягур

Кибуц Ягур настолько большой, что там никто никого не знает. Однажды там одного в течение полугода ежедневно распределяли на работы, а он уже давно оставил кибуц. Так никто и не заметил.

Как-то в театре в Хайфе случилась драка. Пришёл полицейский и задержал двоих драчунов. Спрашивает он первого:

- Ты откуда?

- Из Ягура.

Второй смотрит на того, поражённый, и говорит:

- Да ты что?! Я тоже из Ягура.

Тут и полицейский подал голос:

- А чего вы удивляетесь? И я из Ягура.

Ни слова!

Помните время, когда каждый порядочный человек знал какие-нибудь секреты не для прессы? Так вот, Гриша завёл себе твёрдое правило. Когда его спрашивали: «Ну, как оно идёт-то?» - он обычно отвечал:

- Если я тебе скажу, это уже не будет секретом.

Профессионал

Несмотря на то, что Штибель считался в Пальмахе профессиональным тренером, никто ни разу не видел его на ринге. Когда ребята подкалывали его на эту тему, он отвечал:

- Послушайте, детки, у меня есть свой приём: когда другие используют кулаки, я использую ноги. Сечёте?

Понятно?

Однажды некто в Ягуре начал здорово задираться с Авадом. Тот взял его за воротник рубашки и негромко сказал:

- Пойди на склад и сдай свою зубную щётку – теперь она тебе долго не понадобится...

Поражение

Однажды Хаимке-толстый из Явниэля зашёл в ресторан в Хайфе и заказал еду, однако очень огорчился, потому что сели мухи и начали есть из его тарелки. Он попытался отогнать их, но безрезультатно; тогда подозвал официанта и, указывая на висевший на стене плакат «Война насекомым!», спросил:

- И это вы называете войной с насекомыми?

- Я скажу тебе, - ответил официант, – война действительно была, но победили мухи.

Утомилась

Случилось как-то Хаимке из Явниэля быть в Тель-Авиве. Зашел он в ресторан и заказал овощной салат. Принесли ему салат, а в центре тарелки на кучке овощей возвышается одинокая оливка. Хотел Хаимке приколоть её вилкой, но она скользнула в сторону. Попытался ещё раз – опять не получилось. Принялся Хаимке гонять оливку по тарелке, пока та не упала на пол.

Тут подошёл официант, аккуратно наколол оливку вилкой и показал Хаимке. Взглянул тот на официанта и презрительно произнёс:

- Тоже мне - большая хитрость поймать её сейчас, когда я загонял её до полусмерти.

Абу Лиш и новые гранаты

Когда парни начали наступление на фабрику льда в Бейт-Дагон, Абу Лиш был в атакующем взводе. А за день до этого в подразделение поступили новые гранаты «Милс», ну, эти – с предохранителем.

Абу Лиш раньше никогда не видел таких гранат, поэтому, наступая, бросил одну в противника, не выдернув предохранительную чеку. Прошли две минуты, взрыва нет... Разозлённый Абу Лиш подошёл к гранате, пнул её ногой изо всей силы и закричал:

- Ты, дерьмо, мать твою так, взрывайся наконец!

Тяга к искусству

Однажды Офер со своим взводом был в Иерусалиме, и захотелось ребятам сходить в кино «Эдисон». Однако проблема была в том, что билеты стоили денег, а у пальмахников – ни гроша...

Пошёл тогда Офер к Фридману - хозяину кинотеатра, - и говорит:

- Слушай, сегодня вечером ЭЦЕЛ планирует взорвать твоё заведение, но тебе повезло: руководство Хаганы узнало об этом и направило нас предотвратить акцию.

Спустя две минуты Офер и перепуганный Фридман стояли у входа в кинотеатр и пропускали в него пальмахников:

- Этот мой, - говорил Офер, - этот, и этот, и этот...

Экономия

Нехама - завхоз из Сде-Бокер чрезвычайно экономила еду. Однажды, когда после ужина в столовой остались две кружки молока, Нехама вернула их корове.

Смертельная ловушка

В комнате Авраама из Габим долгое время появлялась назойливая мышь. Когда её пытались прикончить, она пряталась в радиоприёмнике. Неделю Авраам думал, как разобратся с мышью, и придумал-таки: он настроил приёмник на волну «Голоса Израиля». Спустя час мышь сдохла от скуки.

Выполнил

Однажды Луцкий заболел, и Лави сказали взять тендер и съездить с ним в поликлинику в Лахавот. Лави пошёл искать Луцкого, а ему говорят, что тот болен.

«Ну, ладно, - подумал Лави, - болен так болен, поеду один».

Раньше – позже, не важно

Однажды, когда ребята в Нир-Оз пришли в столовую на обед, а руки у них после работы все в навозе, то оказалось, что в кранах нет воды...

Шош, старшая по хозяйству:

- Что, воды нет? Ладно, садитесь есть, потом помоее.

Слабо?

Однажды парни в Сде-Бокер подкалывали Штильмана. Аврум спрашивает, не слабо ли тому помочиться в каску? Штильман решил изобразить крутого и показать, что ему не слабо. Ладно, поспорили на бутылку пива, и Штильман напустил в каску.

Когда он показал ребятам свой боевой головной убор, полный мочи, Аврум признал, что это не слабо...

О качестве

На одном из общих собраний членов Сде-Бокер Сильвер резко критиковал состояние экономики кибуца. Говоря о навозе, он вспылал и сказал:

- Да разве это навоз? Дерьмо это, а не навоз!

О языке

Однажды в ходе экскурсии Еошуа заинтересовался неким цветком.

- Это мальва, - сообщил ему экскурсовод.

- А есть у него ещё название? – спросил Еошуа.

- Хубейза, - ответили ему.

- Ну вот, - удовлетворённо сказал Еошуа, - сразу бы говорили на мамэлошн.

О ботанике

В ходе поездки по Негеву французский ученый-эколог интересовался у бедуина, как называется по-арабски цветок диплодаксис. Тот с пренебрежением посмотрел на растение и переспросил: «Хаза? Хаза хара».

С тех пор научное название цветка Диплодаксис хара.

Цель наступления

Комбат Муса на карте ставил бойцам задачу на предстоящий бой: «Навалимся на эти два кейфака и все пичефкес¹ вокруг них».

¹ Идиш. Изначально – предметы бижутерии, позднее - мелочи, детали, чепуха.

Знакомство

Когда Джумба пришёл в своё подразделение милуимников, он представился так: «Привет. Вы зовите меня Джумба, а я буду звать вас “задницы”».

В десятку!

Когда Габи из Гонена сообщили, что у него родился сын, он закричал от радости:

- Видите, парни, первый выстрел - и сразу в десятку!

Такси

Демобилизовавшись из армии, Циби начал работать таксистом в Иерусалиме. Однажды, когда он стоял на пересечении улиц Бен-Йегуды и Кинг Джордж, к автомобилю подошла девушка и спросила:

- Вы свободны?

Циби взглянул на неё и ответил:

- Да, а вы?

Чем быстрее – тем лучше

Когда Шмулик из Тель-Авива стал секретарём, он получил служебный автомобиль, на котором гонял, как сумасшедший. Так, однажды он выехал из Тверии в 7:30, а уже в половине восьмого был в Хайфе.

Как-то останавливает его полицейский, когда на спуске из Пории Шмулик несся на 140 километрах в час. Офицер поинтересовался, из какого лечебного учреждения он сбежал, если на таком опасном спуске несётся, как сумасшедший. «Скажу тебе так, - отвечал Шмулик, - спуск действительно очень опасный, поэтому чем быстрее я его проеду – тем лучше».

По порядку

Шая Глазер однажды участвовал в футбольном матче в качестве водителя автобуса, который после игры должен был развезти зрителей. Они столпились перед дверью – каждый хотел быть первым и не давал другим войти. Шая рассердился и взял порядок в свои руки:

- Внимание! Не толкайтесь! Входите по очереди – один солдат, один человек!

Понятливый

Однажды Шая со сборной по футболу был в Москве, и гостей повели в Большой театр на балет. В перерыве после

первого акта Шая говорит: «Парни, я понял, что здесь такое; пойдёмте отсюда».

Разумный

Однажды в ходе футбольного матча в Реховоте местные навалились на Халюлю из тель-авивского «Макаби» и крепко его отдубасили. Шая стоял в сторонке и не вмешался.

После драки разозленный Халюля стал упрекать Шаю:

- Да что ты за друг? Видишь, что меня метелят, и не помог!
- Да ты что, рехнулся? – отвечал Шая. – Хотел, чтобы убили двоих из одной команды?

Срезал

Как-то, после очередного обстрела сирийцами кибуца Гонен, Юваль тащил за трактором прицеп, полный арбузов. Проезжая мимо поста наблюдателей ООН, он остановился и вручил каждому «умнику» по арбузу. При этом он приговаривал на своём ужасном английском:

- Берите, берите, хотя вы и не заслуживаете.
- Если не заслуживаем, возьми назад, - сказал один из солдат.
- Да ладно, - ответил Юваль, - берите... Я ведь даю вам как людям, а не как «наблюдателям».

Нужно спрашивать

Абрам из Сде-Бокер как-то шёл по улице и спросил встречного:

- Скажи, где здесь улица Туз-Барахинди?
- Не знаю, - ответил человек.
- Так чего же не спросишь? – удивился Абрам.

Пример из истории

На одном из общих собраний в Нахал-Оз Дада рассказывал о тяжёлом экономическом положении кибуца и мрачных перспективах. Молодёжь, как обычно, смеялась.

Дада хмуро посмотрел на весельчаков и сказал: «Смейтесь, смейтесь... В своё время над Галилеем тоже смеялись...»

О развлечениях

В Амиоз приехали новички, и один из них удивился, когда Фройка рассказал, что в кибуце 100 членов и 140 детей. Фройка объяснил: «Ну, а чем же заниматься, когда по полгода не привозят фильмов?»

Полярная звезда

Джамиль давал товарищам лекцию о звездном небе:

- Видите эту звезду там? Это Полярная звезда, её очень легко найти на небе: она яркая и видна издалека. Даже из Цфата её видно.

Молодожёны

Не прошло и недели с их свадьбы, как Хаима и Галию Тополь призвали, чтобы они выступили перед солдатами в ходе синайской операции.

Хаим: «Ну вот, как истинный сноб, я проведу медовый месяц за границей».

Хороший аппетит

Между выступлениями перед бойцами на Синае где-то возле Газы Йоске Банай зашел подкрепиться на полевую кухню. Он был известен не только как популярный актёр, но и славился отменным аппетитом, поэтому обратился к повару и попросил ещё один помидор.

- Нет больше, братан, - отвечает повар. – Не забывай, что мы возле захваченного города.

- Если так, нет ли ещё одного захваченного огурчика?

Удивление

Однажды мимо парней на марше прошла колонна танков «супер-шерман». Один остановился и из него на землю прыгнул танкист. Он показался ребятам таким маленьким на фоне огромной машины, что Азриль подошёл к нему и сочувственно спросил:

- Скажи, братан, танк не слишком велик тебе?

Око за око

Однажды утром некий старшина был очень рассержен отсутствием порядка и дисциплины в подразделении. Он ходил между палатками и одну, самую неприбранную, завалил. Когда после обеда он вернулся к своей палатке, она была обрушена...

Всегда так...

После нескольких дней пребывания роты в кибуце Нирим в Негеве, у одного из бойцов пропала шинель. Комроты построил солдат и дал час, чтобы шинель была возвращена. Джуки горько пожаловался: «Командир! Куда бы мы ни пришли, там ведь обычно что-нибудь пропадает, и всегда думают на нас...».

Ашкеназские штучки

Цвика из Кфар-Гильяди тренировал свое отделение милуимников. Все они были йемениты, он – единственный «шихнози»¹.

- Вот эти развалины впереди – наша цель, - ставил он задачу. - Вы должны доползти туда так, чтобы противник вас не заметил. Усекли? Приготовиться, падай – ползи!

Все упали, а один бородач стоит и смеётся.

- Отставить! Приготовиться, падай – ползи!

Тот стоит и смеётся...

Взбешённый Цвика подбежал к нему и спрашивает:

- Ты почему не ползёшь со всеми?

- Да нет там никакого противника, - отвечает ему йеменит.

- Это всё ваши ашкеназские штучки.

Если бы

Дани был большой храбрец. Однажды он хотел пробраться на стадион без билета, но его заметил полицейский и погнался за ним, размахивая дубинкой.

- Да я бы из него котлету сделал, - говорил потом Дани, - но он не сумел догнать меня.

Повежливее...

Однажды Шмулик-жлоб решил искупаться, вошёл в море, но волны были очень большие. Шмулик повернулся и стал выходить. В этот момент большая волна догнала его и повалила. Шмулик откашлялся от воды, повернулся к морю и сказал:

- Ладно, ладно, я уже выхожу, зачем толкаться-то?

Навестили больного

Яир лежал в больнице с высокой температурой, и парни пришли навестить его.

- Да не тревожьтесь, - говорил он друзьям. – Не умру же я от этого.

- Смотри, - хмуро сказал ему Шломо, - ничего не гарантировано...

¹ В речи выходцев из арабских стран искажённое «ашкенази».

Изменился

Хаим Хефер вернулся в Израиль и зашёл в иерусалимское кафе «Ницан». Увидел его Авиви и воскликнул:

- Эй, Хаим, да ты совсем не изменился!
- Изменился, но внутренне, - ответил Хефер.
- Если это и правда так, - обрадовался Авиви, - тогда дай займы пять лир.

Свой порядок

Как-то в шабат Иче из Броша зашел в кафе в Эйн-Ход. К бару стояла приличная очередь из терпеливых посетителей. Однако Иче подошел прямиком к бармену и потребовал коньяку – немедленно.

Парни обратили его внимание, что здесь порядок – нужно постоять в очереди.

- Вы мне тут права не качайте, - вспылил Иче. - У меня свой порядок – я по протекции.

Дальнобойный

Когда Йоске вернулся со свадьбы двоюродного брата, парни спрашивают у него:

- Как было, как стол?
- Дальнобойный, - ответил Йоске.
- ???
- От одной бутылки до другой - двадцать метров.

АРФА И ЛИРА

Произведения азербайджанских авторов

О Микаиле Мушвиге

Двадцать девять лет, семь месяцев и один день – так недолго длилась жизнь Микаила Мушвига – Микаила «Озарённого». Но за свою короткую жизнь поэт сумел оставить столь значительный след в литературе, что без его имени сложно представить учебник, антологию, энциклопедию – любое издание, посвящённое азербайджанской литературе.

Мушвиг стал писать стихи в очень юном возрасте, и уже в студенческие годы примкнул к обществу революционных поэтов «Красное перо». Поэт искренне принимал строй, при котором ему довелось жить, что нашло отражение и в его стихах. Статьи современных авторов признают: «...основное содержание его поэзии – романтика революции, героика борьбы за социализм». Поэт верил в революцию, в построение нового, справедливого мира: «Высокий я избрал себе маршрут - Подъём, с борьбою сопряжённый, крут», - пишет он. Вплоть до кампании, развернутой против него, в каждом написанном им стихотворении звучат гордость и радость от созерцания меняющегося облика городов родины, меняющегося общества. Однако от съезда к съезду партийные деятели называют поэта «буржуазным тюркским писателем», пока, наконец, на съезде компартии в 1937 году в его адрес с трибуны не прозвучало «мразь!».

Летом 1937 года, на пике сталинских репрессий, поэта арестовали. Удивительным пророчеством звучат строки, написанные им в письме другу в 1931-м году: «Друг мой... Жизнь человека короче жизни цветка. Цветок вянет и осыпается, так же сегодня смеющийся, радующийся жизни человек завтра, быть может, обречён навечно закрыть глаза, распростившись со всеми своими мечтами и стремлениями. И кто знает, будет ли у него могила, на которой прорастет трава».

Из документов следствия, продлившегося до осени, мы узнаём, что на допросах поэт оклеветал себя. Но обречён он был за несколько месяцев до этого - на «Списке лиц, подлежащих...» - подписи Сталина, Жданова, Молотова... Суд над поэтом продолжался всего двадцать минут – с 11:20 до 11:40. Поэта приговорили к смертной казни и в тот же день расстреляли. Могилы нет.

Тех лет суровых тёмный след
 в чертах твоих. Лишь вздохи
Роняет всяк, твоим убогим видом потрясён.

Прошёл твой тёмный век, старик,
К убогой доле ты привык,
Но сжался хоть над ней – не дай
Пропасть и ей, не обрекай
На участь жалкую твою.
Пусть выберет свою стезю.
В мороз и снег пусть не стоит
Здесь, на углу, дни напролёт,
В глазах тревоги не таит,
Печальных песен не поёт.

Пусть благоденствия звезда, что над отчизною сияет,
Её грядущую судьбу надежды светом озаряет.

Женщина

В дни испытаний, дни невзгод,
Она нам дарит утешенье,
В её безмерной доброте
И бескорыстии - спасенье.

Любовь, забытую тобой,
Она в душе хранит надёжно,
Достичь бессмертия земного
Лишь с силой, данной ей, возможно.

Скажи, какой цветок иль сад,
Какая из земных наград
Милее иль дороже вас?

О, лучшие из нас – жена,
Сестра и мать – где вам дана
Та власть и воля, что у нас?

Перевела с азербайджанского Пюста Ахундова

ПОЭЗИЯ

Ирина Маулер

Живое небо

Чёрная рать

Не с кем говорить - забери,
Не с кем говорить – нападай.
Это не друзья – дикари.
Не дружить идут - убивать.
Не жалею - в тебя, как в дрозда,
Без осечки - из-за спины,
Если не поймёшь - навсегда
Будешь ждать не мира - войны.
Значит, на плечо пулемёт,
Или что ещё - мне ли знать?
Что могу - писать горячо,
А ещё учиться стрелять.
А ещё сосать валидол,
А ещё считать имена,
И рыдать над ними в подол,
И сходить от страха с ума
За себя и тех, кто со мной.
Рядом дышит мой близкий дом,
И за тех, кто там, за стеной
Спинами от слова погром.
Не хочу учиться стрелять -
Мне бы песни петь о весне,
Но за нами - чёрная рать...
Мы стрелять научимся.
Все.

Сила слова

За волною волна,
За стеною стена,
За сиреной сирена.
Кто-то выпьет вина,
Кто-то плачет со сна,
Кто-то выключил время.

А кому - невдомёк,
что железный курок
чью-то жизнь зачеркнёт -
эта ненависть метит прицельно.
Эта злоба - откуда берётся она,
кто её разрешает сажать?
Ведь война -
это злобы проросшее семя.
Промолчать, не писать, не черпать эту боль,
говорить исключительно только с собой,
наложить жгут на раненый новостью рот -
и... никто не
Умрёт.
Всё так просто?
по числам,
по праву ума -
эта боль разлетится на части сама,
как бежит от жестокого мужа жена,
как бегут от погоста?
Все слова разобрать, зачеркнуть, отстирать -
чтобы легио в другую реальность собрать,
только море и только рассветы.
А Сирены - лишь те, что нам песни поют,
обещая красивую жизнь и уют,
а не вой восходящей ракеты.
Кто-то песни поёт, кто-то просто живёт,
кто-то должен словами закрыть чей-то рот
Без чинов и награды.
Слово может так много -
согреть и сгубить
и на рану повязку любви наложить,
может плакать, а может тебя вдохновить...
И убить. Может.
Если так надо.

Молитва

Храни народ мой - шумный, тесный,
Храни не честный, терпкий, злой,
Храни мой разный, мой небесный,
Мой невозможный, мой - любой.
Храни, не обижай, не смейся,
Не отводи в обиде лик,

Когда он о Тебе нелестно
В пылу обиды говорит.
Храни, не оставляй ни взгляда
И ни улыбки в стороне.
Прошу иди бок о бок, рядом
С народом в мире и войне.
Прошу Твою любовь и силу,
Твоё могущество в пути,
Чтоб жабу зверства раздавила
Твоя рука без жалости.
За злобу отплати сторицей -
Сотри с земли; и защити
Народ, который перед Ликом
Твоим - который век в чести.
Не наказанья, а расплаты,
Не примиренья, а войну
Ты объяви - и стань солдатом,
И защити Свою страну.
Испепели врага позором,
Казни на площади аятолл.
Чтобы он, мучаясь от горя,
В ад по горящей лаве шёл.
Я верю: слышишь и внимаешь,
Я знаю - Ты всегда со мной
И с теми, кто теперь, сражаясь,
Своей рискуют головой.
Прошу любовь Твою и силу,
Прошу любовь Твою и свет
Тому, которого, как милость,
Избрал для горя и побед.

Растерянность вопросом - в глазах,
Твоё напоминание - нельзя
В волшебные объятья - без слёз
Туда, где все родные - всерьёз.
В уютный город в этой стране,
В котором ни намека войне,
Туда, где все надежды в шелках,
Туда, где только радости страх,
Туда, где дверь на ключ, как причал,
Рука не на прикладе - плечах,
Туда, где только музыки пыл.
Туда, где ты меня так любил...

Страна магнолий и собак
у кромки моря,
страна, где вроде говорят,
а вроде спорят,
страна, открытая ветрам, дождям и странам,
и все по-русски, как бальзам, -
но иностранный.
И шум, и гомон, и урчит
восточный рынок,
и сладко пахнет тут хурмой и апельсином.
А на душе темным-темно,
но солнце рано
встаёт и лечит всё равно
на сердце раны.
Но, как себя ни уводи, как ни пытайся,
война со всех углов глядит, - а ты скиталец.
Ты просто шарик надувной голубо-белый,
а твой любимый и родной мир под прицелом.
Я целюсь словом и душой в тебя, исчадьё,
и заклинаю голос твой на все несчастья,
на нелюбовь, на страшный сон, на - в жизни лишний.
Я заклинаю. Только б Ты меня услышал...

Не игрушки

Это не игрушки - воевать,
Тут не в платьях новых щеголять,
Тут не красить ногти, пить вино,
Не смотреть любимое кино.
Здесь такая боль, такой накал
чувств, которых нет пока,
в двадцать, да и в сорок лет -
не должны вести по сердцу след.
Невозможно так; тебе сполна
время танцевать, сходить с ума –
«он не написал, он ждёт, он твой...»
Время восхищения собой.
В зеркале - огромных два крыла,
а под ними - синяя волна
глаз, а в них такая боль...
Господи! Прикрой её...
Собой.

Заколдованные

Неужели мы все заколдованы?
Неужели настолько бардак,
Что в войну, как в оковы закованы
И не выйдем оттуда никак?
Неужели пути заколочены
И дороги спасения нет,
Неужели мы все заморочены
Тем, что скажет о нас чёрный свет?
Беззащитны от злобы и зависти,
Лишь скажи, что ты избран на бой -
Будут рвать на куски тебя радостно
Те, что раньше дружили с тобой.
Ваши дети наивны и сладостны,
Не пугают их жизни дожди -
Наши, с каждой сиреною вражеской,
Узнают то, что знать не должны.
Наши дети - "живыми, с победою"
Каждый день призывают солдат:
"Возвращайтесь, пожалуйста, смелые
Наши сестры и братья - назад..."
А иначе никак не получится.
Как мы можем ещё устоять?
В этом мире с рождения заучивают
Наизусть - кто во всём виноват.
Угрожают нам нелюди, мороки,
И мечтают убрать навсегда.
А мы держимся яростно за руки...
Потому что иначе - беда.

Живое небо

Памяти погибших

Что делать - уезжать нет оставаться -
Где запятая, точка, где ответ?
Здесь столько лет... нет, столько опасаться
За жизнь, которой дважды нет,
Нельзя; мы спорим и решаем,
Не понимая больше ничего -
За что нам это тяжкое отчаяние
И слёзы расставания - за что?

За то, что мы незваные прохожие,
За то, что нам название - иудей,
За то, что не похожи цветом кожи,
Или душою на других людей?
За то, что подчиняться нету силы,
И лжи мы не сажаем семена,
За то, что наших мальчиков могилы
Из года в год меняют имена?

Не уезжай - здесь дом и здесь метели
Такие - апельсиновых аллей,
И пчёлы в лепестках, и птички трели...
Таких не будет у чужих полей.
Не уезжай - здесь солнце моет душу,
С утра до ночи шум и суета,
Не уезжай - нигде не будет лучше,
Или, вернее, буду я не та.

За что Ты нас наказываешь, Боже?
За что Ты нас не любишь - мы твои,
С рождения решаем ребус сложный -
Куда уехать от своей судьбы?
Ну, а пока - за нашу жизнь и землю,
За веру и за танцы до утра
Уходят в неизвестное, безвременное
Мальчишки из соседнего двора.

Уходят, не задумываясь дважды,
Рождённые под небом голубым,
Под этим беззастенчивым, отважным,
Под этим вопреки всему - живым.
И слёзы горько падают на плечи,
И боли бесконечной нет конца.
Не уезжай - здесь только время лечит,
Всё начиная с чистого листа.

Жизнь под прицелом

А ты живёшь не под прицелом?
Дела обычные, идёшь за хлебом,
дорогу переходишь, смотришь в небо
и забываешься минуты на три бегло.
Листаешь новости, включаешь телевизор,
задумчиво проходишь по квартире,

здесь пыль, здесь душу срочно красить...
Из окон шум - кипят чужие страсти.
Кипят, клопочут страсти на планете
под именем Земля; тебя приметив,
кипят от важности, кипят от перегрева
твои слова, в твоё одевшись тело.
Всё на пределе - улицы в машинах,
и звуками заполненные шинными
мозги уже кипят от пересдачи,
шатается планета, точно плачет.
Землетрясение вранья и брани,
но воздух зимний весь пропах цветами,
и нежность белой кошкой по крыше
проходит, и её пока ты слышишь.
И забываешься - а как ещё в походе
по жизненной загруженной дороге,
где под прицелом жизнь, - душа под стрессом
года листает с ложным интересом?
Мы строим замок из брони и стали.
Любовь и Веру, не под стать нам,
Пришли скорее, вся душа в тумане,
болит - и тело этим ранит.
Пришли скорее; времени нет дела,
Что мы живём с тобою под прицелом.
Который век душа в разводе с телом.
На этом свете - чёрном или белом...

День сто двадцать первый

Яффо, суббота, джипсикинг,
сидишь один,
музыка качает волной морскойю,
состояние покоя.
А если тишина
над головой - война
летит мотором самолёта...
Танцует кто-то,
забывая отключиться от «макарены»,
в голове - обмен пленными,
и на плечах усталость;
сколько ещё таких дней
нести осталось?
На себе - тяжёлая ноша,

очень хочется сбросить.
Просишь немного солнца на куске хлеба
и много чистого синего неба -
без подозрений
на мороз,
стужу,
в душе - дни кружат лужами,
листьями памяти,
листьями времени,
страна моя жестоководного племени.
Ты рядом, занозишь душу,
скучное время болью душит.
Яффо, день сто двадцать первый -
с того дня, что все на нервах.
Дни светят совсем осторожно -
мы привыкли, хотя и сложно.
В такие пасмурные - нирвана моря
лечит, лечит и вылечит... скоро.

Тёмное веселье

Я об этом ещё поплачу.
Осень будет тоскливой, длинной.
Всё могло сложиться иначе.
Но забудем. Не плачь, Poline.

И какая нужда, что проку?
Вот поручик — он едет драться.
Поглядит увлажнённым оком —
и убит. Вот изволь смеяться.

Вместо клятв и признаний жгучих —
тонет скорбь в голубом конверте.
То ли смерть выбирает лучших,
то ли лучшие ищут смерти.

Им не знать, как на летних дачах
вдов вчерашних улыбки сладки.
Ты одна ещё горько плачешь
на плече у меня украдкой.

Но и ты не найдёшь отрады
в торопливых слезах среди ночи.
Сердце будет иному радо.
Улыбайся, смежая очи.

Ветер новую вьюгу вертит.
Улетит и оставит слякоть.
Не затем ли желают смерти,
чтоб невесту заставить плакать?

Так оставь возносить молитвы
о мужах, чьи пути лукавы.
И утешься: утихнут битвы —
их поманит иная слава.

Не любовь и не жажда власти —
над тобою ли, над другою.
Здесь немногие ищут счастья.
Остальные — просто покоя.

Оботри солёную влагу.
Не на то ли они — солдаты:
не уймутся, пока не лягут —
посреди полыни и мяты

под большим молчаливым камнем,
на котором сотрётся имя.
Не тревожься: мы так же канем —
среди мяты, среди полыни.

Не плачь, моя бедная Лиза,
о том, что судьба тяжела:
зачем не княжной, не маркизой,
а женщиной только была?

О горькая женская доля —
сбирать луговые цветы!
Охота, что пуще неволи —
сжигать за собою мосты!

Извечна грядущая повесть,
плетение сладких словес:
герои, забывшие совесть,
да вопли убитых невест.

Не сыщешь в поднебесье рая,
не станет земное — благим.
Сплетай свой венок, дорогая,
и злобной судьбы не беги.

Коль так же светило сияет,
и сладок медлительный зной,
сплетай свой венок, дорогая:
нам нету заботы иной.

Как хороша зима, должно быть, в Ницце:
весёлые гуляют пешеходы
и украшать рождественские ёлки
торопятся прозрачными свечами.
Легчайший снег кружится над плечами
и выпрямляет завитые чёлки.

Попыхивают трубки мореходов.
Как весело, хотя и не в столице!

Закручивают ус рукой привычно
красивые и сильные мужчины.
Их женщины примеривают платья,
покуда взапуски резвятся дети.
Всем дело есть весёлое на свете,
лишь мне никак не сыщется занятия:
я не люблю смеяться беспричинно,
и плакать, в общем, тоже неприлично.

Только успокоишься, разложишь
злую мелочь по худым карманам,
сосчитаешь горькие пожитки
и ручьи солёные осушишь —
новая напасть спешит нарушить
равновесье и сулит убытки,
словно камень упадёт в тумане
в гладь воды и всплеском растревожит.

Быстрая, лёгкая стрекоза
в небе парит.
Хочешь глядеть — открывай глаза
прямо в зенит.

Там, в светоносном чертоге дня,
из-под лучей
не разглядеть ни тебя, ни меня.
— Чей ты? — Ничей!

Словно пылинки пляшут в луче —
вместе и врозь.
Сдует, растащит, сметёт — зачем,
чем и жилось?

Что ж, нам и дела — пляши, молись.
Луч оживит
танец пылинок, летящих ввысь —
в светлый зенит.

Всё равно я останусь счастливой
на большой развесёлой земле —
обрывать лиловые сливы
и ходить в лебединый балет.

Мне устроит суровую школу
персонаж звукового кино,
но я стану простой и весёлой,
и мне будет всё равно.

Ты будешь мой самый глубокий вздох.
Пусть катится звонкая денежка — жизнь,
но в час, когда душу поднимет Бог,
ты будешь мне — искупленье лжи.

Ты (имя), звенящее здесь и встарь —
в Египте и Новгороде — внемли:
ты (имя), кричавшее: князь и царь —
в пределах родной и чужой земли!

Я имя твоё положу к ногам
Владыки, вершащего Страшный Суд,
и душу к распахнутым воротам
тишайшие ангелы унесут:

в пустой, запредельный, блаженный край,
где дни и эпохи — капли дождя,
в высокий и светлый, покойный рай,
где я, наконец, забуду тебя.

Пришёл однажды человек к Богу

1. Пришёл однажды человек к Господу Богу.

– О Господи! – говорит. – Вот Ты трудился, не покладая... ничего. Отделил свет от тьмы, создал небо и землю, посадил растения, создал зверьков всяких – меня в том числе. Женщину вот мне сделал. Ответь, о Боже – почему ж так тошно-то?

– На вот тебе, на! – ответил Господь Бог. – Только не хнычь! И дал Бог человеку снег.

Посвящение ёлке

Разбираю новогоднюю ёлку
Ёлка знает, что во зло, а что милость,
И что нету от неё нынче толку –
Столько снега на душе накопилось.
А вот этот шар, что выгнулся зябко,
Цвета детства моего вместе с братом.
На торжественную ёлкину лапку
Его мама надевала когда-то.

Начинается февраль, и всю хвою
То ли снегом замело, то ли пылью.
Колокольчик мы купили с тобою,
Ну а шишку нам друзья подарили.
Этот шар почти нисколько не весит,
Сверху зелень, снизу цвета кармина.
Тебе было девять лет или десять,
Ты болела корью и скарлатиной.

Эту ёлку мы ведь выбрали сами,
И она, от января-староверца
Защищая нас худыми ветвями,
Все снежинки приняла близко к сердцу.
Подметаю пол у стенки и полок,
Только дальний угол мне незаметен,
Где иголки повстречают иголок,
Что живут там целый год меж паркетин.

2. Пришёл однажды Господь Бог к человеку и говорит:
– Слушай, Я вот тут тебе недавно снег выдал. И что-то у
Меня не сходится по смете. Откуда ты это взял?
– Ага! – говорит человек. – Ты тоже заметил!
– Ещё бы Я не заметил, – отвечает Бог. – Вот тут у Меня
всё по списку: метель, позёмка, сосульки-снежинки. А это вот
что такое, а?
– А это, – отвечает человек, – предчувствие праздника.
Дарю!

Карманный ангел

Кто прячет секреты в глухих закромах,
А кто под подушкой из ситца,
А я ничего не скрываю впотьмах –
Мне неинтересно таиться.
Но тайну мою даже при свете дня
Никто никогда не узнает:
Мой ангел в кармане живет у меня
И тихо на флейте играет.

Уже больше года в карман не возьму
Предмет, тяжелее пушинки.
Туда я вколот для комфорта ему
Иголку от швейной машинки.
Смывает ли дождь городские огни
Иль кружится снег постоянный –
Отныне в году лишь погожие дни,
Со мною мой ангел карманный!

Он так отзывается в жизни моей
На каждый особенный случай:
Любая удача теперь веселей
Под звуки мажорных трезвучий.
Не ладится дело, хромает строфа
Иль почта давно не приходит –
На флейте барочной тоскливое фа
Мой ангел карманный выводит.

Вчера поздно вечером я повстречал
Знакомого мне музыканта –
В пустом переходе метро он играл
Негромко на флейте анданте.
Скажи мне, кому ты играешь сейчас,
Какой ожидаешь награды?

Ответил он: «Скоро экзамен у нас,
И мне репетировать надо».

И вот я остался опять одинок,
Иголка ржавеет в кармане.
Я знаю, что мир мой имеет свой срок
И существовать перестанет.
Расколется небо, сметут города
Небесного воинства фланги,
И в громе их труб я услышу тогда,
Как славно играет мой ангел.

3. Пришёл однажды человек к Господу Богу и говорит:

– О Господи! Вот Ты снабдил меня логическим аппаратом
и научил критическому мышлению. И теперь я знаю, что всё
имеет своё обоснование и научное объяснение. Всё рабо-
тает, как часы, спасибо!

– Какого ж рожна тебе ещё? – спрашивает Бог.

– Да вот, понимаешь, – говорит человек, – Я умею отличить
хорошее от плохого, земное от неземного, горькое от слад-
кого. Но вот не понимаю, где реальность, а где мистика. Не
заложил Ты в мою конструкцию таких рецепторов. Что де-
лать?

– Ну ты и зануда! – сказал Господь Бог и дал человеку ре-
вербератор.

Игра в банки

Как летит бита битая моя над морем серого асфальта!
Банка мятая на кирпич в меловый круг
– и нет желанней цели.

Что же ты не идёшь на свет,
не продолжаешь кон и не отводишь глаз?
Самолёт ли невидимый или муха в голубой жаре?

Птица здесь не летит – собьют; не по злобе,
скорее по привычке.

Здесь не падают на бегу
– такая музыка стеклянной крошки.

Сбита цель – за черту, пора
быть начеку, открыт охотничий сезон.
Отвернись или не молчи, но внимание не привлекай!

Кто зайдёт за пределы поля,
тот сегодня с нами не играет;

– А! – говорит вдруг человек. – Знаю, чего Ты боишься.
– И чего же? – удивляется Бог.
– А того, что Тебя могут неправильно понять! Знакомое ощущение: ходишь потом, как дурак, а ничего сделать не можешь. Но не волнуйся, если вдруг так случится, сразу зови меня, я помогу!
На том и порешили.

Баллада о том, что все люди умеют летать

Посвящается Михаилу Анчарову

Достав чистый лист бумаги и глядя куда-то дальше,
Поэт написал семь строчек, не зная пока, о чём.
Мигнула ночная лампа, и кто-то поёт: «Давай же,
Давай же, вот продолженье» и водит его плечом.
И слово идёт за словом, сплавляясь в одно дыханье,
И мечется странная птица в клетке четыре на пять.
Осталось поставить дату, затем придумать название.
Поэт, улыбнувшись, пишет: «Все люди умеют летать».

Окно открывает настужь, за ним рассвет, как обычно.
Поэт засыпает рядом с окном, уронив листок.
Стихи планируют плавно вдоль дома стены кирпичной,
Пока не ложатся точно к прохожему под сапог.
Прохожий глядит на небо, под ноги. Читает украдкой.
Берёт осторожно в руки, как будто птенца или мышь.
Затем, усмехнувшись, прячет листок к себе за подкладку
И, пару раз оглянувшись, взмывает до самых крыш...

Поэт проснулся от шума, а солнце уже в зените.
Откуда здесь столько чаек? Да нет, не чаек – людей!
Пока он так просыпался, к нему, поправляя китель,
Слетел участковый знакомый:

«Ну что, не слыхал новостей?

Забыты метро и трамваи, машины стоят у обочин,
Все люди летать умеют, возьми, почитай, чудак!»
Но тщетно поэт пытался взглядеться в свои же строчки –
Все люди летать умеют, и только он сам – никак.
Ах, что же ему поделать – грустит он за тёмной шторой,
Но что-то его толкает и снова поёт: «Пиши!»
А то, что он не летает – не стоит и разговора;
Поэт достаёт бумагу и ищет карандаши.

6. Пришёл однажды Господь Бог к человеку и... А тот сидит такой задумчивый, в окошко смотрит. На Бога – ноль внимания.

– А помнишь, – говорит, – как мы в кино ходили? У нас недалеко от дома афиша висела. Наши кинотеатры были здесь, здесь и здесь. Утренний сеанс десять копеек.

Бог только плечами пожимает. А человек продолжает:

– А помнишь, как нас за квасом посылали? Бидон такой был, с деревянной ручкой. Можно было вот так делать, пока идёшь...

– Ну что ты пристал? – говорит Бог. – Не помню я ничего.

– То есть как не помнишь? – говорит человек. – А как сирень во дворах обрывали? А потом у прохожих двушку стреляли, чтобы девушке позвонить? У тебя что, вообще никаких воспоминаний нет?

– Ну, нет, – говорит Бог. – Нет!

– Понятно. – говорит человек. – Ну ладно, не расстраивайся! Бери пока мои, а потом что-нибудь придумаем.

Старый ковёр

Там на стене висит не гобелен –
Простой ковёр советского мещанства,
Собравший электричество и тлен
В одно неповторимое пространство.
Где по траве, ступая между снов,
Под чёрным небом, днями и ночами
Олени из невиданных лесов
Проходят бирюзовыми ручьями.

Та сторона – подчинена теплу;
За дальним лесом, в бархатной печати
Горит ночник, машинка на полу
Видна неподалёку от кровати,
Ботинок мой, испачканный в мелке,
И мамин плед, и старая газета,
И тень, что разлеглась на потолке,
От вечно непонятного предмета...

Там никого, лишь детская звезда
Пылает без конца и без начала,
И только Бог заглянет иногда –
Польёт цветы, поправит одеяло,
Затем выходит в небывалый лес

И ждёт над голубыми берегами,
Как будто бы определяя вес
Моей души

ветвистыми
рогами.

7. Пришёл однажды человек к Господу Богу.

– О Господи! – говорит. – Вот Ты трудился, не покладая... ничего. Отделил свет от тьмы, создал небо и землю, посадил растения, создал зверьков всяких – меня в том числе. Женщину вот мне сделал. Скажи, а отдыхал Ты когда?

– Ага! – смеётся Бог. – А отдыхал Я на седьмой день. Лежал и ничего не делал, трещину на потолке изучал. Хочешь так же?

– Да нет, – говорит человек. – Мне так глобально не надо. Я ж понимаю, у Тебя день – это тысячелетие. Мне что-нибудь по моим меркам.

– Да пожалуйста! – говорит Бог. – Вот тебе шабат, пользуйся. Только не путай его с шабашем.

– Спасибо! – говорит человек, – Вроде у меня уже и так есть. Мне бы чего поменьше.

– Перекур, что ли?

– Ну, типа того. Но чтобы и для некурящих подошло.

– Вот пристал! – говорит Бог. – Ладно, да будет тебе антракт!

И стал антракт!

Антракт

8. Пришёл однажды человек к Господу Богу и говорит:

– О Господи! Я вот давно хотел Тебе сказать, да всё никак не решался. Не мог сформулировать.

– Ну, говори уже, не тяни резину!

– Вот я работаю, Господи, в поте лица своего. Тржусь ежедневно, на зверьков охочусь, землю возделываю. Дерево сажаю там, сына, дом, как положено. Но всё это как-то однообразно. Рутину, понимаешь. Не-не-не, шабат и перекур у меня уже есть, спасибо!

– Интересно, а чего ты хотел? Что надо-то?

– Хочу, Господи, переживаний необыкновенных! Приключений захватывающих. Но только, чтобы со мной ничего плохого не случилось. И чтобы это вроде как я был – и вроде как и не я.

– Понятно, – говорит Бог. – Психическая депривация, знакомо. Ничего, у Меня где-то тут заначка была одна.
И выдал Бог человеку целый мешок сновидений.
– Но учти, – говорит, – Я туда не смотрел. Это пусть твой мозг сам развлекается. Ну всё, бай!

Фантазия ре-диез

Лето плывёт по небу, облако серебрится,
Кот, забредя в малину, там от жары залёг.
В этой янтарной капле с трелью небесной птицы
Ко мне прилетел и нежно сел на руку мотылёк.
Лёгкий, почти бесцветный, словно в накидке пыльной,
От ветерка трепещет – замер я, не дыша.
В чём там душа, неясно, – только глаза да крылья.
Что ты, скажи, от жизни, хочешь, моя душа?

Мне отвечает смело божья эфемерида,
Правило нарушая собственной немоты:
Та, что дрожит от ветра и неказиста с виду,
Хочет, представь, того же в точности, что и ты.
Чтобы день продолжался в радости и сияньи,
Чтобы была недвижна ласковая ладонь,
Чтобы моя надежда встретила в мирозданье,
Чтобы не больно жёгся выбранный мной огонь.

О, мотылёк волшебный, как же ты хрупок, если
Ветер тебя подхватит – скроешься вдалеке!
Пусть тебе сон приснится, как ты спишь в этом кресле,
Пусть мне приснится, будто дремлю на твоей руке.
Трель заполняет небо. На горизонте длинной
Зубчатой полосой синееет далёкий лес.
Кот исчезает в дебрях, фыркая от малины.
Короток сон полдневный.
Фантазия ре диез.

9. Пришёл однажды Господь Бог к человеку и говорит:
– Слушай, у меня тут книги из библиотеки стали пропадать.
Нище там, Маршак, Пелевин... Ты не брал?
Человек чувствует, сейчас его на жареном поймают – и давай тему менять.
– А вот скажи, Господи, у Тебя так бывает, что Ты кладёшь какую-нибудь вещь на место, а потом отвлекаешься на что-нибудь, ну, там на хобби – и обо всём забываешь?

– Выпадение памяти, что ли? – спрашивает Господь. – И что это за хобби такое?

– Как? – говорит человек. – Ты не знаешь, что такое хобби? Это любимое дело! Дел вообще много бывает, но хобби – это только для себя. Оно, может, и неважное совсем. Я вот люблю книги читать... и цветочки собирать. А у Тебя есть хобби?

– Что за глупости! – ворчит Бог. – У Меня все дела важные.

– А ты заведи себе хобби! – советует человек. – Марки там собирать или мышей разводить.

– Мышей? Да мне вас, людей, хватает! Но за идею спасибо!

Литературный блюз

Добрая примета – мышь в библиотеке.
Доживёт до лета – и сбежит навеки.
Тонны лучшей прозы, все стихи поэтов –
В море целлюлозы мышь плывёт корветом.

В царстве фолианта мало коленкора,
Мышь сгрызает Данте вместе с Кьеркьегором.
И, предпочитая сыру мудрость мира,
Сладко засыпает на груди Шекспира.

Oh, wonder fulmouse Петрарки или Франчески!
Мышь – Клод-Леви Страус,
Мышь – Камю с Достоевским.
Ах, к ней придёт не случайно
весь цвет науки с поклоном:
Ave, мышь, почитай нам что-нибудь бустрофедоном!

Мышь в библиотеке, дождь стучит с присвистом –
Римляне и греки, дзен и футуристы,
Джойс и Ибн Сина – так проходит лето.
Грустная картина – добрая примета.

10. Пришёл однажды человек к Господу Богу и говорит:
– О Господи!
– Ну, чего тебе? – спрашивает Бог.
– Да вот, – говорит человек, – Хочу пожаловаться на несовершенство своего устройства. Вот у меня сейчас жизнь стала очень интересная – новые впечатления, путешествия, увлечения. И я хочу всё это запомнить покрепче, чтобы сохранилось. Запоминаю, запоминаю – а потом вспоминается только какая-то фигня. Отчего ж так?

– А! – говорит Бог. – Помнишь, ты Мне как-то про любовь рассказывал. Это примерно так же и работает. Пихаешь туда и того, и сего, и этого – а потом смотришь внутрь: а там какая-нибудь ракушка. Или котёнок с помойки.

– Фу! – говорит человек. – Брысь отсюда!

– Э нет! – говорит Бог. – Считай, что этого котёнка Я тебе выдал.

Догнать котёнка

Свежеет, и ветер такой, как в детстве,
Когда мир бескрайний зовёт из дома,
Когда ты свободен до самой ночи.
Конечно, всё сделать не успеваешь,
Но было б неплохо успеть сначала
Догнать котёнка,
Что убежал в поле.

Нам снился один и тот же котёнок.
Во сне он царапался и кусался.
Нам было так важно узнать друг друга,
Нам было так важно изведать нежность,
Что не было дела для нас важней, чем
Догнать котёнка,
Что убежал в поле.

Светает, и ветер почти унялся.
Кончаются ворохи старых писем,
Но как рождалось тепло в ладони
И как беспечна была свобода
Вернуть из прошлого – всё равно что
Догнать котёнка,
Что убежал в поле.

11. Пришёл однажды Господь Бог к человеку и говорит:

– Ну, вот что ты творишь, а? Это уже ни в какие ворота не лезет!

– Вот что началось-то? – говорит человек. – Нормально же сидели!

– Нет, ненормально! – говорит Бог. – Я же вижу, ты ходишь на Меня обиженный и молчишь.

– А чего говорить-то? – ворчит человек и отворачивается.

– Просто открой рот и скажи, что не так. Словами! Это же очень просто! Вот смотри, когда мне что-то не нравится в реальности, Я беру и переписываю нужные фрагменты заново...

– А что, так можно было? – от удивления человек даже забыл про свои обиды. – Ну, тогда бери ручку, записывай! Сейчас я Тебе фрагментов-то накидаю!..

Клезмерская сюита

За околицей местечка как-то летним жарким полднем
Трое клезмеров бывалых собрались поговорить.
И поднялся старший клезмер, из футляра вынул скрипку,
Положил смычок на струны и сказал примерно так:

– Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!

Что, конечно, означает:

«Что за жизнь, иди! Сколько можно сидеть без работы? Ни свадеб тебе, ни праздников, не то, что раньше!»

Помолчали остальные, только травы шелестели
На ветру, пока не канул в тишину последний звук.
И взмахнул своим кларнетом клезмер юный и кудрявый -
Над околицей местечка прозвучал его ответ:

– Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!

Что, конечно, означает:

«Вэйзмир, дядя Мойше! Вас послушать, так можно подумать, что люди вообще перестали жениться и веселиться!»

И опять вокруг всё стихло под палящим летним солнцем,
Лишь кузнечик на травинке незаметно стрекотнул.
И поставил третий клезмер контрабас, как будто мачту,
И по грифу пробежавшись, подытожил разговор:

– Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!

Что, конечно, означает:

«Давайте не будем дрожать, пока зима не пришла. Говорил раби Акива: всё, что Господь ни делает – всё к лучшему».

Ветерок

Траву колышет далеко

До горизонта, клезмеры играют за околицей –

Бежим послушать!

Никого...

Лишь птичий щебет в небесах,

Да стрекотанье.

Как же эта музыка звучит –

И сам не знаю!
Никого!

Так играли эти трое за околицей местечка,
Словно нет на белом свете никого помимо них.
Только птицы луговые, да кузнечики на стеблях,
Да свободный тёплый ветер их и слушали тогда.
– Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!

Что, конечно, означает:

«Вы как хотите, реб Менахем, только чтоб все враги Израиля
так жили – с этими ценами, что у нас на базаре!»

Поклонились музыканты и, сложивши инструменты,
Разошлись своей дорогой, каждый в сторону свою.
Кто-то в Луков, кто-то – в Радом, кто-то – в Пинчов по тро-
пинке,

Но как будто снова слышно над примятою травой:

– Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!

Что, конечно, означает:

«Ах, какие там гусиные шкварки! И, кстати, наш Ицик уже
подбивает клинья к хозяйской дочке».

Пролетали дни и годы, и столетие сменилось.
И не то, чтобы околиц – никаких местечек нет.
Никого там не осталось, фотографии сгорели,
Камни в землю погрузились – ни имён, ни точных дат.
– Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!

Что, конечно, означает:

«Что же ты, шлимазл, опять в каденции берёшь бекар, когда
там должен быть дизель!»

Ветерок

Траву колышет далеко

До горизонта, клезмеры играют за околицей –

Бежим послушать!

Никого...

Лишь птичий щебет в небесах,

Да стрекотанье.

Как же эта музыка звучит –

И сам не знаю!

Никого!

12. Пришёл однажды человек к Господу Богу – а Господа
Бога и нет. Человек чуть не поседел. Спрашивал повсюду –

у тех, у этих: никто не видел, не знает. Порвал тогда человек свои одежды, посыпал голову пеплом и пошёл домой.

Смотрит – а навстречу ему Бог идёт.

– Фух! – говорит Бог. – Вот ты где! Ты, если куда-нибудь уходишь, записку оставляй, что ли! А то это как-то не по-божески.

А человек от радости вообще все слова забыл. Хочет что-то сказать, да не может.

– Ладно! – говорит Бог. – Пошли лучше ко Мне, я тебе свою коллекцию покажу. Хобби у меня такое.

– А что ж ты собираешь, Господи? – спрашивает человек.

– Ну, такое... Сослагательное наклонение, – отвечает Бог.

– А книжки, кстати, можешь себе оставить.

Ностальгия

Травы по пояс очерчены горизонтом.

Час электричкой, автобус, потом пешком.

Где-то в глубинах памяти, в иле придонном,

Зашевелился воспоминаний ком.

Это рабочий посёлок, ударная вахта.

В прошлом его основал некий царь Комсомол.

Здесь я родился, отмечен был в книге актов,

Здесь беззаботное детство своё провёл.

Силюсь припомнить строчки известной песни,

Камушком вызвал окружности на воде

И не могу совершенно понять, хоть тресни –

Где ностальгия, где ностальгия, где?

Здесь бы я вырос в рабочего человека:

От ПТУ прямиком до фабричных ворот.

После бы, может, устроился в библиотеку,

Выгонят – снова вернулся бы на завод.

Так до седин бы мотался туда-обратно –

Книги, станки, формуляры, песок, цемент...

Что-то тут надо почувствовать, вероятно, –

Как говорится, «этот неловкий момент...»

Ну а душа моя так и не знает сноса.

Есть, чем заняться ей в радости и в беде.

И для неё вообще не стоит вопроса:

Где ностальгия, где ностальгия, где.

Дальше гадать бессмысленно, я не гений –

Что бы я в жизни постиг, а чего бы не смог.

Сумма моих сослагательных наклонений

Только в итоге страдательный даст залог.
Время не ждёт, расписание есть на симке.
Вот и автобус обратно, билет пробит.
Таёт рабочий посёлок в положенной дымке,
Спит, зеленеет и нежно куда-то глядит.
И до тех пор, пока гонит небесный ветер
Шар голубой по космической борозде,
Пусть не придётся нигде мне искать на свете,
Где ностальгия, где ностальгия, где.

13. Пришёл однажды человек к Господу Богу.

– Так, стоп! – говорит Бог. – Погоди жаловаться. Помнишь, Я тебе шабат выдал?

– Ну, помню, – говорит человек.

– А помнишь, – говорит Бог, – Я просил тебя не путать его с шабашем? А ты чего учинил?

– Вот те на! – говорит человек. – А мы хотели Тебе праздник устроить. У Тебя же день рожденья сегодня!

Фотография

Мы будем счастливы, когда наступит лето
Пусть дни короткие торопятся и тают,
По воле случая мы из страны Советов,
По воле случая... И птичка вылетает.

Мы будем счастливы, когда наступит осень,
И по оконным переплётам дождь заплещет.
Мы ничего не ждём, мы ничего не просим
И не боимся всадников зловещих.

Когда зима окно узорами оформит,
Достанем тёплый шарф и лыжные ботинки.
И зашнуруем их друг другу на платформе,
И за подснежником поедем по тропинке.

А там, глядишь, и до весны совсем недолго,
И нам опять семнадцать, истина простая –
Ведь так написано, что разольётся Волга,
Ведь так написано... что птичка прилетает!

14. Пришёл однажды человек к Господу Богу и говорит:

– Спасибо!

– За что? – удивляется Бог. – Или это сарказм? Я что-то не так сделал?

– Да нет, всё нормально! – говорит человек. – Просто спасибо и всё!

– Не понимаю, – говорит Бог. – Спасибо бывает за что-то.

– Да ни за что! Не бери в голову, просто у меня настроение хорошее. Тебе что, никогда просто так спасибо не говорили?

– Вроде нет! – говорит Бог.

– А прикинь, так тоже можно! Ну ладно, пойду я. Ещё увидимся!

Музыка времени

Музыка времени ровно звучит
Облачным днём или в ясной ночи.
Надо прислушаться только и вот –
Нота твоя свое место найдёт.

Под батарею, где много тепла,
Кошка Марыся котят принесла.
Их по соседским домам разберут,
Самый красивый останется тут.

Пусть не тревожит нас выбор пути –
Улица тропкой смогла прорасти,
Тропка в траву канет наверняка,
Где в стрекозиных глазах облака.

Дай же нам, Господи, если не лень,
Чутьочку смысла на завтрашний день,
Чтоб не остался никто одинок,
И в телефоне горел огонёк!

«...так я писал письмо, я писал письмо.»

рукой сбивая буквы на лету,
пишу вперёд смотрящую строку,
такую, что сидит на верхотуре,
на бром-брам рее... или как её..?
кричит: "земля! смотрите! ё-моё!"
знак препинанья, накурившись дури,
над ней хохочет.
что ты ржёшь, дурак?
услышь, как ветер стал правдив и как
солёная и голубая глина
курлыкает по днищу корабля.
"смотрящая вперёд" кричит: "земля!",
и мы - знак препинания и я, -
мы видим берег Иерусалима.
всё будет правильно.
мы сядем в шлюпку и
собрав все буквы, все слова свои,
сойдём на "нет ни смерти, ни калёной
иглы под сердцем".
нам достанет сил
и птиц и волн...
сойдём и воскресим
всех.
по родам, по семьям, поимённо.
убористо, убористой ещё,
ещё убористой, чтобы они друг к другу
прижались так, как, ожидая вьюгу,
друг к другу жмутся жители трущоб.
плотней, ещё плотнее,
плотно так,
чтоб многоточье стало вертикальным,
чтоб россыпь знаков обернулась камнем,
чтоб в каждом знаке жил соседний знак.
и вот тогда,
прижав его к глазам
проникнуть внутрь, смотреть и удивляться,
в прожилках неразборчивого кварца,
всем будущим, всем прошлым временам.

когда в стручках Венецианских лодок...
когда мы проплывали под Риальто...
когда мы были гражданами мира,
печалились под музыку Вивальди...
о, ворон мой,
как ты смеялся клювом
по сердцу мне,
когда я изменялся
в бордовый цвет мадонны Тициана...
что знали вы о времени, поэты?
о дымчатом топазе, сердолике,
что знали вы о насекомых буквах,
о нотных знаках Иерусалима?
о, ворон мой, терзающий плечо мне.
какое счастье коготь твой, твой ветер,
твой шорох фиолетовый.
открою
окно,
зажгу конфорку, чтоб согреться,
и стану наблюдать, как к Набатеям
селениям, с мешком смешных подарков,
кнутом колючим щёлкая оленей,
спускается какой-то Санта Клаус...

так я писал письмо, я писал письмо...
чертополохом, всполохом языка,
зимним рубином, тугой дождевой тесьмой.
так выводила в тетради моя рука:
"всё о свечении звёзд,
о сетчатке сот.
всё о медовой влаге, любви, любви."
юго-восточный ветер стучал в висок.
"кто там?" – я спрашивал.
"это свои, свои..."

...так из угля зияла чернота.
так над углём, как белая фата,
невесту ищущая,
плача о невесте,
порхала бабочка.
мело по всей земле

горелым мясом.
так я жил в золе,
шепча, забывши о добре и зле,
"мне больно бес, мне не хватает мести."
всходила ночь.
я подползал к окну.
сцарапывал с лица слезу, луну..
соскабливал со щёк небритых сажу.
в окне напротив мой стоял сосед.
курить пытался, выл на лунный свет,
свою слезу сцарапывая также.

хватит вранья.
не было, не было снега.
если и шли с дарами, то шли по глине,
или по щебню.
в небе висела Вега.
хватит вранья – она не видна в пустыне.
вечером зимним так лиловели листья
лоз виноградных, как Суламифи очи
в час откровения.
смерть попирают жизнью,
мужеством тела.
хватит вранья, сыночек.
хватит голландцев малых, бельгийских кружев.
батя осла развьючит, стопарик выпьет,
я спеленаю страсти твои потуже,
мы остаёмся,
ну его, тот Египет.
мы остаёмся.
будем смотреть, как тянет
сети рыбак,
как пахарь ждёт урожая.
будем рождать, будем ходить путями...
в смысле не убивая,
не убивая.

...и составлять из словоочертаний
то облако, то придорожный камень,
то женщину, то чуткой птицы шорох,
то мать с отцом, смеющихся чему-то.
и вечер был, и после было утро.

и говорить, что это хорошо.
и говорить, что хорошо всё это.
тревожна птица, женщина раздета,
и камень сух, и воздух соляной
пружинист,
и в соседнем доме снова
какой-то бомж колотит в дверь Иова,
крича: "Иов, поговори со мной!"

в середине пустыни коричневые холмы.
глаз, почувствовав геологию, выбывает из строя,
в смысле слезится.
археоптерикс кричит "курлы".
меловой период мне давит на дно глазное.
у дороги стоит...,
словно цапля, стоит солдат.
на носу очки...
подвезу его.
аккурат
по пути нам,
туда, где железо дрожит от жажды
исполнения пророчеств.
вот едем мы, вот молчим.
он молчит теилим,
и я молчу теилим.
шестикрылый, о лобовое шмякает серафим.
ну понятно - пустыня,
они тут за камнем каждым...

ночным осенним воздухом не спать.
молекулы считать деревьев вдовых.
открыть на кухне кран, смотреть на воду.
часов настенных звук не узнавать.
встать у окна и обнаружить стих,
за темнотой, за самолётным рыком.
включить ночник, взять с пыльной полки Книгу.
перечитать юродивых своих.

и так вот остывает голова,
молчит и остывает голова,

глядит и остывает голова...
Рахели плач перерезает горла -
той левой, что балакает слова,
той правой, что балакает слова,
той средней вздорной, вздёгнутой.
изнорной
моей души,
свивающейся в жгут,
в железный прут, завязанный булинем,
сочится пурпур, пепел, Божий суд.
так этой стыни злополучный иней
дыханием счищают сыновья
(свободны и прямы, не то, что я),
правдиво, талионно, по старинке,
когтями в глину втоптывая смерть -
Иуда - лев, и Иссахар - медведь...
мы были на экскурсии
в Треблинке.

ещё промокшая листва
в саду губами шевелила.
ещё ночная птица взмыла
с ветвей, ведущих в никуда.
ещё прохладный апельсин
темнел, качаясь и рыдая,
ещё, как старец увядая,
дождь моросил.
дождь моросил
среди развалин и трущоб
ночной подрагивавшей флоры,
ещё способность разговоры
не говорить была ещё
жива,
ещё молчать слова
уменьше было с нами рядом.
и если кто хотел сказать:
"люблю тебя" – мог указать
на дождь или на звёзды взглядом.

с какой-нибудь Голанской высоты
посмотрим на Восток.
внизу посты
ооновских творцов любви и мира.
потом на Север и левей - Ливан.
там перламутр, там виден караван,
везущий кедры для Иерусалима.
ещё левее, глянем на Тавор.
там Пастернак и Август...
не в укор
поклонникам кириллицы, но взору
предстанет не поэтское стило,
а ветхое арабское село -
Дабурия, хранящее Дебору.
потом мы развернём свой взгляд на Цфат,
на крючковатый город.
виноград
стекает там с холма, с камней,
олива
корою смятой время сторожит.
там рабби Лурия под камешком лежит -
ссутуленный певец Большого Взрыва.
а рядом камень – рабби Куриэль.
который пил неразведённый эль,
("Шма Исраэль" шепча)
за пинтой пинту.
сжимал в руке просоленный штурвал...
на корабле свинину запрещал...
который брал Тортугу вместе с Флинтотом.
так обернувшись вокруг своей оси,
посмотрим вверх.
еси на небеси
сидит, молчит, зализывает раны.
а мимо, словно песня про сурка,
роскошные струятся облака,
прозрачные, как сети рыбака,
как лифчик Милы Кунис, из рекламы...

Поэтов нет плохих

Мост

Мне с моста Мирабо
прыгнуть в Сену слабо,
но чтоб всё же не вышло чего,
закусивши губу,
не ропща на судьбу,
я живу далеко от него.

Вот такие дела,
жизнь сгорела дотла,
день вчерашний пошёл под откос,
говоря о судьбе,
как не вспомнить план Б,
и на кой он вообще, этот мост.

Состоялась игра,
закругляться пора,
и, возможно, важнее всего,
соблюдая престиж,
впрямь увидеть Париж
и, конечно, не только его.

Ода на текущий момент

Теракты, теракты, теракты,
обстрелы, обстрелы, обстрелы,
о не нападениях пакты
и мирные в море галеры.

Вкушая всего понемногу,
спеша почему-то не слишком,
идут с мирозданием в ногу
нехитрые наши делишки.

Брат славу всю жизнь делит с братом,
и оба отнюдь не устали,
и сам по себе мирный атом
ничуть не воинственной стали.

Представь себе, строятся яхты,
с душой уживается тело –
теракты, теракты, теракты,
к тому же ещё и обстрелы.

Покой долгожданный непрочен,
о чём все сказанья и были,
уже и не верится, впрочем,
что как-то иначе мы жили.

При нас наши радость и горе
повсюду, конечно, но всё же,
и впрямь было время другое,
пространство, естественно, тоже.

И кем бы когда мы ни стали,
всё будет однажды забыто
до самой мельчайшей детали
пока ещё здешнего быта.

Античный храм

Храмы – это пирамиды,
хороши на жизнь их виды,
и хоть вера в них мертва,
есть в природе божества,
или, всё же, вне природы –
что им наши непогоды
и мечты из головы –
жаль, что все они мертвы,
и другие рулят боги –
делай-ка отсюда ноги,
и, спускаясь до земли,
бывших идолов не зли –
в этом городе Акрополь,
как последний в мире вопль,
или как молитвы няни,
извините, афиняне.

Еврей

То донимают кредиторы,
то штрафы разные рекой,
а он, блаженный, учит Тору,
как будто в Торе есть покой.

Будни с обетованием

В этом мире, где покуда не без лжи,
как сегодня вас бомбили расскажи,
ну, а я тогда, понятно и ежу,
как сегодня нас бомбили расскажу,
но не только против нас огонь и дым,
мы их тоже в свою очередь бомбим,
душ являя полноту и наготу,
а иначе бы совсем неумоготу,
и пускай и впрямь миры сойдут с орбит,
важно, кто кого последним разбомбит,
чтоб погиб в конечном счёте, взявший меч
этот самый супостат, о коем речь
с давних пор идёт до нынешних времён,
кому имя есть и будет легион –
как не верить в то, что выдохнется яд,
а пока и мы бомбим, и нас бомбят.

Стихи о времени мемуаров

И всё-таки они его убили,
и тут уже не место слову «или»,
поскольку чаша выпита до дна,
и не воскреснет мёртвая страна.

«Но надо же надеяться на что-то,
какая бы ни лопнула струна», –
ты скажешь, да и правда жить охота,
пока восходят солнце и луна.

Надежды наши большей частью лживы,
но мы живём, а как злодеи живы,
вот незадача, по уши в крови,
поди попробуй их переживи.

А впрочем, ведь кому-то удавалось
при деспоте покойном встретить старость
ни людям, ни себе не на беду,
и жить с его преемником в ладу

в кругу семьи на Богом данной вилле,
спокойно вспоминая старину,
но всё-таки они его убили,
а с ним, вполне возможно, и страну.

Тайное знание

Напишу о том я стих,
может быть, непрошенный,
что поэтов нет плохих,
и все стихи хорошие.

Напишу об этом я,
обращусь к издателям,
и меня мои друзья
назовут предателем.

А потом что? Пуля в ствол,
игры с пистолетом?
Нет, спасибо, лучше в стол
напишу об этом.

Напишу вдали от них,
но никем не брошенный,
что поэтов нет плохих,
и все стихи хорошие.

Зима и лето

Зимой говорит он: "Всё это фигня,
а летом, что хочешь проси у меня,
хоть бабу, хоть царство в придачу с ухой,
но будь осторожен, получишь с лихвой".

И каждое лето имею с лихвой
и царство в придачу, и бабу с ухой,
нездешнее что-то и даже коня,
и кайф от того, что всё это фигня.

Стихи о свободных белках

Любая белка в колесе,
как в тренажёрном зале все –
немного не в своей тарелке,
зато вольны в Гайд-парке белки
почти на зависть небесам,
в чём лично убедиться сам

там каждый может на ура:
Гайд-парк открыт с пяти утра
до полночи – и ты хоть стрелки
в нём забивай – живут же белки,
причём во всей своей красе,
не в колесе...

Что нам ни светит впереди,
какие нас ни ждут подарки,
ты только в Лондон попади,
побудь самим собой в Гайд-парке,

зайди в музей Мадам Тюссо
проведать тех, кто лез из кожи,
а там хоть снова в колесо,
чтоб чем-то быть на них похожим.

В пути из ниоткуда в никуда

Ушёл из жизни близкий друг,
Всего скорее – в никуда,
и как обычно – сразу, вдруг
и без малейшего следа.

*

Бывал бессильным я, смешным и жалким,
счёт потерял ошибкам и промахам,
и пусть я не угоден был фиалкам,
зато порою нравился ромашкам.

*

Мне нравится, что люди пожилые
не киснут в одиночках тихих комнат,
а умственно вполне ещё живые
и спорят обо всём, чего не помнят.

*

В пути из ниоткуда в никуда
я много лет на свете побывал,
мне это не составило труда –
себя я изнутри заспиртовал.

*

Я помню до сих пор народный плач,
который разразился, как цунами,
когда подох каратель и палач,
владыка над сердцами и умами.

*

Нисколько я не сделался умней,
но начал ощущать я всей душой,
что чувство одиночества сильней,
когда сидишь в компании большой.

*

Все споры, дебаты, дискуссии –
мне суть их догадка расчистила –
виновны в дурном послевкусии –
ушла и напугала истина.

*

Жизнь моя, сегодня тихоструйная,
всё-таки журчит, не умолкая;
пусть уже не бурная, не буйная,
мною она любима и такая.

*

Нехитрые житейские скрижали
мы все в разнообразии своём
с ребячьих лет бездумно уважали,
за что интеллигентами сльвём.

*

Много мыслей, печальностью явных,
возникает в течение дня,
но не хуже они стародавних,
что прижились уже у меня.

*

Я жил бы с веком наравне,
когда бы не пустяк,
что порох весь – он был во мне! –
сполна иссяк.

*

Интересно завершается мой путь:
я читаю, выпиваю и дышу,
если вспомню о любви я что-нибудь,
непременно и про это напишу.

*Дружеская встреча:
СРПИ на страницах «Артикля»*

В поисках реализма четвертого измерения

В своё время, предворяя самый первый номер литературного журнала «Бульвар Ротшильда», восемь лет назад, его бессменный редактор Леонид Финкель писал: «Перед вами новый литературный журнал: мы ищем реализм четвёртого измерения. А четвёртым измерением, как известно, является время. Большое время – это вечность, там, где всё уже свершилось; малое – это повседневность, часы и минуты наших забот и хлопот, нашей суетной жизни. Удастся ли нам вырваться в «большое время», вырваться из сиюминутности, оторваться от собственной гордыни, задуматься над вечными вопросами Бытия – покажет будущее. Но к этому мы будем стремиться».

И Леонид Финкель оставался верен озвученному им направлению всю оставшуюся жизнь, вплоть до той минуты 12 февраля, когда его жизнь внезапно оборвалась. Потому мы решили посвятить большую подборку членов Союза русскоязычных писателей памяти Леонида Финкеля. Тем более что каждый, кто участвует в этой подборке, прекрасно знал Леонида Наумовича, восхищался его неукротимой энергией, прислушивался к его замечаниям, следовал его прекрасному литературному вкусу.

Все наши авторы продолжают попытки проникнуть в названное Леонидом Финкелем четвёртое измерение, отразить время, в котором они живут, рассказать о своих ощущениях и о происходящем сегодня. Каждый – по-своему. То, что получилось – мы представляем на ваш суд, дорогие читатели, и вам судить. Кроме того, мы хотим поблагодарить редакцию журнала «Артикль», - одного из лучших литературных журналов русского зарубежья, - за возможность представить читателям творчество членов Союза русскоязычных писателей Израиля.

*Марк Котлярский,
председатель Союза русскоязычных писателей Израиля*

Памяти Леонида Финкеля (24 июня 1936 года – 12 февраля 2024 года)

Не стало Леонида Финкеля!

Огромная утрата! Он был необыкновенным Человеком, близким другом, большим писателем, историком, пушкинистом, настоящим просветителем... И это абсолютно тот случай, когда есть незаменимые люди. На протяжении всей своей профессиональной жизни Леонид писал замечательные книги, проводил литературные семинары, лекции, выпускал журналы, создал музей Пушкина... Возглавляя Союз русскоязычных писателей Израиля, долгие годы был его душой и двигательной силой!..

Он был по-настоящему государственным человеком, многое делал, чтобы в Израиле было светлее... и всегда переживал, что не успевает объять необъятное.

У него было множество идей, он непрерывно трудился на благо общества, - и это не дежурные слова; быть полезным стало образом жизни Леонида Финкеля.

Увы, его жизнь оборвалась, но его имя будет продолжать звучать в праведных делах необыкновенного Человека Леонида Наумовича Финкеля...

Аркадий Крумер, писатель, драматург, продюсер

Памяти беспокойного человека

«Это редкий случай в моей журналистской практике, когда после двухчасового разговора не чувствуешь ни опустошения, ни усталости. Есть какой-то внутренний подъём, даже чувство радости, что этот разговор состоялся.

У Леонида Финкеля домашний тембр голоса и глаза мудрого человека. Мы говорили о книгах, о писателях, о прошлом, о будущем...

Леонид беспокойный человек. Наверное, таким был всю жизнь. Писательский труд – основной. Но, кроме него, всегда что-то издаёт, проводит, возглавляет, организует...»

Это отрывок из моей беседы с Леонидом Финкелем «Эта земля тебя узнала...», которая состоялась в Ашкелоне, в небольшом дворике Пушкинского музея. (В Ашкелоне, на берегу Средиземного моря – Пушкинский музей!). Леонид писал о Салтыкове-Щедрине, Илье Эренбурге, Шолом-Алейхеме...

«Всегдашней моей мечтой было написать хорошую книгу об Ашкелоне, и я принялся за работу над книгой о городе. Написал и издал её «Будь счастлив, Рим, будь счастлив, Ашкелон». Есть часть базилики, где сохранилась такая надпись на латинском языке».

Леонид подарил мне книгу «Будь счастлив, Рим, будь счастлив, Ашкелон» с дарственной надписью. Написал, что призыв «быть счастливым» обращён и ко мне. Спасибо, Леонид Наумович!

Я буквально за два дня – в книге пятьсот страниц – прочитал её. И не только потому, что собрано много интересных фактов. В книге есть и философские отступления, и документы, – а читается легко. Об Ашкелоне Леонид пишет с любовью. Такое ощущение, что город ему в наследство передали деда и прадеды, жившие в украинских местечках.

Ушёл в мир иной израильский писатель, прекрасный человек Леонид Финкель. Память о нём, я надеюсь, останется у каждого, кто хоть раз встречался с ним.

Пусть будет его душа вплетена в вечный узел жизни...

Это слова прощания и от меня лично, и от читателей журнала "Мишпоха", автором которого Леонид был на протяжении многих лет.

Аркадий Шульман, журналист

Творчество Леонида Финкеля ждёт своего исследователя

Ушёл в мир иной Леонид Финкель. Прозаик. Эссеист. Драматург. И очень доброжелательный человек. У меня хранится на книжной полке одна из его книг, «Недостоверное настоящее. Книга прозы», изданная в 2006 году (Москва - Тель-Авив, «Книга-Сэфер»), причём с тёплой дарственной надписью: «Дорогому Грише – с уважением и лучшими пожеланиями. Храни тебя Б-г! 14.01.07».

Пройдёт всего пара месяцев, и по материалам израильских и зарубежных СМИ (в том числе газеты «Едиот Ахронот») в израильской газете «Вести», в приложении «Вести-2» выйдет моя статья «Любите ли вы Вагнера?» (15 марта 2007 г.). При подготовке её будет использовано, - разумеется, с согласия самого Маэстро, - эссе Леонида Наумовича Финкеля, с идентичным названием. «Любите ли вы Вагнера?» В этом коротком эссе писатель Леонид Финкель (всего 14 страниц, подумать только, написанных в апреле 2005 года!) попытался ответить на те же вопросы, что и судья из ЮАР Кристофер Никольсон в своем исследовании «Рихард и Адольф», над которым работал целых 15 лет.

Из финкелевского эссе, предвосхитившего книгу Никольсона на каких-то два года: «Я слушаю увертюру к «Зигфриду». Перед глазами цезаря Августа неистовствуют древние германские боги, фыркает от ярости дракон, мечется, изрыгает проклятия Зигфрид – грубый отяжелевший бош, как говорят французы...

Нет, представление идёт не в античном театре, не в Шуге, я закрываю глаза и вижу Освенцим, где поставлена эта гигантская драма в

естественных декорациях, о которых так мечтал Вагнер, - с трубами крематория и настоящим дымом...

Ах, Гитлер! Гитлер мазохист...

...Снова грянула музыка. С жутким чувством я вслушивался в эти звуки. Точно видел привидение. И это действовало мистически, казалось мне приветом из мира духов и не в переносном, а в прямом, буквальном смысле».

Это о страшном Будущем, которое может обрушиться на каждого из нас, и в последние месяцы обрушилось на Израиль в виде теракта и погрома 7 октября, в виде ракетных обстрелов, которым ежедневно подвергался город Ашкелон, в котором Леонид Финкель жил все эти годы...

...Думаю, творчество Леонида Финкеля ещё ждёт своего исследователя, литературоведа или, возможно, даже историка. Слишком уж часто он обращался к событиям исторического прошлого.

Эфраим Баух, автор предисловия к той самой книге, писал следующее: «Леонид Финкель населил свою книгу, в основном, образами тех личностей, чьи имена у всех на слуху. Они мимолетно проскальзывают перед взором автора, который видит за их пестротой порождённую и всё ещё порождаемую ими вечность и неисчерпаемость человеческого духа»...

Григорий Рейхман, историк, журналист

...Но ты мне уже не ответишь...

Лёничка, дружочек мой верный, собеседник мой чудесный, с тобой можно было обсудить всё (в последнее время, увы, по телефону) - от политики и литературы до бытовых дразг и болячек. Человек, которому можно было "поплакаться в жилетку" и знать, что тебя терпеливо выслушают, посочувствуют, утешат. И я не одна такая! Я и сейчас хочу тебе пожаловаться (а кто ещё поймет ТАК, как ты) - пожаловаться, что чувствую себя покинутой... Но ты мне уже не ответишь...

Умер Леонид Финкель. И я ещё напишу о нем. Но сегодня не в состоянии...

Прощай, Лёничка! Время такое и возраст такой - уходят близкие, один за другим. Будем надеяться, что в лучший, чем наш бранный и грешный мир...

Светлана Аксёнова-Штейнград, поэт, публицист

Проза

Нина Ягольницер

Правильный прикус совести

- Голову держи.

Кристиано привычно перехватил человека одной рукой за темя, другой оттянул подбородок, не давая закрыть рот. Самуэле вооружился устрашающего вида клещами и, неодобрительно хмыкнув, одним ловким движением вывернул гнилой зуб из лунки, как редьку из земли. Пациент замычал, трепыхаясь в сильных руках Кристиано, а банщик швырнул клещи в ведро, заткнул кровоточащую лунку комком корпии и грозно поглядел на страдальца:

- Чего голосишь-то? Как дрянь всякую в пасть тянуть – так не вякаешь.

Пациент осторожно ощупал припухшую челюсть и пробормотал что-то невнятное, но Самуэле потряс у него перед носом только что выдернутым зубом:

- Молчи и слушай, умник. Зубы – они тебе не навозная лопата. За ними глаз нужен. Их надобно хоть раз в день тряпичей протирать, в толченую соль умакнувши. А опосля полоскать разбавленным вином или хоть уксусом, на худой-то конец. И зелень огородную жевать.

Пациенту было не до препирательств. Он обреченно покинул, выложил на стол перед банщиком несколько монет и двинулся к двери, всё ещё приглушенно постанывая. Самуэле же смахнул деньги в ладонь и проворчал:

- Стонет он, холера. Вот поглядишь, Кристо, ни черта он не запомнил. Ещё снег не сойдет – снова прибежит пни свои гнилые драть. Чучело огородное... Всё, будет на сегодня. Мать, небось, уже к ужину ждет. Давай, топчан помой, пока я инструменты обихожу.

Кристиано молча полоскал ветошь в бадейке, сдерживая ухмылку: отец не ждал от него ответа. Самуэле всегда по долгу бранился, выпроводив очередного страждущего. Он неистово презирал людей, хворавших по собственной лени и скудоумию, и даже такое обыденное и в целом неизбежное явление, как вши, считал гнусным признаком человеческой глупости.

- Дались вам эти зубы, отец, - примирительно сказал, наконец, Кристо, слыша, как банщик продолжает что-то сварливо бормотать. - Заразу не разносят – и слава Богу.

Самуэле в ответ поморщился и оценивающе поглядел на сына, мывшего заляпанный кровью пол, словно прикидывая, стоит ли дать ему подзатыльник.

- И ты туда же, - отрезал он, - с малолетства при лекарском деле, а дальше собственного срама поглядеть лень. Зубы, Кристо, они как совесть. Пока не тревожат – будто и нет их. А как заболят – хоть в петлю лезь. Вроде как повыдирать можно – и баста. А жизнь прежней уже не станет, как ни крути.

Кристиано нахмурился, отжимая над бадьей грязный лоскут: он не любил нравоучений, а в нечастых лирических ремарках отца усматривал затаённую насмешку над собственным трепетно-романтическим отношением к медицине.

- Ну, уж вы и загнули, - пробормотал он, - совесть...

А Самуэле поворошил угли, вооружился кузнечными клещами и начал выуживать из раскаленной пасти жаровни хирургический инструмент, раскладывая на подклете для охлаждения.

- И не думал погибать, - спокойно отозвался он. - Ты, сынок, погляди на тех, у кого совесть с гнильцой. Хоть на городского урядника, хоть даже на кровососа Августо, что нам дрова возит, чирей ему посередь лба. Все чем-то её, родимую, украсить пытаются, чтоб не так свербела. Урядник на день Сан-Джованни шесть бочек вина выставляет, чтоб в городе на него обид не держали. А Августо на каждом шагу талдычит, сколько он милостыни подаёт, аж сам святой Лазарь на небесах от умиления всхлипывает.

Кристо ухмыльнулся:

- А зубы-то при чём?

- А при том, - Самуэле сгрёб инструменты в корзину и вытер руки, - я по молодым годам знавал одного врача из Пьемонта. Такой рассказчик был – заслушаешься. Я, как в караул заступал, так сразу к нему шёл. Делать-то нечего, да и в сон клонит. Целыми ночами, бывало, с ним толковали... Вот он-то мне и рассказал, что в городах побогаче, где доктора вельмож пользуют, без зубов ходить вроде как немодно. И ежели кто зуб в драке или по престарелости потерял, так надобно у ювелирщика заказать новый, хоть серебряный, хоть золотой, а можно вовсе из слоновой кости, как у сарацинов. А доктор этот зуб к соседним тонкой золотой проволокой приспособит. Толку мало, им репу не куснешь, но в

улыбке очень фасонно, да и не так в глаза кидается, что прочие зубы уже на ладан дышат. Смекаешь? Когда у человека такая красота во рту блестит, уж поневоле не заметишь, что смердит от него, как из лавки скорняка.

Кристо расхохотался:

- Чудаки. И как додумались?

Самуэле же улыбнулся не без ностальгии:

- Так это не они. Ещё в старину была такая страна – Финикия. Тамошние эскулапы и придумали. Только они куда проще были. Собачьи клыки людям вставляли, а то, бывало, и кабаньи. Не знаю, сильно ли шикарно, но уже не каждый на рожон полезет, когда ты на него эдаким оскалом сверкнёшь.

Кристиано передёрнуло.

— Вот ещё, всякую мертвечину в рот совать, - пробормотал он.

Некоторое время отец и сын работали молча, спеша закончить хлопоты в процедурной камере. Снаружи в моечном помещении слышался грохот ушатов и пение на два фальшивых голоса: это слуги домывали пол. Истопник с неистовым лязгом выгребал золу из очага. Только в святая святых бани, где Самуэле вправлял вывихи, вскрывал нарывы, сажал пиявок, делал припарки свиной желчью и оказывал прочие лекарские услуги, не допускался никто, кроме Кристо. Отчасти потому, что тот был наследником отцовского ремесла, а отчасти из-за полного равнодушия к пузатой бутылки самогона, стоящей в углу каморы для облегчения боли у пациентов.

Но вот дела были окончены, а Кристо всё так же стоял у погасшей жаровни, задумчиво глядя на отца.

- Чего тебе? – пробурчал банщик, видя в глазах сына невысказанный вопрос.

- Батюшка, а... вы с тем врачом где познакомились-то? Ежели в караулы заступали...

- Ну, так... - Самуэле почесал в затылке: эту часть своей биографии он не любил вспоминать. - Конвойным я тогда был в крепости Сан-Бартоломео. И помощником палача под то же жалование. А врача-то... За колдовство его прижали. Казни ждал.

Кристо онемел:

- Отец... Вы прежде и не рассказывали...

- Да и не должен бы, - отсёк Самуэле. - Мать тоже не знает, то ещё до неё было. Ты с чего думаешь, парень, я в "кровавые ремесленники" пошёл? Видел я, как папаша Козимо лю-

дей на пласты свежует. Да умело так, с толком. Он-то из бывших студентов-медиков был. Ты бы послушал, как он толковал, меж каких позвонков надобно топором садануть, чтоб недобиток потом не хрипел, не пугал души христианские. Да где нерв нужный сыскать, чтоб одним гвоздём всю спесь к чёртовой бабушке выбить. Сукин сын...

Самуэле сплюнул в жаровню.

- Я, Кристо, отродясь науке не учился. А вот тогда, его послушавши, решил: к бесам службу. Пойду к банщику в обучение, чтоб никогда больше мне про "иссечение дыхательного горла" не слышать. Возьму, да эту же погань кровавую, какой меня Козимо учил, на Божье дело пущу. Лекарствовать буду. И вот тебе крест, сын, ни разу я о том не пожалел и, как придёт время, подохну спокойно. Мне того... совесть оборками обшивать ни к чему.

Кристиано помолчал. Потом осторожно тронул отца за мокрое от пота плечо.

- Стало быть, о зубах вы так... образно? Мол, совесть беречь надобно? Чтоб потом было, чем смерти в лицо улыбнуться?

Самуэле тоже ответил не сразу. Вздохнул и взъерошил рыжеватые волосы сына, выбившиеся из-под шнура. Поднёс к его лицу правую руку, на которой не хватало одного пальца:

- Нет, сынок. Совесть, конечно, беречь надо смолоду. А только и зубы в жизни - дело не последнее. Видишь? Так того врача и не казнили. Он сбежал по пути к эшафоту, прямо с телеги.

Кристиано моргнул:

- Как это?

- Да как... Дёрнулся, я его давай хватать. А он, шельма, откусил мне палец и рванул с моста в реку. А мне и стрелять нечем; вою, кровь хлещет. Потонул, конечно, в кандалах-то, но всё же не на костре корчиться, зевакам на потеху. Так что, береги зубы, сын. Глядишь, пригодятся.

Страсти по Гоголю

Если бы не эта проклятая ступенька, о которую я споткнулся в узком полутёмном проулке и грохнулся всем прикладом на камни мостовой, всё могло бы сложиться совсем иначе. Мало того, что я повредил себе руку до временной её неподвижности, так ещё умудрился разодрать себе щеку до крови и разбить коленку. Первый момент после падения я никак не мог сориентироваться, на каком свете нахожусь и что со мной случилось. В глазах поплыли огненные круги, а в ушах заколотили оглушительные тамтамы.

Пока я тихонько подвывал от боли, пытаюсь подняться хотя бы на четвереньки и опираясь разбитой рукой о враждебные камни мостовой, налетели какие-то люди, которые стали меня тормошить и возвращать в вертикальное положение. При этом они о чём-то наперебой вещали по-итальянски, ведь дело происходило в Милане, куда я приехал отдохнуть от шума и гама родного Израиля и погреться под ласковым итальянским солнышком. Но я, ясное дело, ничего никому ответить не мог, потому что едва ли кто-то из этих людей знал русский язык или иврит, а английский у меня был настолько в зачаточном состоянии, что каждый раз при общении на этом языке я непроизвольно впадал в состояние анабиоза.

Меня подхватили под руки, потом, увидев, что по моей штанине растекается большое кровавое пятно, доволокли до какой-то машины, бережно погрузили и быстро отвезли в больницу. Поначалу я пытался этим людям объяснять, почему-то на иврите, что тороплюсь и мне некогда прохладиться в больнице, но меня никто не понял. Я жестами показывал, что у меня встреча, и мне необходимо позвонить по телефону человеку, который будет ожидать меня, и они, кажется, поняли и протянули чей-то сотовый телефон. Но это не помогло, потому что номер, по которому нужно было звонить, я не помнил, так как записал его в память своего телефона чисто на автомате. Тогда мне протянули мой телефон, который я обронил на месте падения, но глядеть на него без слёз было невозможно. Он был разбит вдребезги, и, наверное, его ещё можно было как-то оживить, использовав неповреждённую сим-карту, но... не с моим счастьем и не сейчас.

После этого я уже безропотно позволил сделать рентген руки и ноги, потом вытерпел несколько болезненных уколов и бинтование разбитых конечностей. Как я понял, переломов и вывихов не было, но всё равно был серьёзный ушиб, поэтому руку и коленку следовало зафиксировать на какое-то время неподвижно.

Наконец, среди врачей появился молодой рыжеволосый парень, который довольно бегло тараторил на ломаном русском, и он объяснил, что лучше всего меня доставить сейчас в отель, в мой номер, и, как минимум, сутки я обязан провести в постели. Счёт за медицинскую помощь мне пришлют прямо в номер, а кроме того, завтра придёт медсестра, чтобы сделать перевязку и проследить, в полном ли объёме я принимаю выписанные таблетки. Ну, и заодно, чтобы я раньше времени не покидал постель.

Что и говорить, всё складывалось хуже некуда. Кто же в здравом уме и памяти мог предположить, что случится такое? А ведь всё так славно начиналось...

В Италию, в Милан я приехал самостоятельно впервые, не в составе туристической группы. Заказал через Интернет номер в отеле и несколько экскурсий. Мне очень хотелось побыть одному, пожить хотя бы раз в жизни в собственное удовольствие и ни от кого не зависеть; спать столько, сколько пожелаю, вволю побродить по городу, который полюбил с первого взгляда ещё во время прошлого своего приезда.

Кажется, своей цели я добился. Три дня я находился на вершине блаженства - утром неторопливо завтракал в одном из многочисленных уличных кафе, потом гулял совершенно без цели, куда глаза глядят; ходил в музеи, где не нужно было нестись по залам галопом из-за того, что экскурсовода поджимает время. Короче, жил полной жизнью и даже что-то уже принялся писать в ноутбуке, привезённом с собой, но, главное, конечно, был не этот сочиняемый текст будущего рассказа, а ощущение свободы и тихого счастья одиночества, в которое я погрузился по собственному желанию. В Израиле такое мне недоступно, как бы я ни старался.

И вот вчера вечером я прихватил ноутбук под мышку и отправился в кафе, которое присмотрел заранее. Тут можно было занять отдельный столик и неплохо провести время до сумерек, тем более, кофе здесь, как и везде, был превосходный, а немного старомодный интерьер и тихая музыка вполне меня устраивали. Мне не хотелось шума и весёлых компаний, для которых здесь просто не хватило бы столиков.

Поработаю немного, выпью бокал вина и кофе без счёта, потом отправлюсь к себе в номер любоваться в открытом окне на звёзды...

И кажется, я опять достиг своей цели. Всё вокруг меня было прекрасно. Полумрак, бархатный Синатра из динамиков, остывающий кофе в крохотной чашечке - что ещё можно пожелать? Разве что перекинуться с кем-то парой слов. Только с кем? И тут я пожалел, что так и не освоил английский, ведь наверняка многие здесь на нём общаются, а вот на русском и иврите - увы...

Взгляд мой остановился на женщине за соседним столиком, которая тоже уткнулась в компьютер, и перед нею стояла такая же точно чашечка кофе, как передо мной. Рядом с компьютером лежала книга, корешок которой сразу привлёк моё внимание. На нём было вытеснено крупными золотистыми буквами по-русски «Гоголь»...

Вот тебе и раз! Как же мне безумно везёт в этой поездке! Всё, что ни загадываю, сбывается. Стоило мне представить, как хорошо было бы сейчас пообщаться с кем-нибудь на родном языке, и сразу рядом оказался такой собеседник. Не может быть, чтобы эта женщина, положившая рядом с собой русскую книгу, не знала нескольких слов на русском!

Я неторопливо встал и подошёл к её столику:

- Простите за беспокойство, я вижу у вас русскую книгу. Вы, наверное, знаете русский язык?

Женщина смерила меня недоумённым взглядом, потом слегка усмехнулась и сразу же ответила, слегка коверкая русские слова:

- Да, я немного знаю русский язык и продолжаю его изучать. А книга, - она кивнула на томик, - мне нужна для диссертации. Я пишу диссертацию по Гоголю в нашем университете. О его творчестве и о пребывании в Италии.

- И вам нравится Николай Васильевич? - только и спросил я, потому что ничего иного мне в голову сейчас не приходило.

- Вы его читаете, надеюсь, в оригинале?

Женщина неуверенно пожала плечами:

- Что-то читаю в оригинале, а какие-то места приходится сверять с уже существующим переводом на итальянский... А вы откуда? Наверное, из России?

- Нет, из Израиля, но родился и много лет прожил в России, так что для меня русский язык - родной.

- К нам в Милан приезжает много русскоязычных израильтян. С некоторыми из них я общалась... Да вы присаживайтесь! Я попрошу официанта перенести сюда ваши вещи.

- Не надо, я сам!
- Переносить особенно ничего не требовалось – лишь мой ноутбук, куртку и небольшой рюкзак, висящий на спинке стула. Чашечка кофе была уже выпита.
- Кто вы по профессии? - поинтересовалась женщина. - Вижу, у вас тоже ноутбук. Вы - банковский клерк или специалист по компьютерам?
- Нет, я всего лишь пишу книжки.
- На русском?
- Да.
- Ой, как интересно! - теперь женщина смотрела на меня уже с неподдельным интересом. - Никогда не встречала русского писателя.
- Ну, не совсем русского, - усмехнулся я, - ведь я из Израиля.
- И про что вы пишете?
- Про всякое, - пожал я плечами. - Может, когда-нибудь и про это наше знакомство что-нибудь напишу.
- Между прочим, Гоголь бывал не только в Италии, но и в ваших краях, то есть в Палестине.
- Ничего себе! - удивился я. - Мне всегда казалось, что у него нет ничего общего с еврейским народом, а некоторые места в его книгах, где он упоминает евреев, пронизаны таким грубым и животным антисемитизмом, что и упоминать о нём после этого больше не хочется. Впрочем, он не одинок в этом среди русских классиков...
- В эти вопросы я не лезу, - нахмурилась женщина, - давайте лучше переменяем тему... Ваши книжки где-нибудь можно почитать? Они есть в университетских библиотеках?
- Наверное, есть; правда, я не очень уверен, что есть в библиотеке Миланского университета.
- Жаль...
- А знаете что, - вдруг пришла мне в голову мысль, - у меня есть в багаже, который я оставил в номере отеля, пара моих книг. Если хотите, я их вам подарю.
- Они вам, наверное, для чего-то нужны, - засмузилась женщина, - а тут я со своей просьбой...
- Нет-нет, - заверил её я, - эти книги я прихватил с собой на всякий случай. Вот случай и представился. Можем дойти до моего отеля, и я вам с удовольствием их подарю.
- Спасибо, - поблагодарила женщина и снова нахмурилась, - вы серьёзно приглашаете меня к себе? Но я так не могу. Разве вы не понимаете, что потом скажут про женщину, которая идёт с незнакомым мужчиной в отель?

Пришёл черёд уже мне покраснеть:

- Вы меня неправильно поняли. Я хочу всего лишь подарить свои книги человеку, который изучает русский язык, и ничего больше. Простите, если я вас обидел.

За столом установилась тишина, и ею тут же воспользовался наблюдавший за нами официант. Мы заказали ещё по чашечке кофе.

- Давайте поступим так, - наконец, проговорила женщина, - если не возражаете, то мы можем встретиться завтра. Здесь или в каком-нибудь другом месте, если вам будет удобно.

- Хорошо, как скажете. Можно и здесь, только в какое время?

Женщина глянула на большие часы на стене:

- Ну, часов в шесть-семь. Договорились?

- Договорились.

- А я вам какой-нибудь сувенир от себя подарю. За книги...

И вот по дороге в кафе, где у меня была намечена встреча с незнакомкой, имени которой я так и не успел вчера узнать, лишь записал в свой телефон её номер, я грохнулся в этом дурацком тёмном проулке, и теперь вынужден лежать пластом на кровати в своём номере, глотать обезболивающие таблетки и поливать свою неосторожность последними словами.

У меня даже поднялась температура, и в голове словно перекатывались тяжёлые чугунные шары. Видно, это было следствием того, что я помимо руки и колени приложился ещё и щекой о камни мостовой. Давненько со мной такого не случалось.

Я лежал неподвижно на кровати и уже не помышлял никуда идти, лишь дополз до двери, когда в неё постучала толстая пожилая медсестра из больницы, не говорящая ни на каком языке, кроме итальянского. Вытерпел перевязку и ещё какой-то дополнительный укол, который она сделала мне, даже не спрашивая моего согласия, и потом снова дополз до двери, чтобы закрыть её и рухнуть на свои подушки уже в полном бессилии и раздрае.

Пара моих книг, заботливо упакованных в пакет, так и осталась лежать на столе рядом с закрытым ноутбуком. Ничего никому передать я не мог, а позвонить было неоткуда - мой разбитый телефон печально покоился в прозрачном пакете рядом с книгами. Да я и не помышлял сейчас разыскивать незнакомку из кафе, чтобы выполнить обещание и вручить подарок. В каком виде я перед ней предстал бы? А ведь она

теперь непременно сочтёт меня вруном, который наплёл с три короба и наверняка хотел попросту затащить её к себе в постель. Когда это не удалось, то поскорее отвязался от неё и ни на какую встречу даже не собирался приходить. Лично я бы на её месте подумал только так, и не иначе.

Мне было обидно, но уже не так, как вчера, сразу после падения. Самое неприятное было, что мой телефонный номер у неё тоже остался, и если она вздумает сама позвонить мне, то я ей даже не смогу ответить со своего разбитого телефона! Как она на это отреагирует?

Так стыдно мне ещё никогда в жизни не было...

Наверное, я всё же задремал, потому что боль стала меньше, хоть и никуда не ушла, зато чугунные шары в голове поутихли, а в глазах поплыли какие-то странные картинки. Если это сон, то давненько такого красочного и непрерывного по продолжительности сна я не видел.

...Будто я шёл по улице, и это был уже не Милан, а Рим, в который я вовсе не планировал попасть в этот свой приезд. И вот на одной из узких улочек, очень похожей на ту роковую, где я грохнулся, мне навстречу попался невысокий черноволосый человек с длинным прямым носом и очень знакомыми чёрными глазами. Человек был одет в старинный сюртук, и в руках держал тонкую трость, на которую почти не опирался, лишь игриво помахивал ею в воздухе. Что-то неуловимо знакомое было в этом человеке, а что - сразу не определишь. И вдруг меня осенило.

- Простите, уважаемый, вас зовут не Николаем Васильевичем? - набравшись смелости, спросил я, едва мы поравнялись.

- Да, сударь, так меня так и зовут, - ответил настороженно господин, - но я, извините, не имею чести вас знать... Кто вы?

- Вы - Гоголь? - Я по-прежнему пристально вглядывался в его лицо, а сам напряжённо размышлял о том, что такой встречи быть, по определению, просто не могло. Бред какой-то... Или я схожу с ума?!

- Простите за бестактность, но какой сейчас год?

- Что за странные вопросы вы задаёте! - недовольно поморщился Гоголь, а ведь это был точно он, у меня даже сомнений почему-то на этот счёт больше не возникало. - Такие вещи не помнить! Но, так и быть, отвечу, коли вам угодно: одна тысяча восемьсот сорок пятый от рождества Хри-

стова... Вы, сударь, будто из другого времени сюда переместились или от долгой спячки очнулись, как медведь. Что вам ещё интересно узнать?

Наверное, я тоже чем-то заинтересовал Николая Васильевича, иначе бы он давно послал меня подальше и пошёл бы своей дорогой.

- Понимаете, я и сам не знаю, как оказался здесь, - принялся я путано и многословно объяснять, будто меня мог кто-то перебить. - Ведь я - человек из двадцать первого века, но что я делаю здесь? Кто меня отправил почти на двести лет назад? С какой целью? Я безумно рад, что мне повезло встретить вас, нашего великого классика, но это никак не объясняет причины моего появления здесь...

- Прекратите сейчас же! - нервно выкрикнул Гоголь. - Ваша ложь столь безыскусна, сколь и неприятна! Зачем вы это мне рассказываете? Если вас послали сюда ростовщики, чтобы узнать, появились ли у меня деньги для оплаты долгов, то так честно и скажите, нечего вилять и придумывать всякие небылицы. Итак, кто вы всё-таки? Если не скажете, я сейчас же уйду и сообщу первому попавшемуся карабинеру, - или кто там сегодня охраняет порядок в столице? - что вы меня преследуете и хотите ограбить. Живо в городское узилище угодите.

Даже в кошмарном сне я не представил бы, что мне придётся рассказывать о себе, и не кому-то, а великому Гоголю! При этом абсолютная загадка не разрешалась: как я оказался в Риме? - ведь Гоголь, если верить запискам современников, и в самом деле жил несколько лет здесь, и здесь же работал над своими «Мёртвыми душами», но это никак не объясняло моего странного появления здесь.

Я огляделся по сторонам и не узнал Рима. А ведь я уже был там дважды, и этот город знал, как мне казалось, довольно неплохо. Но таким, каким он открылся сейчас, я его увидел впервые. Ни беспрерывного потока автомобилей на улицах, ни привычного шума большого города, ни музыки из окон и реклам на каждом углу, ни многоязычных толп туристов. Лишь какие-то редкие конные экипажи и пустые пространства улиц и площадей, ещё не до конца стиснутые величественными дворцами и храмами; а люди... Дамы в кринолинах и широких развевающихся юбках, мужчины в таких же, как у моего собеседника, сюртуках, уличные разносчики с лотками, мальчишки-оборванцы, с криками носящиеся среди редких прохожих. Ни сверкающих витрин магазинов, ни автомобильных гудков - необычная тишина... Похоже, что это и в

самом деле был Рим, но не тот, который я знал по прежним посещениям, а город середины девятнадцатого века, в котором жил Гоголь... Но вопрос всё равно не исчезал: как я оказался здесь и, главное, для чего?

Вероятно, Гоголь заметил моё замешательство и желчно напомнил о себе:

- Что же вы, сударь, замолкли? Не знаете, что ещё соврать? Вы так пока и не представились. Меня, как я вижу, откуда-то знаете, а кто вы в действительности и что вам от меня надо?

И тут меня прорвало. Я не на шутку забеспокоился, что он сейчас развернётся, уйдёт, и больше я с ним не встречу. Я же себе потом такого ужасного прокола по гроб жизни не прощу. Потому, не особо заботясь о том, поймёт ли он меня и современные словечки из моего лексикона, которых в его время просто не существовало, я принялся поспешно рассказывать о том, что раньше жил в России, а сегодня живу в Израиле... Заметив, что он удивлённо поднял брови, тут же сообразил, что Гоголь даже не представляет, что это за государство, которого в его время не существовало, поэтому мне пришлось произнести другое название - Палестина, услышав про которую, он удовлетворённо кивнул.

- Простите, сударь, - неожиданно перебил он меня и схватил за рукав, - вы упомянули про Палестину, верно? Я не ослышался? Вы и в самом деле живёте там? И давно вы оттуда?

- Да, живу там, только это место сегодня называется Израилем, а не Палестиной, и это такое же государство, как остальные - Россия, Франция, Британия...

Гоголь нервно помотал головой:

- Не надо мне про Францию и Британию... Расскажите о своей земле... о Палестине. Я ведь собираюсь туда скоро, только вот никак не соберусь. Что-то меня пока удерживает от поездки. Но вас, видно, мне послало провидение, чтобы вы передали мне явное указание Всевышнего проследовать к святым местам... Ведь это так?

Не очень понятно было, о чём он говорит, и я, недолго думая, принялся бодро вещать о своём времени, которого он, увы, никогда не увидит, о достижениях техники и науки, о космосе, о транспорте - наземном и воздушном, но это почему-то оказалось для него скучным и не интересным. Однако когда я принялся рассказывать о политике, о международном положении и о людях, населяющих Землю в двадцать пер-

вом веке, на лице его вновь появилась скептическая ухмылка. Бледность сошла со щёк, и он даже раскраснелся. Видно, до конца мне ещё не доверял.

Жестом он остановил меня и, глядя куда-то в сторону, заговорил сам:

- Уж, не знаю, верить вам или нет... Простите, но вы вещаете такие странные и необычные вещи, притом так уверенно, и несколько не сомневаясь в правоте своих слов, что я в полном недоумении... Совсем другое хотел я услышать от вас, сударь, но если вы действительно человек из будущего времени, то этого и не поймёте. Просто разные склады ума у нас... Я же поведал, что жду некого посланника, который принесёт мне благую весть, и наивно решил, что им можете оказаться вы. Всё подсказывает, что наша встреча не случайна, но не такой встречи я ждал, и надежда моя тает...

Тут уже я недоумённо развёл руками, опять не понимая, о чём говорит мой великий собеседник, но решил его пока не перебивать. А он - и я это заметил только сейчас - неотрывно следил за мной всё время, и острые чёрные глаза его словно буравили меня, пытаясь докопаться до каких-то одному ему ведомых глубин.

- Чтобы вам было понятней, - с неожиданной хрипотцой вдруг выдал он, - я зачитаю вам фрагмент из письма к одной моей российской знакомой. Это письмо я пишу уже несколько дней, и оно не отпускает меня, держит в напряжении, а я всё никак не могу его закончить, чтобы отправить...

Он полез во внутренний карман сюртука и вытащил сложенный вчетверо лист бумаги. Видно было, что лист довольно истрёпан и местами даже залит чернилами.

- Вы готовы слушать? - поинтересовался Гоголь, нервно теребя край листа.

- Здесь? Посреди улицы? - я неуверенно огляделся и указал на скамейку в скверике неподалеку от нас. - Может, присядем?

- Как вам угодно...

Мы сели на скамейку, и мой собеседник развернул лист, но читать принялся не сразу, а сказал:

- Я даже не знаю, почему решился прочесть вам, совершенно незнакомому господину, письмо, которое пишу моей знакомой даме, но... если уж между нами зашёл разговор о Палестине, то слушайте: «...Теперь всё подвигаюсь к югу, чтобы быть ближе к теплу, которое мне необходимо, и к святым местам, которые мне еще необходимей. Желанья в

груди больше, нежели в прошедшем году. Даже дал мне Всевышний силы больше приготовиться к этому путешествию, но при всем том покорно буду ждать Его святой воли и не пущусь в дорогу без явного указания от Него... Знаком будет то, когда всё, что ни есть во мне - и сердце, и душа, и мысли, и весь состав мой, - загорится в такой силе желаньем лететь в обетованную Святую Землю, что уже ничто не в силах будет удержать, и покорный попутному ветру небесной воли, понесусь, как корабль, не от себя несущийся. Путешествие мое не есть простое поклонение. Мне нельзя отправиться туда неготовому. Весьма может быть, что и в этот год мне будет определено ещё не ехать...» .

Я сидел молча и не знал, что сказать, а Николай Васильевич некоторое время без интереса разглядывал меня, всё ещё переживая написанное, потом тяжело вздохнул, встал и, не прощаясь, пошёл по дорожке в глубину сквера. Догонять его я не решился.

Но так просто уйти он не мог. Я заметил, как он замедлил шаг и неожиданно обернулся:

- Если вы, сударь, и в самом деле из Палестины, и всё, что говорили мне, не плод вашего больного воображения, то мы с вами ещё встретимся. Непременно встретимся. Может, не в этой жизни и не в этом мире, но наш разговор ещё не закончился. Попомните мои слова...

...Проснулся я, когда за окном уже светало. Во сколько же я вчера заснул? Наверняка проспал не меньше двенадцати часов, а это для меня чересчур много. Как ни странно, ничего у меня не болело, но когда я попробовал спустить ноги с кровати и встать, немного кольнуло в плече и отдалось в разбитой коленке. Боль постепенно возвращалась.

И всё-таки я встал и отправился на балкон выкурить сигарету. Ночной Милан переливался огоньками и издавал какие-то свои привычные городские неясные шумы, совсем не такие, как в приснившемся дневном Риме двухсотлетней давности... К чему это я, спрашивается, приплёл сюда Рим, да ещё середины девятнадцатого века?

И вдруг я всё вспомнил. Вспомнил сон, - и ведь, совершенно верно, это был сон! - в котором мне приснился Николай Васильевич Гоголь, собирающийся, но так пока и не решающийся отправиться в Палестину, чтобы посетить христианские святыни. Надо бы поинтересоваться в Интернете, сумел ли он, в конце концов, съездить в святой город Иерусалим.

Выбросив окурок, я вернулся в комнату и открыл ноутбук. Некоторое время с интересом читал материалы о поездке Гоголя в Палестину и о его депрессии после того, какое он увидел там запустение и повсеместную разруху. Потом неожиданно наткнулся на цитату из письма, написанную им своей знакомой Надежде Шереметьевой, почти дословно повторяющую слова, услышанные мной во сне.

Это было удивительно и невероятно. Я допускал, что мысли и ощущения, сперва выданные одним человеком и потом приснившиеся кому-то другому, могут совпадать в целом, но чтобы так - слово в слово... Мистика какая-то! Вот и не верь после этого во всякие сверхъестественные вещи. А Гоголь? Он был, несомненно, мистиком и верил в предначертания и прочие необъяснимые вещи. Для него сверхъестественное было реальным! Но ведь я-то, человек из двадцать первого века, – разве я такой?

А ещё я вспомнил его слова, которые были сказаны перед самым нашим расставанием. И тут на меня словно что-то накатило. Уж, не знаю, были какие-нибудь совпадения во всём, что со мной приключилось в последнее время, но едва ли случайно совпала эта моя поездка в Италию с поездкой двухвековой давности Гоголя в Палестину, о которой я прежде совершенно ничего не знал. А приснившееся письмо писателя, ранее мне незнакомое, но совпавшее точь-в-точь с тем, что я разыскал в Интернете? Разве такое возможно?

И ведь для нас, сегодняшних израильтян, образ Гоголя, как и некоторых других русских писателей, всегда ассоциировался с образом лютого антисемита, хотя глубоко верующий христианин едва ли может быть таковым, по определению. Ненависть к гонимому племени - это шелуха, наносное, а что на самом деле было в душах у властителей дум? Как же мы не любим копать вглубь!

Но и это не всё. Странное знакомство в маленьком миланском кафе с женщиной, читавшей книгу Гоголя на русском языке, – уж, не весточка ли это от самого Николая Васильевича именно мне, если уж обещано было им, что мы встретимся. В другое время и в другом мире — всё так и есть...

Но ведь мы пока так и не встретились! Значит, рано ещё ставить завершающую точку в этой истории.

Кряхтя и постанывая от снова пробудившейся боли в коленке, я с трудом натянул поверх повязки брюки, накинул на плечи рубашку и отправился в лобби отеля.

Молоденькая девочка, выдающая ключи от номеров, долго не могла понять, что мне нужно. Косясь на пакет с раздавленным телефоном, она на таком же ломаном английском, как и я, пыталась выяснить, куда мне нужно позвонить, потом всё-таки смекнула, что мне хочется вытащить из обломков сим-карту и приобрести где-то новый аппарат. Она вызвала какого-то парнишку, который помог мне добраться до магазинчика сотовой связи на соседней улице. И уже там успешно извлекли карточку из моего несчастного искорёженного телефона и вставили её в новый, только что купленный.

Номер моей вчерашней знакомой высветился сразу, и я с облегчением вздохнул. Но звонить при посторонних я не захотел. Мы вернулись в отель, и я поднялся в свой номер. Присев на кровать, перевёл дыхание и только сейчас нажал кнопку вызова. Сердце отчего-то бешено колотилось в груди. Я ещё не знал, что скажу, но что-нибудь да придёт на ум...

Номер незнакомки не отвечал. Такого номера - и я после нескольких безуспешных попыток это понял - просто не существовало в природе. Просто не существовало...

Мой отец Исаак

Моего отца звали Исаак. Его звали также Изя, Изик и Исаак Хацкелевич, - в зависимости от ситуации. Правда, в паспорте имя Исаак было написано с одним «а». То ли паспортистка спешила, то ли сэкономила чернила.

По жизни отец умел делать всё, то есть руки у него были на месте. Но особенно он умел жить весело, хотя для веселья было немного поводов. Он шагал по жизни, широко размахивая руками и подметая улицу коричневыми брюками-клёш в широкую светлую полоску...

О ту пору мы жили на улице Ленина в Витебске, замечательном городе с какой-то ошеломляющей энергетикой, она была здесь, по-видимому, от того, что над городом летали влюблённые... Улица Ленина была тогда узкой, кривой и виляющей среди послевоенных, кое-как восстановленных домишек и полуразрушенных церквей без куполов. Она то тащилась в горку, и приходилось, задрав голову, смотреть ей вслед, то лихо мчалась вниз, разбросав по сторонам руки-ветви высоких деревьев. Такую виляющую улицу нужно было назвать Контрреволюционной или, на худой конец, именем Троцкого, который, это мы знали со школьной скамьи, был политической проституткой! Но только не именем вождя мировой революции!

Потом, спустя много лет, улицу Ленина расширили, пригладдили, церкви к чертовой матери подорвали, и от них остались одни пустыри, которые партийному глазу были милее церковных куполов. И Ленинская стала прямой, как путь к коммунизму, и скучной, как лекция в Парке культуры и отдыха. Но это всё было потом, а пока по улице Ленина мчался трамвай номер три; вернее, не мчался, а тащился, лениво качая боками и дребезжа, как таратайка на мощенной дороге. На этой самой улице Ленина, рядом с кинотеатром «Спартак», жили мы до шестьдесят первого года. И каждый день на эту улицу Ленина выходил мой отец Исаак, чтобы после работы прогуляться, выпить бокал «Жигулёвского» пива и встретить знакомых, а знакомых у него было полгорода. И с каждым он останавливался, и у каждого к нему было какое-нибудь важное дело.

Жил батя, по его словам, «без чох-мох»! Возможно, такого словосочетания в русском языке вообще не существует, но

оно очень точно отражает, как он жил. Он всё время подмигивал жизни, и она ему подмигивала в ответ. В любом месте, где он появлялся, жизнь начинала кипеть и выходить из берегов. Говорил батя громко и весело, любил незлобно кого-то «подье..нуть». Но был при этом вспыльчивым, как все вернувшиеся с войны. В такую секунду он мог перевернуть дом вверх дном, разломать на части табуретку, разнести керогаз! Но потом быстро отходил, всё ставил на ноги, чинил табуретку, собирал керогаз... Случая, чтобы кто-то из близких при этом пострадал, не было...

Для жизни ему было достаточно пары ботинок, пары брюк, крепкий стол, кровать... Всякие излишества его не восхищали и не раздражали. Единственная вещь, которая в нём вызывала уважение, была летчицкая кожанка на тугой молнии, с накладными карманами на кнопках, которой не было сноса. Всегда, сколько я помню батю, он носил эту кожанку.

Батя всю жизнь слесарничал: он умел довести до ума хирургический инструмент, наточить ножницы и ножи, и считался лучшим в городе специалистом, поэтому парикмахеры выстраивались к нему в очередь. Всё, что он делал в эту конкретную секунду, было главным, остальное ему путалось под ногами и мешало, и тут же летело к чёртовой матери! Например, если перебирался старый велосипед, то тумбочка, что оказывалась случайно под рукой, кувырком летела к той матери, о которой было сказано выше!

Во всём батя был нетерпеливым, как ребёнок. У него всё кипело и горело в руках. Он никогда ничего не откладывал на завтра. И особенно подзатыльники. В вопросы воспитания батя особенно не углублялся. Он никогда толком не знал, кто из нас в каком классе, когда у нас конкретно дни рождения. Но всегда у нас в детстве были собранные им велосипеды, самокаты и, конечно, фантастическая рогоза, выгнутая из толстого железного прута с приваренными накладками для ног. И поэтому всё детство мы гоняли по горкам и дорогам, сломя голову, а в детстве этого вполне достаточно для полного счастья.

После парада у нас традиционно было полно народа, хотя заранее никто не приглашался. Мама готовила тазик мясного салата, холодец из говяжьих ножек, винегрет и, конечно, курицу с тушёной картошкой, нарезала истекающую жиром селедку, посыпала кольцами репчатого лука и поливала уксусом и подсолнечным маслом. А батя выходил в город и, когда встречал кого-то из знакомых, говорил: «Пошли ко мне

праздновать!». Таким образом, у нас собиралось человек десять, и, хотя повернуться было негде, всегда было шумно и весело. Батя выпивал за столом один раз сто пятьдесят и крепко закусывал селёдкой с луком и чёрным хлебом. И больше не пил ни грамма, даже если у него настойчиво спрашивали: «Ты меня уважаешь?!»

После спешных трехмесячных курсов батя попал на передовую, и был сразу тяжело ранен. Там была жуткая мясорубка, где жизнь ничего не стоила, и её нужно было отдать, хочешь ты этого или нет.

А потом ему делали операции и доставали осколки со всего тела. После войны он остался один, потому что всю родню немцы утопили в Западной Двине, и у него сразу не стало ни отца, ни матери, ни шестерых братьев и сестёр! И он был один, пока не встретил в госпитале мою будущую маму. Он говорил: «Гитлер начал войну, чтобы я познакомился со своей женой!».

Кажется, это был единственный плюс той войны!

Ночью батя часто просыпался и не мог заснуть. И тогда он спрашивал у мамы:

- Рая, ты спишь?.. Рая, ты спишь?! Рая!!!

- А?.. Что?.. - просыпалась мама. - А, нет, не сплю!

- Я тоже не сплю! - говорил батя.

И потом они час могли говорить про то, что нужно купить на зиму мешка три антоновки и закатать компот в трёхлитровые банки. И про то, что хромой Борис всё же дурак, раз он не женится на Доре, потому что, кроме неё, его выходки не будет никто терпеть. И ещё про советскую власть, чтоб ей было пусто, потому что жизни от неё никому нет и не будет, и ей бы не мешало, как следует, дать по мозгам!

К батю всегда шли все, кому нужна была какая-то помощь, причём самая неожиданная. Я бы не удивился, если бы кто-то попросил его принять роды, или заменить в духовом оркестре заболевшего трубача! Что-то починить, или накатать письмо в газету, или кого-то поженить, - тоже шли к нему, и всё это он делал, особо не рассусоливая, с удовольствием и безвозмездно!

На добровольных началах он готов был переженить абсолютно всех, чтобы «данный Богом механизм не простаивал». Не зная о проблемах демографии, батя решал эту проблему по-своему, просто и эффективно. Выглядело это примерно так: к нам приходила, например, Соня из парикмахерской

«Незабудка», или повариха Люба из «Диетической столовой», или портниха Циля из «Дома быта». У всех у них было большое несчастье, которое засиделось в девках... А потом приходила толстая Броня, или Дора из магазина «Военная книга» с таким же несчастьем, только мужского пола. И все они просто умоляли батю найти что-то приличное!

- Есть, как будто по заказу! Дочка Циля из «Дома быта»! - говорил батя громким, полным здорового оптимизма голосом. - Красавица, каких свет вообще не видал! Груды, мама родная, как узбекские дыни! - батя растопыривал пальцы и наглядно показывал, про дыни какого размера он ведёт речь. - Клянусь, сам бы на ней женился, не раздумывая!

- Тихо, тихо, Изя, не говори глупости! - махала на батю рукой Дора, будто боялась, что кто-то услышит и первым завладеет этим кладом. - Ты лучше скажи, но только честно: она хотя бы порядочная?! Ты сам знаешь, сколько сейчас не порядочных! Я хочу, чтобы у неё на уме были только дети, только мой Яша, и только всегда обед из трёх блюд!

- Или она порядочная?! - приходил в ярость батя. - Да, если уже она не порядочная, тогда я не еврей, а китаец!

- Что ты такое говоришь, Изя? - пугалась сразу Дора. - Не дай Бог, китаец!

- Так вот, - расставлял все точки над «и» батя, - она такая порядочная, что она даже мужу давать не будет! Не говоря уже про всех других!

Он победно смотрел на Дору и давал понять, что торг дальше не имеет смысла!

- Что ты мелешь?! - хваталась за сердце Дора. - Я же серьёзно спрашиваю, Исаак!

- Если серьёзно, так на неё, как на телеграфный столб, можно смело вешать табличку «Не влезай! Убьёт!»

При этом батя подмигивал Доре, и со словами «Эх, Маруся!» щипал её без всякой задней мысли за задницу.

А Лизе из соседнего двора, - у которой мальчику было тридцать два, но он только целыми днями играл в шахматы и собирал почтовые марки, - батя говорил, как доктор:

- Лиза, не страшно, что твой шлимазл всё время сторонится женского пола. Я его познакомлю с дочкой Сони из парикмахерской на углу Ленина и Советской. Она его, конечно, немного старше, но зато она с квартирой и без полной тележки проблем! Если у него с ней не получится, ну, ты поняла, о чём я, я тут же вмешаюсь и покажу твоему шахматисту, как надо действовать в экстремальной обстановке!

- Изя, я тебя прошу, вот это как раз не надо! - вскрикивала Лиза. – А скажи, ты можешь познакомить их побыстрее, чтобы не тянуть резину, потому что я хочу уже побыстрее стать бабушкой?

- Значит, так, Лиза, записывай! - говорил батя, и было видно, что в голове у него уже есть план действий. - Я буду не я, если завтра к обеду они у меня не будут лежать в одной койке, и ты их оттуда не вытащишь, пока они тебя не сделают бабушкой!

- Ты с ума сошёл, типун тебе на язык! Ты хочешь, чтоб у моего Левы стало настоящее истощение организма? Он у меня всегда был освобождён от физкультуры!

...И чтобы вы знали, батя почти всех их таки пережил, и они живут вместе до сих пор, и уже сами имеют внуков. И уже, конечно, забыли, кто им устроил такое счастье в жизни.

Всегда, сколько я себя помню, у бати была немецкая паяльная лампа «Штурм» с очень мощным насосом. Лампа была начищена не меньше, чем труба у Лёвы Носа из городского духового оркестра, и после кожаной куртки была второй его гордостью. Он накачивал внутрь паяльной лампы воздух, говоря своё традиционное «Гоп-стоп, не вертухайся!». Воздух смешивался внутри с керосином, потом открывалась форсунка, и смесь поджигалась. Смотреть на паяльную лампу в это время было одно удовольствие. Вначале она медленно разогревалась, и пламя вело себя осторожно, облизывая красными языками горелку. А потом вдруг начинала шипеть, как два дерущихся бездомных кота, и, наконец, пламя вырывалось на свободу с бешеным неукротимым восторгом. В непростые годы паяльная лампа нас неплохо кормила. Батю звали смолить поросят. Это была хоть и не кошерная, но хорошая работа для еврея. Денег, правда, за это не давали, платили куском свинины, ножками для холодца и печёнкой. Работа эта была не пыльная. Свиной смолить батю научил Лёвка Шульц. Он жил когда-то в Тюменской области, куда уехал от бешеной жены Люси Лось. Но сбежал и оттуда, после того, как случайно утопил в проруби взрослую свинью и был чуть не убит суровым, но справедливым таёжным народом. Впрочем, это уже совсем другая история.

Однажды для прикола батя поспорил с нашей тётёй Таней из Риги, что может за сто рублей поцеловать настоящую лошадь. Звали лошадь Орлик, хотя это была крупная кобыла. Впрочем, для спора это не имело никакого значения. Орлик

возила в колхоз «Заветы Ильича» алюминиевые баки с пищевыми отходами из ресторана «Аврора». Она была серой и в яблоках, с буйной расчёсанной гривой, круглыми боками и большими умными глазами. Конюх Матвей любил Орлика, как мать родную, даже сильнее! Он говорил так, когда был не слишком трезвый, а поскольку он всегда был не слишком, Орлик была ухоженной, как Парк культуры и отдыха имени Фрунзе в канун праздника Великого Октября! Лошадь была для Матвея единственным родным человеком, с которым можно было в этом мире поговорить по душам. С ней Матвей разговаривал на особом языке, который лежал между русским и идиш. Он спрашивал у Орлика:

- Ну, вос герцах, Орлик? Как тебе наша собачья жизнь?

Орлик топталась на месте, трясла головой и фыркала. А Матвей тяжело вздыхал и говорил:

- Правильно, Орлик, наша жизнь – дрек на постном масле!

Когда батя получил выигранные сто рублей, он восемьдесят вернул тёте Тане из Риги, а двадцать дал Матвею, а тот, в свою очередь, купил себе «Московской» водки и Орлику пряники с маком.

А ещё батя любил при случае вправить советской власти мозги! Иначе, как фашистами, батя советскую власть никогда по-другому не называл. Всю свою сознательную жизнь он вёл с ней непримиримую войну в виде непримиримой переписки. Но иногда переходил к боевым действиям. Письма он писал складно, предложения выходили у него сложносочинённые. Но знаки препинания он при этом никогда не ставил.

- Я перед ними препинаться не буду, перед б..дями! - говорил он громко. А мама махала на него руками, потому что боялась, что услышат соседи.

С советской властью батя воевал за улучшение наших жилищных условий. Жили мы тогда в небольшой сырой комнате на втором этаже, без удобств, то есть они были, но совмещённые с нашим двором. А единственное окно, через которое мы могли бы смотреть на мир, было закрыто некой странной пристройкой. До неё можно было дотянуться рукой через открытую форточку. Смысл этой пристройки оставался полной загадкой. Там никто не жил. Там ничего не находилось. Там не было даже дверей.

А в это время рядом с нашим убогим домом построили роскошный обкомовский, похожий чуть ли не на мавзолей. Ходили слухи, что там, в обкомовских квартирах, был даже

настоящий водопровод с двумя кранами, и были даже унитазы, предназначение которых мы в ту далёкую пору до конца не понимали, и потому верить в них отказывались!

И тогда батя написал письмо в газету «Витебский рабочий», взяв на вооружение их же коммунистический литературный стиль. Письмо выглядело примерно так:

«Дорогая редакция Огромная пристройка перед моим окном не позволяет моей семье разглядеть преимущества социализма, хотя всем остальным, у кого пристройки нет, они очевидны! Эта пристройка бросает тень на наши завоевания Требую разрушить её или построить в ней сортир потому что я тоже как и жильцы обкомовского дома хочу наслаждаться нашими завоеваниями а не ходить срать за двести метров в общественную уборную! С уважением инвалид войны Исаак Крумер»

Письмо это успеха не имело. И тогда в один из дней батя пошел прямо в обком. Там как раз их бюро собралось на важное совещание. Милиция у обкома в те времена ещё не дежурила, и батя спокойно промаршировал мимо ошарашенной секретарши, и сходу ворвался прямо на их бюро. Дальше состоялся короткий диалог:

- В чём дело, товарищ?! Здесь идет бюро обкома!
- Вот вы мне и нужны!
- А у вас есть пропуск?
- Вот мой пропуск!

Батя задрал рубаху и повернулся к ним спиной. На спине у него были следы от двенадцати осколочных ранений, и она была похожа на перепаханное поле.

Конечно, был жуткий скандал. Он всё их бюро раза три обозвал фашистами. Они вызвали милицию, и батю силой выволокли на улицу, но никаких мер против него не приняли. То ли, в самом деле, они были фашистами, и это для них не было оскорблением, то ли не хотели связываться с инвалидом войны, так как в ту пору уже готовились сделать День Победы нерабочим днём!

А потом полгода к нам домой ходили всякие комиссии проверять жилищные условия. Поскольку места в комнате было катастрофически мало, стулья у нас висели на стенке на вбитых огромных гвоздях, и снимались со стены только по мере необходимости. Батя всегда предлагал членам комиссий посидеть, попить чая, и кивал на висящие стулья.

А через полгода нам дали ордер на двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Это была замечательная квартира. Так я первый раз в жизни тоже увидел унитаз и эмалированную чугунную ванну. Единственно неприятным было

то, что наши окна выходили на улицу Богдана Хмельницкого, а он, как известно, был тот ещё антисемит.

Однажды к нам домой зашёл один местный поэт по фамилии Докторов. Батя с ним познакомился в редакции «Витебского рабочего», куда занёс очередную жалобу на советскую власть. Докторов же бесконечно оббивал им там все пороги. Поэтом он был непризнанным, и печатать его не хотели, - включая его социалистическую лирику! И даже его жена, казалось бы, родной человек, ему часто кричала:

- Кончай, Докторов, свою писанину; лучше, паразит, устройся, как Лёвка Чиж, экспедитором на Городской холодильник, хотя бы рыба свежемороженая всегда будет в доме!

Но Докторов от жены отмахивался, считая её в высшей степени малограмотным человеком. Поэтов ведь при жизни никогда не признавали. Только после смерти, и то не всех. А у Докторова, кстати, был реальный шанс уже совсем скоро узнать, что с ним будет, как с поэтом после смерти, потому что редактор фабричной многотиражки «Советский скорострел», куда он тоже носил свои стихи тоннами, уже давно грозился его убить.

- Вот, послушай, это поэма! - сказал Докторов батя, заподозрив в нём перспективного почитателя. - Про вождя мировой революции. Вот, три ночи вообще не спал, ваял всё время!

Батя не успел опомниться, как Докторов, перегородив ему отступление, начал читать во весь голос:

- Ленин – первый рулевой был на диву волевой! Он с врагами шёл на бой! Мечтая также про надой!

- Про что мечтая? - переспросил настороженно батя.

- Про колхозный надой! От крупнорогатого скота! - пояснил Докторов. - Молоко, так сказать, сливки, простокваша! Очень сейчас актуальная тема!

Батя помолчал немного, подбирая слова, чтобы не обидеть поэта, потом сказал:

- Ты что, совсем ох...ел, Докторов? В честь тебя колбасу называли «Докторской», всенародной любовью пользуется, а ты тут хер знает что пишешь!

Докторов смертельно обиделся. Схватил в охапку листочки и убежал.

- Ладно, ты чего, совсем юмор не принимаешь?! - вслед ему закричал батя. - Я же в хорошем смысле. Стихи неплохие! И рифма, слышишь, мощная!

Потом Докторов приходил к нам домой. Особенно запомнилась мне его поэма о швее-мотористке. Там были такие

строчки на века: «И вот волнение не скроя, секунду каждую храня, она несла детали кроя в сиянье завтрашнего дня!». В исполнении автора строчки звучали завораживающе. И батя уже не был столь категоричным. Он только сказал Доктору:

- Ладно, давай выпьем! - и нарезал на тарелку кружочки докторской колбасы.

Когда коммунисты начали давать инвалидам войны бесплатные «Запорожцы», первым в Витебске машину получил друг бати Борис без ноги.

Борис каждый год ходил на медкомиссию, чтобы подтвердить свою инвалидность, и целая комиссия час осматривала его, замеряла линейкой, сколько ноги у него не хватает ниже колена, и всё тщательно записывали в его медицинскую карточку. И каждый год Борис у них спрашивал:

- Ну, что, немного выросла нога?.. Что, нет? Жалко! А, скажите, доктор, вы в самом деле надеетесь, что всё же вырастет, да?

В его словах было столько ехидства, что главврач еле сдерживался, чтобы не врезать этому инвалидному еврею между глаз!

Но потом и Борису, и бате дали пожизненное звание «Инвалид войны» и больше на комиссию не таскали. Наверное, советская власть немного поуменела, хотя это утверждение всегда вызывало большие сомнения.

И вот Борис без ноги уже целое лето ездил на бесплатном «Запорожце», а бате машину давать не спешили. То есть, советская власть любила всех, кто ковал победу, но не настолько, чтоб раздавать машины налево и направо! Но потом, к юбилею Победы, вызвали и всё же дали «Запорожец».

Конечно, назвать «Запорожец» машиной можно было только с большими оговорками. Думается, этой колымаге дали такое название, чтобы оскорбить гордых запорожцев, которые смело писали письмо турецкому султану.

То он не хотел заводиться, то не хотел ехать, то отказывался остановиться. Батя «Запорожец» машиной тоже не называл. Он всегда называл его «старой падлой», причём даже тогда, когда «Запорожец» ещё был новым. А когда «Запорожец» вдруг глох - называл его «б..дским металлоломом».

Этот «Запорожец» нужно было после завода-изготовителя доводить до ума. До ума его батя доводил вместе с нашим

соседом Василием, который работал в гараже автомехаником.

Василий был человек простой, умел дружить по-настоящему, и отличался патологической честностью и порядочностью. Он был редкий семьянин и боялся панически свою жену Дину Васильевну, которая к нему относилась очень хорошо. Но раз в месяц, после зарплаты, Василий прилично выпивал и шёл домой. И уже с улицы кричал:

- Васильевна! Хозяин с работы идёт! Всем стоять смирно, я сказал!

Дома он строил жену и детей по ранжиру и раз десять спрашивал, кто в доме хозяин?! И вся семья отвечала, что он! После этого Василий самодовольно кивал головой, выпивал жадно кружку кваса и шёл спать до утра. А утром, ни свет, ни заря тихонько вставал, торопливо одевался и пытался выскользнуть незамеченным из дома. Но чаще ему это не удавалось, потому что дорогу ему перегораживала Васильевна и показывала, кто в доме хозяин!

С тех пор прошло очень много времени. Бати уже давно нет на этом свете, мы живём в Израиле, а Василий с Васильевной многие годы, пока были живы, ходили на еврейское кладбище и ухаживали за могилой. И там всегда было чисто и ухожено. И весной всегда распускались цветы.

Когда батя ехал по дороге на своем «Запорожце», всем вокруг было «мама – не горюй!». Будучи по сути человеколюбом, он, тем не менее, чихвостил каждого, кто попадался на пути, потому что все они были в этот момент не людьми, а полными мудаками, и мешали ему ехать. Все окна «Запорожца» были всегда открыты, и батя успевал в каждое сказать кому-нибудь пару ласковых слов. При этом он украшал великий русский такой многоэтажного россыпью, что в среднем выходило примерно по три-четыре этажа на каждый километр дороги.

Антисемиты в силу объективных причин не любили батю. Но и батя не любил антисемитов. Что он любил, так это «набить какому-нибудь антисемиту рыло»! Поэтому, как это ни звучит парадоксально, он любил, чтобы ему иногда сказали про его «жидовскую морду». Долго ждать обычно не приходилось, семья жила тогда на самом углу городской каланчи. А рядом была роскошная пивная, где, кроме пива, подавали раков и воблу. Что скрывать, антисемиты тоже любят пиво и раков. Поэтому их тут хватало. Однажды один такой крепко выпил, и его потянуло на скользкую тему.

- Ну что, есть тут жида?! - спросил он, отрывая клешню.

Стоит ли говорить, что батя был тут как тут. Он быстро сбросил свою кожанку и обрадовал антисемита словами, что жида тут есть! После этого он одним ударом перевернул его вместе со стулом, и, чтоб привести в чувство, полил из его же кружки пивом. А потом поинтересовался, как тот себя чувствует?

Потом в милиции молоденький лейтенант почему-то вдруг встал на сторону бати. Может, был приличным человеком. А может, у него дедушка был еврей? В общем, этому антисемиту вдобавок к фингалу вlepили еще и штраф.

Через пару дней, когда фингал у него уже начал цвести всеми цветами радуги, он пришёл к бате просить прощения. И они даже распили вместе поллитровку. Батя выпил свои сто пятьдесят, а остальное выпил антисемит Коля. И потом Коля говорил бате:

- Хочешь - верь, хочешь - нет, а я тебя уважаю! - он хотел, скорее всего, добавить, что «несмотря на то, что ты еврей», но промолчал, опасаясь, по-видимому, второго фингала. А батя ему сказал:

- Что с тебя, Коля, возьмешь?! У тебя ж это в крови! Но если хочешь ходить без фингала, ты должен полюбить евреев.

И Коля после третьей твёрдо пообещал это сделать!

...Батя из жизни ушёл быстро. Было ему всего шестьдесят пять. У него открылась язва, и кровь пошла внутрь. Врачи носились, что-то делали, бестолково размахивали руками, а он лежал отрешённо, будто его это мало касается. Потом сказал как-то буднично:

- Вот, б..дь, жизнь!..

Потом посмотрел на нас и добавил просто:

- Всё! Я ухожу! - точно собрался прогуляться по виляющей из стороны в сторону Ленинской, широко размахивая руками и подметая улицу коричневыми брюками-клёш в широкую светлую полосу...

Когда стемнело

- Когда стемнело, я спросил:
- Мы хорошо погуляли, да?
 - Да.
 - Мы хорошо погуляли вдоль реки, да?
 - Да.
 - И по зоопарку.
 - Да, и по зоопарку.
 - Ты очень долго стояла перед клеткой с павлином.
 - Разве?
 - Ты меня любишь?
 - Да.
 - Ты очень долго смотрела на павлина.
 - Разве очень долго?
 - Да, очень долго. Когда ты смотрела на павлина, мне показалось, что у меня что-то с головой.
 - Это нормально.
 - Разве?
 - У всех людей что-то с головой.
 - Но ты любишь только меня, а не павлина.
 - Знаешь, мне бы не хотелось думать, что у тебя что-то с головой.
 - Так не думай!
 - Я стараюсь. Мне бы не хотелось, чтобы ты тоже думал, будто и у меня что-то с головой.
 - Ладно.
 - Так ты не станешь думать, будто и у меня что-то с головой.
 - Нет. Я так думать не буду.
 - Странно! Но ведь я тебя люблю.

Интервью

- Звонили из газеты.
- Хотим взять интервью, - сказала девушка. - Людей интересуется мнение писателя о заметной в последнее время тенденции подорожания цены на мясо.
 - Об этом как-то, простите, не думал, - сказал я.
 - Так подумайте, пожалуйста. Через три дня вернёмся.

Я стал думать.
Позвонили из радио.
- Хотелось бы взять у вас интервью, - сказал мужчина. -
Многих интересует мнение писателя о причине подорожания
мяса в целом ряде стран.
- Об этом как-то не думал.
- Разве?
- Простите.
- Так, пожалуйста, подумайте.
Я продолжил думать.
Звонили из седьмого канала телевидения.
- Позвольте пригласить вас на беседу о возрастающей в
мире цене на...
- На мясо? – вставил я.
- Совершенно верно!
- Как раз над этим сейчас и размышляю.
- Тогда до встречи!
Подошла жена. Спросила:
- Чего от тебя хотят?
Я рассказал об интервью относительно цен на мясо.
Жена проявила живой интерес:
- Какое мясо? Баранье, говяжье, верблюжье, упаси Бог, сви-
ное?
Я пожал плечами.
Приподнял брови.
Почесал в затылке.
Проговорил:
- Мясо есть мясо.
Жена отступила на шаг.
Схватила за сердце.
За спинку стула.
Прошла к окну.
Поглядывая грустными глазами на небо, проговорила:
- Думаю, что на радио, в газете, на телевидении имеют в
виду цену на мясо пушечное.
Я тоже подошёл к окну, тоже принялся разглядывать небо и
вдруг пришёл к мысли, что об интервью по поводу мяса
лучше не думать.

По дороге домой

"О, как не вовремя порой приходит время"

Наталья Резник

Свет лампочки под потолком чужой комнаты слепит глаза.

Сглатываю слюну.

Прислушиваюсь к утренним шорохам.

За окном небо сплёвывает с себя дождь.

"Хорошо бы себя оживить, сменив память, промыв мозги",
- думаю я и пытаюсь освободиться от плотно обхвативших
меня бёдер малознакомой женщины.

- Утро уже, - говорю я.

- И что с того? - спрашивает она.

В моей голове пустота – забыл, когда родился, не знаю, ко-
гда умру.

Пытаюсь думать о парнях роты, прибывшей в Газу сменить
мою.

- Что, солдатик, замучила тебя? - смеётся женщина.

Пытаюсь вспомнить "Жизнь взаимы" Ремарка.

Слышу:

- Если устал, прошу прощения!

- От себя устал, - говорю я, - от неудержимо разрастаю-
щихся в Израиле кладбищ, от мысли, что ждать меня больше
некому.

У женщины колючий взгляд.

- Никто в живых не остался? Совсем никто?

Стараюсь думать о возвращении в университет и о книгах,
из которых узнал о первой ночи любви.

- О чём задумался? - спрашивает женщина.

- О жизни, - говорю я.

У женщины настороженный взгляд.

- Что тут думать? - говорит она.

- Как жизнь прожить...

У женщины взгляд ласковый.

- Лет тебе сколько?

Решаю прибавить три года.

- Двадцать два, - говорю я.

У женщины взгляд добрый.

- Поднимайся, - говорит она, - пойду заварю чай.

Поэзия

Светлана Аксёнова-Штейнград

Распадаются связи, слова и семейства,
укрепляются фобии и фарисейства,
воздух пахнет бензином и ржавой резиной,
и шахиды, услышав призыв муэдзина,
отправляются в райские кущи пардеса,
где в награду, как тысячи лет до прогресса,
скромно-страстные гурии сладкого страха
отдаются под зорким присмотром Аллаха.

А хасиды – в одеждах поношенной шляхты
в синагоги спешат, как шахтеры- на вахты,
добывая из глыбы души вдохновенной
золотые молитвы – Владыке Вселенной,
всемогущему блогеру вечного света!
Как давно от него мы не слышим ответа!
Видно, Мастер смертельно устал от работы,
И теперь, как в запой, уходит в субботы...

И увы, от Машиаха нету подмоги,
Может, ослик его окопел по дороге?

*"Мы отдохнём! Мы услышим ангелов,
мы увидим небо в алмазах"
А. Чехов. "Дядя Ваня"*

Сурьма суеты бесперерывно хлещет,
бессовестно быстро закрашивая простор.
Сложнее всего удаются простые вещи,
прочнее всего заполняет пустоты вздор.
А ты куролесишь, кочевница и каналья,
а ты каруселишь свои виражи-миражи
на мусорной свалке блефующего тщеславья
и ветоши слов, истлевших от лести и лжи.
Чтобы в финале бесповоротной сцены -
без репетиций последней из всех разлук -
увидеть на небе тот камушек драгоценный,
который однажды ты выронила из рук...

И этот сучий случай
забыть, как сон дремучий,
и знать, что в тяжкой туче
созрел нездешний свет...

*... Но старость – это Рим, который
взамен турусов и колес
не читки требует с актёра,
а полной гибели всерьёз.*

Борис Пастернак

Пора спускаться вниз, скользить по склону,
и тихо ускользать от скольких склок
на склоне лет, когда к смиренью склонен,
и так самозабвенно одинок,
так от тщеты и пустоты публичной,
и суетных тусовок отлучён,
что сознаваться в этом - неприлично,
как будто в чём-то стыдном уличён!

И нет ни в чём - ни Рима, ни величья,
но гибель затевается всерьёз.
И надо научиться жить по-птичьи,
и улетать легко, без лишних слёз.
И в этих репетициях забвенья,
зачёркивая чушь черновиков,
почувствовать такое озаренье,
которому уже не нужно слов...

Прекрасная, несчастная страна -
беспечная, бесстрашная, шальная,
где длится бесконечная война,
где праздников безудержных волна
солдатский пот и слёзы вдов смывает,
где терпкий вкус веселья и вина,
и где свечей субботних тишина
колодцы душ заблудших освещает.

Единственная, странная страна,
которой эта вечная вина,
быть может, потому присуждена,
что обитать отважилась она
в неосторожной близости от рая...

(око за око)

Несмотря на протесты досужие
Сионисты не сложат оружие
Хоть они не врожденные воины
Но их доблести небом удвоены.
Элохим уничтожит Аллаха -
тот и раньше-то был не милаха,
дух пустыни, исчадие зноя -
а теперь он за зло показное
обещает блаженство лихим...
Так не будет, сказал Элохим,
милосердие не помогло нам,
будем жестко кончать с этим клоном
Я же Сам начертал на скрижалях -
тех, кто против евреев - не жаль их.

(налогоплательщик)

Чем таким прижат к земле я?
Чем я согнут, братцы?
Расскажу, от страха млея.
Постараюсь вкратце.
Бюрократы всех чинов,
чей всегда versace нов;
политологи, эксперты,
что жируют на трансферты
депутаты разных дум,
что оффлайн играют в doom;
и начавшие игру
эфэсбэ, совбез и гру,
насосавшие с бюджета
всё - от яхты и до джета;
столиццот бойцов в траншее
матросня и солдатня -
все толпой сидят на шее
лично, лично у меня!

(собачья жизнь)

Мухтар Хвостов родился псом.
Хоть по набору хромосом
он явный sapiens и homo,
но спяну покусал Пахома,
смеётся, по-собачьи лая,
насрал под дверью Николая,
как ни крути - женат на суке,
начальству кротко лижет руки,
гоняет наперегонки
и всех детей зовёт "щенки" ...
Конечно, мнит себя бульдогом,
но был разбор, и по итогам
переведён охранным главком
на задний двор к помойным шавкам

(ждун)

День начинаю улыбкой и йогой
Держусь диеты, хотя и нестрогой
Недосаливаю и не перчу
Показываюсь лучшему врачу
Не верю продажной прессе и
Таблетки пью от депрессии
Не спорю - а то увлекусь и
Дискредитирую в ходе дискуссии
Никакого экстрима и риска!
Отхожу если катятся близко
Даже детские велосипеды.
Лишь бы дожить до Победы

(гельминтология)

игнатий вёл себя как глист -
он был прожорлив и петлист
и в организмах шёл вразнос
иницируя понос
но сам себя считал питоном
и излагал надменным тоном
что просто добр ещё пока
а то бы задушил быка

Марина Старчевская

А жаль...

Среди жары, среди войны
Уже не верится, что где-то
Во мне ещё не сожжены
Дожди и северное лето.

В неизмеримом далеке
Невозвратно существуют
На скандинавском островке
Постройки — стайка чистоплюек.

Сквозят, затёртые до дыр,
Как устаревшие офорты,
Трава, похожая на дым,
Гнездо и лебеди у фьорда.

И в этой сонной тишине,
Прогретой ветренным июлем,
За облаками в вышине
Господь вращает звёздный улей.

Как жаль, что в нынешней войне
И этот мир умрёт во мне.

Шальному сердцу...

Шальному сердцу нет замены,
Оно стучит.
И матюгнувшись на сирену,
ищу ключи.

Сержусь на мужа: "Где ты ходишь?
Иди домой!"
Грохочет, бухает... и вроде
Уже отбой.

Строка написана и стёрта,
Тяжёл глагол.
И день прошёл... Какого чёрта
Мой день прошёл?

Бег

Бушует осень, на лету глотая
бульвары, яхты, пристани, гудки...
И пёстрый чайна-таун вне Китая
меняет имена и языки.

Жужжит в лесу, дичая, рой пчелиный,
гнездо взлетает в небо из травы...
И скачет мир по кочкам и долинам,
как всадник без повинной головы.

Передо мной, уже какие сутки,
мелькают крыши: Лондон, Амстердам...
Все вещи, кроме зонтика и куртки,
две сумки — ровно десять килограмм.

Как пёс во сне подёргивает лапой,
воображая непрерывный бег,
так я в рассвет пытаюсь влезть по трапу,
припоминая день, неделю, век...

Живи

Не ожидай знамений свыше,
Когда делами правит ложь.
Не чёрный кот идёт по крыше,
А предрассветный тёмный дождь...

Живи, как путник на постое,
Чем ты владеешь, тем богат,
Цени хорошее застолье,
Не ради календарных дат.

Смотри на жизнь, как смотрит пьеску
Случайный зритель из райка.
Её не делят на отрезки:
Она и так невелика.

И не рассчитывай на знаки,
Иди к себе, как ходят вброд.
Читай стихи своей собаке,
Дели с ней чёрствый бутерброд.

Когда устарела модель

За ними не вышел космический катер.
В двух роботах-ТИ устаревшей модели
Не ладилась связь, не мигал индикатор,
И "Тишки", как дети, послушно сидели.

Трепались о том, что никто не воротит
Программу спасения дикой природы...
И горько кривился пластмассовый ротик
У левого робота женского рода.

Глаза у мужского слезились незряче
(Попробуй такую беду одолей-ка!) —
Навеки утрачен оптический датчик,
К тому же кончался запас батарейки.

Мечталось повесить физический тонус
При помощи смазки с экстрактом ванили...

Два робота ждали на лавке автобус,
Не зная, что этот маршрут отменили.

В тёплом сумраке лица

Улица в дымке задёрнутых окон.
Голова несуразным пропитана вздором.
Ходишь вокруг, в сторонке да около.
В память лезешь, как с гвоздодёром...
Всё понимаешь. Ни смысла, ни логики
нету в этих блужданий запое.
Фонари напрягают, как острые колики,
хочется стать однажды толпою.
И вновь потерять себя, и затеряться,
и снова найтись. И завывать от восторга!
Словно вкусил от всемирного братства
лавину тепла, захлестнувшего горло.
Впрочем, куда уж! Забудь про объятья.
Все мы друг другу немножечко судьи.
Пусть не враги, но, конечно, не братья.
Просто – такие. Люди как люди.
Я не люблю тебя, воспоминание...
Жизнь так бесцветна в видении бледном.
Время, помноженное на расстояние,
это и есть настоящая бездна.
Страшно навечно в неё провалиться.
Впрочем, сейчас мне по сердцу бравада.
Улица. Люди. В тёплом сумраке лица
с беглым, но всё понимающим взглядом...

Вот-вот грядёт сезон дождей

Но где же ты, сезон дождей?!
Вновь затянулось ожидание.
Средь опалённых зноем дней
дождь как далёкое предание.
Резвится осень и берёт
в охапку солнце, в дымке тая.
Ускорь же свой круговорот,
природа наша золотая.
Что ждёт ещё нас впереди?
Кто нам удачу напророчит?

Весёлым ливнем награди,
ты славный город ближе к ночи.
Седые улицы омой,
а может быть ещё и души.
И я, когда вернусь домой,
дождь, словно сказку, буду слушать.
Представлю в сумрак слов его
смысл непонятно сокровенный.
И вдруг поверю в волшебство
с заветной встречей непременно.
Дождь синий примется бродить
по мостовой, по окнам тёмным.
И будет что-то впереди
казаться страшным и огромным.
Душа, от боли онемей.
И помолчи, вкатившись в осень.
Вот-вот грядёт сезон дождей.
А большего мы и не просим...

Видение

Как быстро прошли нулевые!
Как будто промчался экспресс...
Ещё мы немного живые,
включённые в долгий процесс.
Как время, летим без оглядки
и с веком почти наравне.
Но взятки не так уже гладки,
и память мутит в глубине.
Средь правых и средь виноватых
смешались и свой, и чужой...
Успели родиться солдаты
для новой войны мировой...

Просыпаясь...

Почему-то часто под утро
мир мне кажется лодочкой утлой...
Я один в сереющей мгле,
в океане иль на земле.
Никакого вдали просвета,
только время зовёт к ответу,
прежде чем в этой тьме пойму

что к чему... Или ни к чему...
Ох, уж эти житейские волны,
что кидают то в мор, то в войны,
то толкают в пропасть с горы...
Тихо сердце прошу — не сгори,
дай проснуться... Не за горами
утро. Бьётся в оконной раме
худосочный, сонливый рассвет....
Надо жить, словно выбора нет...
Или выхода. Или входа...
Что ж, во всём виновата погода...

Черга

Тетрадка – память. Есть листочки в клетку,
есть и в линейку. Рву всё это в клочья.
Где сделал пропуск, где оставил метку
или лукаво вывел многоточие —
всё прочь. Знать смысл уже не нужно
глав, оглавлений, сносок, пояснений.
Заглохнет хор сюсюканий натужных,
прекрасных, но изжёванных мгновений.
И наконец-то, сам себе в угоду,
пока хандра опять не раскачала,
я как-нибудь, хоть через пень-колоду,
начну себя возделывать сначала...

Шаг

Как трудно мне даётся этот шаг
из августа в сентябрь.
Качается на тонкой ножке мак
у края лета. Я бы

взяла его с собой в сезон дождей,
хоть он увянет вскоре.
Дороги нет обратно – я уже
на стыке территорий.

Тонка, едва заметна нить межи, –
переступаю быстро.
За этой гранью крутит виражи
гонимый ветром листик,

оплакивает жухлая трава
истраченную свежесть.
Чем дальше вглубь, тем проблески тепла
и радости всё реже,

всё больше туч над копьями антенн,
заметней сеть морщинок.
Я буду пить рубиновый глинтвейн,
вдыхая жар камина,

и слушать, как размеренно скрипит
калиткой ушлый ветер.
Я свыкнусь с этой осенью, почти
забыв о давнем лете.

Но как-то, открывая старый том,
над кружкой чая с мятой,
найду случайно маковый бутон,
засушенный когда-то.

Ангелы

Ангелы наши спят беспробудным сном
столько уже горьких недель подряд...
Сны им, наверное, видятся об одном.
Падают стены, но ангелы тихо спят.

Падают души. Ветер струится сквозь
пёрышки крыльев, тычется наугад
в спины и плечи, сушит следы от слёз
на посеревших лицах. Но ангелы спят.

Спят, чтоб не видеть, как копошится бес
в груди осколков наших надежд и утрат.
Воют сирены под сводами двух небес,
цепко впиваясь в крыши. Но ангелы спят.

Въелась в волокна белых перьев зола,
сбились подолы светлых льняных туник.
Ангелы так слабы перед ликом зла.
Слеп, бестолков, бесчувственен этот лик.

Стихнет однажды бури песчаной мощь.
В мире всё это было уже не раз.
Ангелы, счистив с перьев пепел и ночь,
молча обнимут в живых оставшихся нас.

Ров

От страны к стране простирались рельсы,
дороги бежали туда и назад.
Напевая хит «Океана Эльзы»¹,
я вдыхала запоем Старый Арбат.

Погружаясь на Красной в бездонность неба,
вымеряя шагами Садовый виток,
я в уме повторяла «Подолье»² и «Днепр»³,
растворяясь в напевности этих строк.

¹ «Океан Эльзы» — украинская рок-группа. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.

² Стихотворение Леси Украинки «Краса Украины, Подолье!...»

³ Стихотворение Тараса Шевченко «Ревёт и стонет Днепр широкий»

А потом, отражаясь в одесских окнах,
ощущая ступнями булыжный рельеф,
я читала взахлёб Александра Блока
и Сергея Есенина нараспев.

Я Цветаевских нервных стихов горечь
заливала в каналы своих вен.
А теперь, словно ров, пролегло горе
между «кручами» этих и тех стен.

Мир повис, как брелок на ключе пуска.
Вся планета зажата в одной руке.
Мне диктует Муза только на русском.
На каком мне теперь писать языке?

Страх

Я знаю о гладких сверкающих льдинах,
об их равномерном, глубинном сиянии.
О том, как рассвет разливается синим
по белым полотнам. О том, как на гранях

заснеженных гор отражается небо,
и тихо вокруг, упоительно тихо!
Прохлада и тишь благодатная! Мне бы
того и другого – невинная прихоть.

Да только в моём раскаленном анклав
на лбу проступают горошины пота
от жара и страха. С высот, точно лава,
стекает на крыши раскатистый грохот.

Сирены... и вторит устало им город
дрожанием окон и лаем собачьим.
А я... к ледяным белоснежным просторам
отчаянно лбом прижимаюсь горячим.

Несбыточность

Снова память о том, чего не было
мне уснуть не даёт. Отбиться
от неё не могу. За пределами
повседневности, словно птицы,

кружат мысли. Пропитаны сыростью
занавески. Под сердцем ноет
ощущение необратимости:
я сдала и Урук, и Трою –

над руинами грозы беснуются...
Мне же слышится, как знамёна
треплет ветер, и людно на улицах
городов моих погребённых.

Я зимую в хрустальных хороминах,
взяв у банка иллюзий ссуды.
На зубах остаётся оскоминой
вкус того, что уже не будет.

Всего-то был один росток,
а собран пуд зерна.
Мы сока выпили чуток,
но вышло – жбан вина.
Виски давно подкрасил мел,
солидной стал, кажись.
Лишь час с тобою пролетел,
а оглянулся – жизнь.

Стоит поставленная в угол
Вселенной, и уже в пыли,
картина, где в квадрате круга,
как два мазка, мы друг на друга
движеньем кисточки легли.

К степи прижался хуторок унылый.
Старушка пригласила на ночлег.
Чем было, небогато стол накрыла –
не каждый день тут свежий человек.
Ушли соседи, остудилась хата,
на окнах нарастает снега ворс,
и по двору походкой нагловатой
разгуливают ветер и мороз.
Они кусты неряшливо побрили,
сушняк перенесли за три версты.
Часы со стенки уронили гирию
в дырявые карманы темноты.
Согрет тулупом, подо мной рогожа,
уютно так лежать у дня на дне.
И думается: “Наконец-то, Боже,
остались мы с тобой наедине”.

Не к пользе нам коптенье сытое,
где берега у рек кисельные.
Иные жнут, хотя не сеяли,
а мне собрать бы, что рассыпал я.

Расплескалась с проседью коса,
проскользнул до пят электроток,
и в рукав с намёком: “Не кусай!”
улизнул игриво локоток.
Страусята спрятались в пески,
вырез – для слепого поводырь.
И заварка, как твои соски,
посветлев, крупнеет от воды.
Темнота накинула жакет
на окно. Спит месяц в гамаке.
Вызрел чай, и незачем жалеть
о сбежавшем в прошлом молоке.

В суете реалий,
пахнувших бензином,
вспученных стеклом,
я всего фонарик,
верящий наивно,
что несусь тепло.

В октябре сквер в позолоте,
обцелованный луной.
Туча капельки уронит.
Я забуду снова зонтик.
Вдруг шалашик надо мной –
это мамыны ладони.

Сергей Корабликов-Коварский

У старости – твоё лицо!
Оно немножко грустновато
И почему-то виновато.
Его виски белее ваты...
Но у неё – твоё лицо!

Пусть не грустит – наряд к лицу,
И путь ещё довольно долог...
А время – лучший косметолог
И знает, что кому к лицу!

Тебе мешают зеркала.
Ты их из комнат убираешь:
Ты в прятки сам с собой играешь.
Ах, да при чём тут зеркала?!

В седых бровях нагромоздясь,
Живут житейские заботы –
Как от субботы до субботы
Прожить, на годы не сердясь...

А в остальном ты так похож
На головастика-мальчишку...
Ты – головастик-старичишка,
И, в общем, – на себя похож!

У Прошлого есть тихий уголок,
Куда лесные не доходят тропы...
Я завяжу на память узелок –
Так к парашюту прикрепляют стропы,
Чтоб опуститься там,
где нет дорог...
И только память, жаркая, как пламя,
Ещё живёт в огне осенних строк,
Написанных о нас, – увы! – не нами.

И Ты говоришь мне.
уйти в эту тёмную, грязную,
мёртвую ночь?
Одной!
Навсегда?
И уже никогда не вернуться?!
Отчаяньем сна захлебнуться
И уже никогда,
никогда не проснуться...
И чёрную тяжесть с груди
хоть немножечко сдвинуть
не смочь?..
О Боже!
О мир!
Этот ад, этот рай!
Эти – мне изменившие стены!
Кто руку протянет
меня удержать от падения вниз?
Кто схватит мой детский кораблик
из грязной клокочущей пены?
О, мама моя!
Обними, успокой, удержи...
Обернись!
О шедший со мной,
мой надёжный, мой нежный,
мой добрый!
Я имя твоё,
как церковную свечку,
сжимаю в руках.
Ты мною потерян...
Растерян, обманут, обобран –
Прости мой уход...
Я уже улетаю...
Я – таю...
Я – дымка в ночных облаках...

Мы умираем, когда
у Любви умирает память,
А имена обретают
глухой и бесстрастный звук.
Видел древко, с которого
бурей сорвано знамя?

А водопад, где тонет
даже спасательный круг?!
Если Любовь умерла,
за ней умирают звуки:
Даже эхо в лесу
не возвратит ответ!
Гаснут на небе звёзды,
не вынося разлуки.
И умирает небо,
не отыскав их след.

Наталья Кристина

Пришла незваная, собой
Весь белый свет загородила.
Она была глухой, слепой
Была, но всюду находила.

Уверена в своих правах,
Без разрешенья и ответа
Она садилась на кровать,
С ума сводила до рассвета.

Рыданьем разрывала грудь
Безжалостно, и очень мало
Она напоминала грусть
И радость не напоминала.

Кровь леденила, сердце жгла,
Её гнала, но неотвязно,
Как лучший друг, верна была,
И как заклятый враг, - опасна.

Пред ней земная красота
Лишалась цвета и звучанья,
Бессильно мучились уста
Бессильной мукою молчанья.

Являла мне из черноты
Его черты, узор ограды,
И на вопрос:
– Да кто же ты?
Сказала просто:
– Боль утраты...

Пока листва трепещет на ветру,
Пока роса сверкает поутру,
Пока с добычей зверь спешит в нору,
Течет река и камни точит сонно,
Мне грустно сознавать, что я умру,

Но я умру, и потому способна
Любить весь мир надежды и тщеты,
Добра и зла; и травы, и цветы;
Весь мир, сиянье дивной красоты
Любить, как предстоящую потерю, –
Безудержно, в преддверье пустоты
В её существование не веря.

Казанова

Вдали появится вокзал,
Там подаянье дам,
Чтоб старый пьяница сказал:
«Благодарю, мадам».

И я его благодарю
За всё, чем прежде был,
За прогоревшую зарю,
За Казановы пыл.

За то, что замер на бегу
И, словно пару крыл,
Весёлый бог на берегу
Объятья мне раскрыл.

За властный тон, за страстный стон,
За Казановы пыл,
За то, что в жизни только он
Со мною нежен был.

За то, что я одна из тех,
Кого он озарил,
С кем райской радостью утех
Печали серебрил.

Разлуки яд испив до дна,
Не пожелала зла.
Быть может, только я одна
Понять его смогла.

Он был отчаянно ничей –
Летящий плащ, клинок –
Он был и в пламени ночей
Щемяще одинок.

Я и теперь его пойму,
Что на ветру продрог,
Что бесприютности суму
Влачит в пыли дорог.

Я и теперь его пойму,
Что в жизни изнемог,
Что никогда и никому
Принадлежать не смог.

За то, что замер на бегу
И, словно пару крыл,
Весёлый бог на берегу
Объятья мне раскрыл,

Приду я снова на вокзал
И подаянье дам,
Чтоб Казанова мне сказал:
«Я помню вас, мадам»...

Ах, бабушка!

Ах, бабушка! Ах, бабушка! Платочек узелком
Под женственным, но властным подбородком
И строгий взгляд хозяйки. А на ком
Еврейский дом содержится в порядке?

Ах, бабушка!.. Меня не дождалась –
Поторопилась. Но перед кончиной
Велела не рыдать – в тиши почила –
Так напоследок проявила власть.

А я рыдала б! В «Книге бытия»
Хоть на годок тебя бы откричала,
Твою молитву над моим началом,
Твой тёплый шёпот: «Внученька моя...»

Увы! Увы!.. Но вот срубили ель,
Чтобы кроватку смастерить для брата.
Он передаст мне эту колыбель,
Лишь через год: я даже не зачата!..

Ах, бабушка, когда-нибудь, авось,
В мирах иных нам уготовят встречу...
Пока ж я твоим именем зовусь,
В канун субботы зажигаю свечи.

Так пошли ж ему, Господи, сон про меня,
Как мы с ним танцевали в сиянье огня,
Как бежал мне навстречу, худощав и высок,
Как песок уплывал у меня из-под ног.
Пусть приснится ему моё платье из льна,
То, в котором была я свежа и юна,
То, что нежно вилось вдоль коленок худых,
То, что праздником было для нас, молодых.
Но какие при этом звучали слова,
Пела пена морская, шептала трава, –
Я забыла, лишь видимость тайны храня...
Так пошли ж ему, Господи, сон про меня!

Первый гонорар

В продрогшем клубе, на подмостках
Кружится девочка в «матроске».
Под перестук и «тра-ля-ля»
Она танцует «Шамиля».
И мальчик, неженка и плакса,
Преобразился. С криком «Асса!»
Летит на цыпочках вослед,
Спугнув коптилок полусвет.
А над Уралом морок ночи...
Эвакуация... Короче –
Идёт великая война,
И тяжко ранена страна.
А в зале старики-татары
В восторге от еврейской пары
Детей, голодных и худых,
Так щедро делятся лепёшкой
Да горстью семечек – немножко
И славы ради, и еды...

Подробности – письмом,
А писем-то не пишем!
Но мы своё возьмём
Хоть движемся всё тише.
Прорвёмся как-нибудь,
Не прямо, значит, краем.
Недаром этот путь
Мы сами выбираем:
Кого и как любить,
Кому и сколько должен,
Как до такого дожил –
Ну, так тому и быть!..

Ах, только бы поймать
И удержать синицу –
Не журавля, но птицу –
На вздохе удержать...
Пускай себе стучит
В мою грудную клетку –
На жёрдочке ль, на ветке –
Да только не молчит...

НОН-ФИКШН

Александр Крюков

Кентавр

(Ушёл из жизни писатель Сами Михаэль)

...В ивритской литературе работает писатель-кентавр, одна половина которого - арабская, а другая - еврейская.

Сами Михаэль о себе

В самом начале апреля 2024 года ушёл из жизни известный израильский писатель Сами Михаэль, особенно популярный у нескольких страт израильских читателей: любителей честной, порой с элементами натурализма литературы о выходцах из арабских стран в Израиле; сторонников левых либеральных взглядов; а также израильских арабов. Ещё при жизни критики называли Михаэля классиком современной ивритской литературы.

Сами Михаэль (Салах Менаше) родился в Багдаде в 1926 году, в семье, принадлежавшей к верхушке среднего класса. Его отец был чиновником, образованным и интеллигентным человеком. Салах оказался старшим ребёнком в семье, где, помимо него, было ещё семь детей.

С детства будущий писатель увлекался чтением, причём уже в юности начал читать по-английски. «В Ираке не было театра, но я прочитал всё, от Шекспира до Шоу, на английском языке. Я создал свой внутренний театр, мысленно поставив все пьесы, которые прочитал».

В 15 лет Менаше вступил в нелегальную коммунистическую организацию, в 17 стал сотрудником коммунистических изданий на арабском языке. В 1948 году властями он был объявлен в розыск и бежал в Иран, где продолжал работать в подполье, за что ему угрожала выдача иракской полиции. В 1949 году Менаше переехал в Израиль, поселился в Яффо, где было значительное арабское население, и оформил израильское гражданство на имя Сами Михаэль.

После службы в Армии обороны Израиля учился в Хайфском университете, получил степень бакалавра по психологии и арабской литературе. В Израиле Михаэль стал членом

коммунистической партии, публиковался в её печатном органе на арабском языке «Аль-Джадид». Его привлёк к работе известный драматург и писатель, будущий лауреат Государственной премии Израиля, араб по национальности Эмиль Хабиби. В этом журнале Михаэль начал публиковать свои рассказы под литературным псевдонимом Самир Марид.

По окончании университета Михаэль проработал 25 лет в министерстве сельского хозяйства, в отделе ирригации и орошения. Работал в гидрологических экспедициях, много ездил по стране, поэтому литературой мог заниматься только в свободное от основной работы время, - что, однако, не помешало ему стать известным писателем.

Особенно плодотворными в его творческой карьере были 1970-е годы. Первый роман Михаэля «Равные и более равные» («Шавим вэ-шавим йотер») вышел в свет в 1974 году. На следующий год за ним последовала книга для детей «Пальмы в бурю» («Суфа бейн а-дкалим»), за которую автор получил премию им. Зеэва.

Первый крупный роман Сами Михаэля «Покровительство» («Хасут», 1977), основанный на реальных событиях, рассказывал о любви израильских араба и еврейки, активистов коммунистической партии. Это произведение удостоилось премии им. Кугеля, которую присуждает муниципалитет города Холона. В 1979 году писатель опубликовал роман «Пригоршня тумана» («Хофэн шел арафэль»), который получил премию муниципалитета Петах-Тиквы. В том же году была издана повесть для юношества «Трущобы и мечты» («Пахоним вэ-халомот»).

В 1984 году появилась книга Михаэля «Вот колена Израилевы: Двенадцать бесед о положении общин» («Элле шивтей Исраэль: Штэйм-эсре сихот аль а-шеэйла а-эйдатит»).

В последние пятнадцать-двадцать лет, выйдя на пенсию, писатель целиком отдался литературному творчеству. У него был твердый упорядоченный стиль работы: дважды в день - после завтрака и после обеда - он садился за письменный стол. И писал ежедневно - не менее четырех часов. «Я организованный писатель, словно дисциплинированный солдат», - говорил он.

В 1987 году вышел роман «Труба в вади» («Хацофра бэ-вади»), повествующий о судьбе арабской христианской семьи в Израиле. Под влиянием жизненных коллизий традиционные, почти патриархальные устои и отношения в семье разрушаются. Одна из дочерей главы семьи беременеет от

преступника-араба, у другой ребёнок - от соседа-еврея, который гибнет в ходе Войны Судного дня. На основе сюжета романа автором была написана одноименная пьеса, имевшая успех у зрителей.

В 1990 году вышла очередная книга Михаэля для юношества «Любовь среди пальм» («Ахава бейн а-дкалим»), которая также получила премию им. Зеэва.

За многочисленные произведения для юных читателей осенью 1992 года в Берлине Сами Михаэль был удостоен награды Международного объединения детской и юношеской литературы.

Роман «Виктория»

В январе 1993 года в одном из крупнейших израильских издательств «Ам овед» вышел в свет автобиографический роман писателя «Виктория».

Сюжет произведения, до краёв наполненный страстями и событиями жизни большой восточной семьи, основан на воспоминаниях автора о своём детстве, проведенном в Багдаде, а также на рассказах его матери Горджии. Один из главных героев романа Альбер (в образе которого явно выступают черты самого автора) - сын Виктории, умной и благородной женщины. Именно она - главная героиня произведения. Читатели видят Викторию на всех основных этапах жизни: с момента рождения в начале прошлого века в Ираке, находившемся тогда под турецким управлением, и до глубокой старости, которую героиня встречает в своей квартире в Рамат-Гане, окруженная многочисленными потомками.

Со страниц книги встаёт яркий образ незаурядной личности: женщины, казалось бы, всё испытавшей в своей жизни - как многочисленные трудности, страдания и несчастья, так и познавшей высокие взлёты любви, благородных чувств и искреннего счастья. С детства Виктория любит своего кузена Рафаэля (прообразом которого был отец писателя Менаше), за которого и выходит замуж.

Построение произведения несколько необычно: подробно описана жизнь семьи Альбера в Багдаде в период, пока мальчику еще не исполнилось и десяти лет. Эти страницы романа отданы не приукрашенному, порой просто натуралистическому описанию повседневной жизни в общине иракских евреев. Читатель видит безрадостную картину: скученно живущие многодетные семьи, члены которых отправляют свои естественные потребности, не стесняясь друг

друга; мужчины постоянно посещают проститутку, избивают жён и детей; для отца переспать с малолетней дочерью - принятая норма поведения; скандалы, ругань, драки, и при этом - засилье суеверий. Всё это показано в романе с точки зрения самих иракских евреев, причём членов среднего класса, а не представителей низов.

В этой связи следует отметить, что после опубликования романа в среде израильских критиков раздались голоса, обвинившие Сами Михаэля в натурализме и даже преувеличениях. Писатель принципиально ответил на это, заявив, что община иракских евреев в Израиле достаточно созрела, чтобы знать и говорить правду о себе.

Возвращаясь к рассказу о структуре романа, отметим, что за многочисленными страницами описания жизни общины в Ираке следует длительный хронологический перерыв, и читатель вновь встречается с главным персонажем уже в Израиле. В краткой завершающей книгу главе автор рассказывает о смерти отца Альбера.

Отвечая на вопросы критиков о причинах столь своеобразного построения «Виктории», Сами Михаэль сказал, что, во-первых, по его мнению, ещё не наступило время полностью рассказать всю правду о причинах эмиграции еврейской общины из Ирака (писатель попутно дал понять, что официально принятая на сегодняшний день версия является не исчерпывающей или вообще неистинной). Во-вторых, автор романа заявил: в его сознании существует такое количество творческих планов и задумок, что не исключено и продолжение работы над этим сюжетом, и создание трилогии о жизни Альбера.

К написанию романа автора, по его словам, подтолкнула смерть отца, которая произошла в 1990 году, когда тому уже было 92 года. Чувство тяжести от потери было настолько сильным, вспоминал Михаэль, что он сел за письменный стол сразу после похорон. Однако по мере работы над книгой произошло неожиданное: вместо романа об отце стала получаться книга о матери. «Я был под влиянием кончины отца, поэтому моим первым намерением было написать книгу о нём, а не о маме. С одной стороны, отец был воплощением восточного мужчины и распространял вокруг себя чувство уважения; с другой стороны, он был разумным деспотом, не употреблявшим свою власть во зло... Он потребовал, чтобы я научил его читать и писать. И, несмотря на это, я держался скованно в его присутствии. Даже, будучи уже двадцатилетним, стеснялся курить при нём».

С отцом, вспоминал Михаэль, у него существовала глубокая духовная связь, а вот от матери он отдалился легко, поскольку, несмотря на существовавшую между ними любовь, с нею - простой неграмотной женщиной, - у писателя не было духовной общности.

Создание романа - также своеобразная дань воспоминаниям о юношеских увлечениях политикой, - утверждал автор. Он отметил, что посвящает «Викторию» памяти Сасона Дадля - друга своей юности, одного из руководителей компартии Ирака, после тяжелых пыток казненного багдадским режимом в 1949 году, через несколько месяцев после того, как сам Михаэль покинул эту страну.

Сразу ставший бестселлером в Израиле, роман «Виктория» несколько лет занимал одно из первых мест по количеству проданных экземпляров,

Несмотря на внешне благополучную литературно-творческую судьбу Сами Михаэля, он и по прошествии более пятидесяти лет жизни в Израиле продолжал ощущать себя инородным телом в художественной среде страны.

«С самого начала моего творческого пути литературная критика в Израиле отвергала мои произведения, - вспоминал писатель. - Но мне это неважно. Я понимаю, что моё творчество мешает им, так как не вписывается в то, что называется "израильской литературой". Однако я всё равно продолжал жить в том же духовном мире, который привёз когда-то из Ирака, а он чужероден литературному творчеству в Израиле».

Сами Михаэль заявил в газетном интервью, что литературный истеблишмент Израиля не считает его, как художника, равным писателям - уроженцам страны. «Судьба иракского мальчика - не та тема, которая может заинтересовать израильтян. В этой стране сложилось мнение, что приемлемы только темы, имеющие прямое отношение к Израилю», - утверждал писатель. Тем не менее, Михаэль не считал себя вправе изменять избранной тематической линии и покидать своих героев. «Я не готов изображать израильского мальчика... Писатель пишет по велению души. Он пишет для себя или для воображаемого образа. Несмотря ни на что, я хочу продолжать доносить мои идеи до читателей... Я пытаюсь воплотить восточно-арабское бытие в израильской ивритоязычной культуре», - так сформулировал своё творческое кредо Михаэль.

Весьма своеобразен несложный по своему стилю язык писателя. Это, по словам самого автора, определяется тем,

что, в силу жизненных обстоятельств, он никогда не учил иврит упорядоченно и основательно. Иврит Сами Михаэля - это язык улицы и одновременно иврит книжный, литературный. Всё это определяет лексический строй его произведений, создавая ощутимую напряженность в речи героев и авторском изложении. Не случайно до самого последнего времени, по признанию писателя, он владел арабским лучше, чем ивритом.

В 1996 году вышел в свет роман Михаэля «Человек воды» («Иш а-маим»). В нём рассказывается о жизни и деятельности группы отчаянных мужчин - фактически искателей опасности, профессионально занимающихся изысканием ресурсов воды, наличие или отсутствие которой в условиях Ближнего Востока зачастую связано с самой жизнью. Хронологический фон романа - время накануне Шестидневной войны (1967 год).

В интервью 2012 года Омеру Лахмановичу для газеты «Израэл ха-йом» Михаэль заявил: «Я не несу флаг какой-либо идеи. Я не коммерциализирую то, что люблю – ни Багдад, ни Хайфу, ни своё иракское прошлое, ни моё настоящее в Хайфе. Те, кто считает меня хайфским писателем, абсолютно правы, но моё творчество универсально. Я не пишу для евреев или хайфских арабов. Я пишу для человека внутри меня. Я пишу для себя».

Сами Михаэль был номинантом и лауреатом множества израильских и международных премий: он дважды удостоен премии главы правительства по литературе, был лауреатом премии президента Израиля по литературе и многих других, номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Он также являлся известным активистом в сфере защиты прав человека и возглавлял израильскую ассоциацию по защите прав граждан.

У писателя остались жена и двое детей. Его сестра Надя - вдова казненного в Сирии легендарного израильского разведчика Эли Коэна.

Последние годы жизни писатель жил в Маалоте.

Большое изгнание

М. Наор (род. в 1934 г. в Тель-Авиве) – израильский историк и писатель, автор многих книг. "Большое изгнание" - глава из книги "Рассказы о родной земле. Палестина в 1850-1950 годах" (Тель-Авив, 1991).

Песах – праздник освобождения, праздник весны, мы всегда празднуем его в приподнятом настроении, за исключением, пожалуй, Песаха 1917 года. Причина: в тот Песах всё еврейское население было изгнано из Яффы и его зелёного предместья – Тель-Авива.

Ухудшение почувствовалось в конце марта. Британская армия, продвигаясь из Синая на север, подошла к Газе. Турки, правившие Палестиной, пришли в ужас¹. Они опасались, по крайней мере, так было заявлено, что Яффе - главному портовому городу Палестины - угрожает британское вторжение с моря. Поэтому всем жителям города было приказано покинуть его в течение нескольких дней.

В соответствии с указом, до окончания сбора урожая было разрешено остаться феллахам, но не землевладельцам. Многие арабы попрятались в окрестных цитрусовых плантациях, надеясь при первой удобной возможности вернуться в свои дома. К ним власти относились не очень строго. В отношении евреев, напротив, турки проявляли необычную жёсткость, и все попытки отменить это враждебное распоряжение или, по меньшей мере, задержать его исполнение, закончились ничем. Мордехай Бен-Гилель а-Коэн² записал в своём дневнике 28-го марта: «Трудно поверить, что военное положение, тактика войны вынуждают принимать такие суровые меры, более того, мы вообще не верим, что власти идут на этот шаг, чтобы защитить наши жизни от врага».

¹ Автор несколько преувеличивает: во-первых, турки отбили две попытки англичан взять Газу (26 марта и 19 апреля). Во-вторых, хотя командующий британскими силами в Палестине генерал Алленби и планировал начать наступление весной 1917 г., военная кампания в Палестине активизируется только осенью, поскольку верховное командование забрало у него значительное количество частей и перебросило их во Францию, чтобы остановить начавшееся там немецкое наступление.

² М. Бен-Гилель а-Коэн (1856-1936), род. в России, литератор и общественный деятель, сторонник Т. Герцля. В 1907 г. поселился в Яффе. Один из основателей Тель-Авива, автор ряда книг по истории Яффы и Тель-Авива, почётный гражданин города, его именем названа одна из улиц.

Два дня спустя городской комитет Тель-Авива¹ расклеил объявления, в которых разъяснялось, что все жители должны срочно покинуть город. Несмотря на то, что окончательная дата эвакуации Яффы не была указана, комитет предлагал жителям поторопиться, прежде чем турецкие власти применят силу. В объявлении также было сказано, что состоятельные люди могут ехать в любое место, кроме Иерусалима и Хайфы, тогда как бедные будут отправлены в Сирию за счет правительства. В тот же день в Тель-Авиве был создан Комитет по переселению, который взял на себя решение всех проблем, связанных с эвакуацией, с транспортом и поисками для эвакуированных подходящих мест².

Одним из первых мероприятий Комитета по переселению было собрать представителей поселений, в основном, на севере страны (население юга также получило приказ эвакуироваться, хотя по отношению к нему турки не проявляли такой жёсткости, как в отношении жителей Яффы и Тель-Авива) и просить их помощи. Она оказалась особенно необходимой, когда 1-го апреля турки объявили, что в течение восьми дней город должен быть очищен от жителей. В тот же самый день туда прибыл всемогущий Джамаль-паша³. Уважаемым людям города, которые предстали перед ним и хотели вновь обсудить постановление, Джамаль разъяснил, что по военным соображениям он вынужден эвакуировать город. В пылу грядущих боев, сказал турецкий военачальник, город может быть разрушен до основания, и нельзя даже допустить мысли, чтобы гражданское население находилось в нём в это время. Только по случаю праздника Песах Джамаль-паша был готов ненадолго – до середины следующей недели – отложить эвакуацию, хотя следует ожидать непредсказуемого развития событий, ведь «враг не соблюдает Песах», - как сказал командующий.

Представители южных еврейских поселений, Меерович и Зайгер, утверждали, что будет лучше оставить женщин и детей на местах, как в арабских деревнях. «Почему наши жёны

¹ Прообраз будущего муниципалитета. В 1907-1911 гг. первым председателем комитета квартала Ахузат Баит, из которого вырос Тель-Авив, был Акива Арье Вайс (1868-1947), в 1906 г. приехавший в Яффу из Польши.

² По сведениям из других источников, уже 28 марта большинство евреев Тель-Авива и Яффы покинуло свои дома.

³ Ахмед Джамаль-паша (1872-1922) – один из лидеров революции младотурок (1908) и член правящего триумvirата в последние годы существования Османской империи. В 1914-1917 гг. – командующий турецкой армией и военный правитель Сирии и Палестины.

должны быть поставлены в худшее положение по сравнению с женами феллахов?» - спрашивали они.

Ответ Джамалая-паши: «В последний момент, когда я подам решающий сигнал, и все будут должны оставить места проживания в течение нескольких часов, что тогда будут делать ваши изнеженные женщины? Ведь жён феллахов погонят кнутами и палками».

Меир Дизенгоф, глава городского комитета¹, просил пашу рассматривать Тель-Авив как поселение и отнестись к нему соответственно. Тщетно.

В то время надежда уже иссякла, и темп эвакуации нарастал. Ежедневно сотни жителей покидали Яффо и Тель-Авив. Из поселений прибывали возчики с повозками, чтобы оказать помощь в переезде. Особенно отличились в этом поселении Галилеи.

Однако были и такие, которые использовали ситуацию для обогащения, и устанавливали огромную плату за каждую повозку или лошадь. «Да будет стыдно Петах-Тикве, которая торговалась, словно мелкая торговка с рынка, да покроются позором те из Зихрона, Реховота и Ришона, которые посчитали это время подходящим для законного обогащения. Позор им! И как прекрасны деяния галилеян, и как праведны пути их!» – таковы были горькие слова Мордехая Бен-Гилеля а-Коэна.

Атмосфера в Тель-Авиве была тяжёлой – гнев, удрученность и чувство бессилия. Моше Смилянский² так описывает канун Песаха 1917 года в городе: «Мы, как тени, бродим по улицам пустующего Тель-Авива. Повозки, верблюды, ослы... какая-то детская коляска, запряженная парой ослов, и двое мальчиков, управляющие ею. Всё, загруженное доверху, медленно тянется по песку в Петах-Тикву».

В канун Песаха, 6 апреля 1917 года, Тель-Авив почти полностью опустел. Несколько десятков семей провели грустный седер, а на следующий день в синагоге собрались всего лишь 70 человек. Ещё через три дня в изгнание отправились

¹ М. Дизенгоф (1861-1936) приехал в Палестину из Одессы в 1905 г., жил в Яффе. В 1911-1921 гг. был председателем городского комитета Тель-Авива, в 1921 г. избран мэром города. Еще при жизни Дизенгофа, в 1934 г., одна из центральных улиц города была названа его именем.

² М. Смилянский (1874-1953) – приехал в Палестину в 1890 г. с Украины. Известный ивритский литератор, автор книги «Главы истории ишува».

последние жители. Только несколько молодых людей остались охранять дома и имущество¹.

Петях-Тиква была первой остановкой на пути изгнанников. Оттуда они продолжили двигаться на север, и большая часть добралась до Нижней Галилеи. Считают, что из почти 5000 изгнанников приблизительно 2000 сосредоточились в поселениях Нижней Галилеи, около 1000 в Цфате и в Твении, и еще 1000 – в Кфар-Сабе, в то время крошечном посёлке, который сразу разросся.

"Яффское изгнание" вызвало огромное волнение в еврейском мире. Страшные слухи о жестоком отношении турок и даже о резне публиковались в разделах новостей газет многих стран. 8 мая агентство «Рейтер» передало: «Указ эвакуировать Яффу касается всех евреев, включая подданных Центральных держав². 1-го апреля им было дано 48 часов... Джамаль-паша открыто заявил, что радость евреев по поводу продвижения британской армии на Газу будет кратковременной, поскольку он приложит усилия к тому, чтобы их постигла участь армян».

В результате давления, которое еврейские организации оказали на правительства Центральных держав и нейтральных государств, турки ограничились высылкой жителей Яффы и Тель-Авива, и не изгоняли евреев из других населённых пунктов. В последующие месяцы изгнанники терпели страдания, а многие из них скончались от тяжелых эпидемий, вспыхнувших в Палестине.

Спустя приблизительно полгода, когда этот регион был занят англичанами, части переселенцев удалось вернуться в Тель-Авив и Яффу. Однако большинство из них было вынуждено ждать ещё более полутора лет – до окончания Первой мировой войны.

Перевод с иврита и примечания Александра Крюкова

¹ Власти разрешили 12 мужчинам остаться для охраны еврейских кварталов. Позднее к ним присоединился Нахум Гутман (1898-1980) – будущий известный израильский художник и литератор, который опишет эти события в одной из глав автобиографической книги «Меж песками и небесной синью».

² В начале Первой Мировой войны это Германия и Австро-Венгрия, позднее к ним примкнули Болгария и Турция.

Тайные черты современного советского народа

(О книге Айдара Хусаинова «Анти-бусидо. Путь уфимца». Уфа. 2019-2024)

В отчётном докладе ЦК КПСС XXIV съезду этой самой партии было сказано: «...Возникла новая историческая общность людей – советский народ». Вряд ли Центральный Комитет, в общем-то склонный выдавать желаемое за действительное, хотел в данном случае обмануть партийцев. Социальная селекция, применяемая властями СССР стихийно или организованно, действительно привела к появлению у оставшегося в СССР населения неких характерных черт, особенностей, или, псевдонаучным языком говоря, некоего архетипа; причём носителям этих черт жить было легче, и они ощущали себя в социуме увереннее тех, кто с такими особенностями не примирялся.

От XXIV съезда КПСС в 1971 году прошло уже более 50 лет (сами посчитайте), спрашивается: куда же этот народ подевался; не рассосалась ли эта историческая общность? Нет, на тех же территориях тот же народ. Потому что социальная селекция, осуществляемая властями, продолжается, невзирая на всяческие перестройки и ускорения. А представители власти, уже давно не советской, вышли из того же народа, но твёрдо осознают свою руководящую роль, поскольку на своих местах воплощают собственными персонами вертикаль власти, руководство правящей партии и лично генерального секретаря или президента – один хрен.

Спросите меня: какое же это имеет отношение к литературе? И я вам отвечу строками книги, вышедшей в Уфе. Писатель Айдар Хусаинов выпустил постоянно пополняемую книгу «Анти-бусидо. Путь уфимца». Это сборник наблюдений за воображаемым персонажем, которого автор называет «уфимцем». В отпечатанной книге - 365 афоризмов, лапидарных характеристик и точных наблюдений; они же переведены на башкирский язык и на английский. Но автор постоянно дополняет книгу новыми фразами на своих страничках в социальных сетях.

В словарном значении уфимец – это житель Уфы, столицы Республики Башкортостан. Население города – более

миллиона человек. Хусаинов уже много лет работает главным редактором местной газеты, еженедельника «Истоки» (<https://istokirb.ru>), посвящённой вопросам культуры – вполне приличное на общем фоне для домена ru издание (сами посмотрите). Он живёт среди уфимцев и сам уфимец. Но разве только для жителей Уфы характерны те черты, которые подметил Хусаинов? Конечно, нет: вместо «уфимца» персонажем книги мог бы с тем же успехом стать ростовчанин или казанец, челябинец или архангелогородец, пермяк или томич. Но мысленно я подставил вместо «уфимца» - «советского человека», и всё сразу стало удивительно точно, легко и горестно.

Бусидо - это кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой. У настоящего современного советского человека выработался свой потаённый кодекс чести: бестрепетно идти туда, куда его посылает начальство.

Афоризмы «Анти-бусидо» Айдара Хусаинова

Уфимца ни в чём нельзя убедить. Единственный инструмент управления уфимцем - непрерывные упрёки.

Любое доброе дело, сделанное для уфимца, есть долг каждого горожанина и гостя столицы. Любое доброе дело, сделанное не для уфимца, есть злое дело.

Уфимец живет в мире, в котором есть только два города - Москва и Казань. В один он хочет попасть, но не может. В другой может, но не хочет.

Уфимцу зимой холодно, летом жарко, весной грязно, осенью дождливо и пасмурно.

Уфимец борется с несправедливостью одним способом - он терпеливо ждёт.

Видя поэта, уфимец говорит: «А я тоже стихи пишу».

Друг - это человек, который соглашается с тем, что ему приписывает уфимец. Негодяй - это человек, который делает то, что делал бы уфимец, если бы не лень.

Всё, что принадлежит уфимцу - его. Всё, что принадлежит друзьям и родственникам - общее.

Уфимец думает о себе, что он хороший человек, это даёт ему право поступать, как ему вздумается.

Уфимец не признаёт чужие успехи и свои поражения.

Насколько уфимец весел на фотографии, настолько он в жизни зол.

Самое большое удовольствие для уфимца - выказывать негодование и презрение на законных основаниях.

Уфимец согласен на любые должность, звание и награду.

Уфимец не любит вопросов. Уфимец не любит ответов. Просто молчи и повинуйся!

Уфимец во всех случаях агрессивно отстаивает общепринятое мнение.

Всё, что ему не нравится, уфимец полагает глубоко несправедливым.

Всегда виноват тот, кого уфимец не боится.

Уфимец всегда жалеет дальнего, а не ближнего человека.

Не надо доказывать уфимцу, что он не прав. Вам всё равно, а ему неприятно.

Уфимец не спорит, он разоблачает.

Чтобы быть лучше всех, уфимцу ничего не надо делать.

Уфимец считает позорным то, чем он больше не собирается зарабатывать на жизнь.

Уфимец думает о вас хуже, чем вы думаете.

Уфимец не может тихо присвоить чужие мысли. Он должен извлекать автора в грязи.

Уфимец полагает страшно несправедливым, если ему отвечают злом на зло.

Чем ближе человек, тем скорее уфимец готов на него разозлиться.

Уфимец с годами вырабатывает мировоззрение, в котором контакты с миром не предусмотрены.

О чём бы вы ни спорили, уфимец будет апеллировать к начальству.

Уфимец полагает, что занят самым важным делом на свете, и полон решимости доказать это кому угодно, как угодно, любой ценой.

В каждом уфимце кипит невидимая миру ярость.

При слове «культура» уфимец восхищается умением людей хорошо устроиться и зарабатывать деньги на пустом месте.

С годами уфимец становится не опытным, а уставшим.

Для уфимца не существует провалов. Есть происки врагов, злопахательство завистников, стечение обстоятельств, невезение, а провалов нет.

Известность уфимца - производная от возможностей его должности.

Приезжая в Москву, уфимец говорит: «Я москвич, только записан уфимцем!»

Писатель для уфимца — это человек, который провёл газ в свой родной район, устроил сына в институт, выбил квартиру. Поэтому он искренне удивляется, почему Довлатова называют писателем.

Уфимец возмущается, если кого-то берут на работу по блату. Однако сказать, как сам устроился на работу, отказывается.

Уфимец особенно принципиален по отношению к беспомощным.

Первое, о чём думает уфимец, столкнувшись с проблемой, - кого наказать?

Для уфимца существует только мнение начальства.

«Мне же надо на что-то жить!» - универсальное оправдание уфимца.

Для уфимца нет срока давности за преступное к себе отношение.

Уфимец не прощает людям то, что для себя считает естественным и необходимым.

Уфимец считает, что люди по умолчанию должны работать хорошо. Поэтому он не хвалит за хорошую работу, но ругает за плохую.

Уфимец предоставляет слово и не даёт говорить.

Уфимец искренне удивляется, почему на следующий день после увольнения с важного поста все забывают о его существовании.

Уфимца в москвиче, иностранце и начальстве восхищает решительно всё.

Уфимец никогда не занимается содержательным трудом. А вот запой для него — всегда оправданное занятие.

Уфимец всегда готов выполнить свои обещания. Но поскольку их слишком много, то, чтобы никого не обидеть, он не выполняет все.

Стоит выказать уфимцу уважение, как он начинает разговаривать свысока.

Уфимец верит в несправедливость мира и удивляется, когда не получается этим воспользоваться.

Уфимец полагает, что в благородном гневе вполне позволительно совершать поступки, которые в тысячу раз хуже действий того, кто вызвал этот гнев.

Видя несанкционированные начальством успехи, уфимец впадает в глубочайшее недоумение.

Уфимец полагает, что любую проблему можно решить уже сточением наказания.

О потенциале Уфы можно судить по тому, чего добивается уфимец, который смог убежать.

Воспоминания о Тюмени

*«Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток».*
(А. С. Пушкин)

В августе 1945 году я вместе с мамой и двумя сёстрами вернулась в родные края - бывшую Смоленскую, тогда Тверскую область. Наша деревня, находившаяся на окраине небольшого городка Белого (древний щит Москвы), была расположена по сторонам Вяземского большака, ве-дущего к Москве. Деревня была снесена с лица земли. Город Белый лежал в руинах. Ни один мужчина из нашей деревни не вернулся с войны. Погиб в 1942 году под Сталинградом и мой отец. Он был танкистом.

Мама отыскивала родную сестру, жившую в деревне, в 35 километрах от Белого. Сюда и съехались уцелевшие родственники - женщины и дети. Здесь я пошла в сельскую семилетнюю школу, которую окончила в 1952 году.

После окончания школы поступила в Бельское педагогическое училище, и в течение четырёх лет еженедельно преодолевала расстояние в 35 километров, чтобы взять у мамы хоть какие-то продукты. Эти походы домой - в одиночестве, по дорогам, усеянным искорёженной военной техникой, в разное время года (зимой на лыжах, летом пешком) невольно развили во мне наблюдательность, склонность к раздумью, созерцанию, и безграничную любовь к природе.

В 1956 году я окончила училище с красным дипломом. Это давало мне право учиться дальше, а не работать по распределению в сельской школе. В училище, наряду с литературой и русским языком, мне особенно нравились уроки рисования и чистописания. Это натолкнуло меня на мысль продолжить образование в Академии художеств.

Моя старшая сестра Лиля (1931-1983), работавшая по распределению в Подмосковье, вышла замуж за ленинградца, и летом 1956 года приехала с мужем в Ленинград. Поэтому и я появилась в Ленинграде. Они жили на улице Желябова (сейчас Большая Конюшенная), в огромной коммунальной квартире, занимая 15-метровую комнату. В

этой квартире жили люди разных профессий: постановщик голоса, пожилой архитектор с женой, несколько учителей, врач, билетер Александринского театра. В этой квартире я и проходила свои «университеты».

В 1957 году у сестры родился сын, и я часто приходила помочь ей. Однажды я не застала её дома, она вышла погулять с ребенком. Архитектор Александр Иванович Полетаев и его жена Евгения Владимировна позвали меня к себе. У них за большим круглым столом сидело много гостей: в основном женщины, - и один мужчина, не считая хозяина. Их комната была большая; на стенах висело несколько картин итальянских мастеров. На столе стояло блюдо с пирожками. Пили чай. Дамы шутили, смеялись, называя друг друга «девочками», что мне, двадцатилетней, казалось странным, хотя дамам было лишь немного за пятьдесят. Одна дама особенно звонко хохотала, как серебряный колокольчик. Только невысокий немолодой мужчина в поношенном костюме, ссутулясь, сидел мрачный, почти не принимал участия в разговорах и ни разу не улыбнулся. Вид у него был усталый.

Когда гости разошлись, Евгения Владимировна спросила меня: «Знаешь ли ты, кто этот мужчина?». Я, конечно, не знала. Это был Михаил Зоценко, рассказами которого мы зачитывались в общежитии, хохоча до колик. Среди дам за столом сидела и бывшая хозяйка всей этой большой квартиры, жившая в коммуналке в соседнем доме.

Александра Ивановича, породистого старого петербуржца, мой племянник называл «няня-архитектор». Как бездетные люди, они его любили и баловали. У меня сохранились две книги по истории древнего Рима и Греции, подаренные Александром Ивановичем Полетаевым.

Приехав в Ленинград, я прошла собеседование (коллоквиум) в Академии художеств, (Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина), а потом ждала, пока сдадут экзамены все потоки, так как процент медалистов уже был набран. Чудом оказалась студенткой факультета теории и истории искусств (ФТИИ).

На искусствоведческом учились в основном девушки; в лучшем случае были один или два юноши, чаще всего китайцы. Наш же курс был «мужской» - из одиннадцати поступивших семь юношей! Возраст студентов, особенно на творческих факультетах, колебался от 18 до 36 лет. Многие еще ходили в гимнастерках, были и инвалиды. У нас на курсе был один китаец, один албанец, литовка, латыш. Все юные,

из интеллигентных, столичных семей, и только я - из крестьян. Учиться предстояло пять лет...

Наступила преддипломная практика. Из рекомендованных тем, я выбрала «Керамика послевоенных лет Конаковского фарянского завода им. М. И. Калинина». Завод был расположен в посёлке Конаково (до 1930 года село Кузнецово), на Иваньковском водохранилище. Когда-то этот завод (основанный в 1809 году) входил в империю фарфорово-гончарного производства Матвея Сидоровича Кузнецова - настоящего самородка, обладавшего энергией, светлым практическим умом и вкусом. В 1960 году Конаково было захолустьем, но завод выпускал отличную продукцию. Многое шло на экспорт. Здесь работали и старые мастера, и молодые выпускники из Ленинграда и Москвы.

Меня поселили в женское общежитие - старое, без особых удобств, где проживали девушки-работницы завода. Девушки ходили всегда в платочках и напоминали монашек. Со мной они вежливо здоровались, но в разговоры не вступали. Позже от одной из девушек в общежитии я узнала, что они исповедуют старообрядчество, ходят в молеальный дом. Их отчужденность мне стала понятна.

В посёлке запомнился единственный магазин, где продавался чёрный хлеб и большие залежавшиеся пачки маргарина, развернув которые, нужно было счистить зелёный налёт. У стен завода сидели местные бабушки и торговали скромным домашним ассортиментом овощей и грибами.

Я уже была девушка столичная; густые волосы завязывала хвостом, на лоб спускалась чёлка. Проходя мимо этих старушек, я слышала в спину: «Вот распустила хвост, как у лошади». Мне не хотелось огорчать бабушек, и я заплела косу, но в спину мне говорили: «Вот идёт, трясёт чёлкой». Я заколола чёлку, но так затосковала, что написала открытку «SOS» своей подруге и однокурснице Лене Кириллиной, проходившей практику в Третьяковской галерее. Из Москвы ходили электрички. Через два дня Лена была в Конаково. Она - девушка смелая и независимая. Увидев меня, она долго хохотала, потом спросила: «Алька, что с тобой? Что ты такая прилизанная?» Я поведала о своих неприятностях. «Сейчас же завяжешь свой хвост, распустишь чёлку, и мы пойдём на завод». Это был верный ход - шипение старушек прекратилось.

Мы с подругой увлеклись технологическими экспериментами. Брали бракованные чашки и блюдца (так называемое «белье»), расписывали их, делали брошки, маленькие

скульптурки, покрывали разными глазурями. Работницы завода бережно ставили наши поделки в муфельные печи, извинялись, если что-то не получалось, относясь к нашим занятиям серьёзно.

Питались мы однообразно. Покупали хлеб, зелёный маргарин, картошку у бабушек. Грибы собирали сами, лес был рядом. Грибов было уйма, самых разных; набирали молоденьких, варили нехитрый обед.

Время промелькнуло быстро. Мне нужно было заканчивать практику в Музее керамики в Кусково, а Лене завершать дела в Третьяковской галерее. (Моя подруга, Елена Владимировна Кириллина (1936–2016), стала впоследствии крупнейшим специалистом по творчеству Репина; 49 лет посвятила возрождению музея-усадьбы Репина «Пенаты».)

Руководитель моего диплома, Нина Тимофеевна Яглова, перед практикой меня напутствовала: не попадаться на глаза в Кусково заведующему научным отделом музея Борису Александровичу Салтыкову. Он, дескать, девушек не любит - выйдут замуж, появятся дети, забросят профессию. Я добросовестно выполняла порученную мне работу. Перед концом практики вдруг явился Борис Александрович - и стал уговаривать меня после окончания института работать в их музее. Это стало полной неожиданностью для меня. Я хорошо училась, но по молодости и легкомыслию никаких планов на будущее не строила. Казалось, что всё само образуется. Видя мою нерешительность, Борис Александрович стал говорить, что Кусково скоро войдёт в состав Москвы, и у меня будет московская прописка. Вот уж о чём я точно не думала! Он стал объяснять мне, что, к сожалению, по распределению присылают на работу людей, которые никогда не занимались прикладным искусством и не собираются им заниматься. Борис Александрович даже повёл меня в парк и показал павильон «Эрмитаж», который будет приспособлен под жильё сотрудников музея.

В институт я вернулась с местом работы. И. А. Бартенев, декан искусствоведческого факультета, написал мне отличную характеристику, которую я отослала в Кусково. Оставалось полгода до окончания института.

Вспоминаю смешной эпизод из студенческой жизни. На нашем факультете было заочное отделение. Одновременно с нами сдавали государственные экзамены и заочники. Запомнились два студента из Львова: Петр Сопильник и Михаил Фиголь. Они были взрослыми,

семейными, очень серьёзно и хорошо учились. Запомнились они не только своими фамилиями, но и моментом сдачи экзамена. Не слушая лекций, они неправильно произносили фамилии художников. Кто-то из них отвечал передо мной, и рассказывая об итальянском искусстве, пересыпал свою речь словами: «Падуя, Монтенья». Я с волнением думала, что заканчиваю институт, но впервые слышу, о чём бойко рассказывает студент. Преподаватели поправляли его, но он продолжал «ездить из Мантуи в Падую».

Сданы государственные экзамены, защищены дипломы. Наши мальчики написали дипломы себе и помогли китайцу и албанцу. Наступил день распределения. Встретив меня в коридоре, Бартенев сказал, что мне волноваться нечего, предстоит подписать документы о распределении в Кусково - и всё. Но судьба сделала серьёзный поворот.

Никита Сергеевич Хрущев в 1960 году совершил поездку по стране, побывал в Сибири – и, вернувшись, издал указ, чтобы выпускников всех вузов 1961 года распределять только на периферию, главным образом в Сибирь; никого не оставлять в Москве и Ленинграде. О поездке в Кусково не могло быть и речи. Мне предложили город Тюмень. К своему стыду и от неожиданности я не знала, где находится Тюмень и попросила показать её мне на карте. Большая карта нашей страны висела перед комиссией. Кто-то из членов комиссии встал - и тоже не сразу нашел Тюмень на карте. Я бросилась на главпочтамт и позвонила в Кусково. Меня успокоили, пообещав связаться с институтом и всё уладить. В крайнем случае, нужно будет приехать в Москву, и директор музея сходит со мной в министерство культуры.

На другой день нас вызвали на бюро комсомола и сказали: «Вражеские станции «Би-би-си» и «Голос Америки» передали, что целый курс выступил против линии партии и отказался ехать по распределению». Это меня ошеломило. Ни на курсе, ни в общежитии никогда не велось никаких диссидентских разговоров. Просто волюнтаристский указ Хрущева шел вразрез с намеченными планами каждого из небольшой группы студентов. О линии партии никто и не думал. Китаец уехал в Китай, албанец - в Албанию, Корсакайте - в Вильнюс, Настя Ракова ушла в декрет, Клявинь по болезни взял академический отпуск и уехал в Ригу. Распределению подлежали шесть человек. Из шести четверо были ленинградцы, Лактионов - москвич (усыновлённый народным художником СССР А. И. Лактионовым).

Одна я иногородняя. Какой тут курс и какая линия партии?! Но: «партия приказала - комсомол ответил: «Есть!»».

Ни звонки, ни поход в министерство не помогли. Снова, как в 1959 году, И. А. Бартенев уговаривал меня: «Мивочка, (буква «л» ему не давалась), вы должны, мы вас просим...». Почему я пишу «снова уговаривал меня»? Дело в том, что в 1959 году было решено: шесть студентов нашей группы послать на практику в ГДР, а шесть студентов из ГДР должны были приехать на практику в Академию. В эту группу входила и я. Раздали большие анкеты-простыни для заполнения. Я была в Германии во время войны. Это были такие страшные воспоминания детства, что ехать опять в Германию добровольно и слышать немецкую речь я не хотела. К тому же и заполнить подробную анкету не могла; рассказывать о том, что была на оккупированной территории, а потом в Польше и Германии опасалась. В наших краях война коснулась каждой семьи, о войне старались не говорить и не вспоминать. Вот Игорь Александрович Бартенев и уговаривал меня: «Мивочка, вы должны поехать. Мы вам доверяем». В те времена было так: если хочешь - не поедешь, а не хочешь - поедешь. Месяц нежеланной практики в ГДР навсегда очистил мою душу от страшных воспоминаний немецкого плена и в какой-то степени залечил глубокие раны, нанесенные войной.

В общежитии я узнала, что в Тюмень распределены живописцы и один скульптор. Понемногу я успокоилась и стала готовиться к поездке. Кто-то из преподавателей посоветовал мне обратиться к главному хранителю Русского Музея, Евгению Константиновичу Кроллау. Ранее он работал главным хранителем областной картинной галереи Тюмени, где предстояло работать и мне. Там были два вакантных места: главного хранителя и старшего научного сотрудника. Кроллау посоветовал мне быть старшим научным сотрудником, и добавил, что в Тюмени строится новый дом, где предполагаются квартиры для молодых специалистов.

После преддипломной практики у меня было много разных предметов конаковского завода, подаренных художниками. Развернув эти богатства, я думала: «Если за одну практику у меня столько вещей, сколько же их будет, если я постоянно буду связана с фарфором и фаянсом!?» И раздарила всё в общежитии, оставив себе несколько памятных...

Итак - Тюмень. Багаж отправлен, билет куплен. Последние дни в опустевшем общежитии. На нашем женском этаже поселилась полная мама-армянка, сопровождавшая своего сына поступать и готовившая для него вкусные домашние обеды. Пришла и я с чайником на кухню. Мама поинтересовалась: на каком курсе я учусь? Я ответила, что закончила и уже распределена на работу. «И куда?» - спросила она. «В Сибирь», - ответила я. Женщина отпрянула от плиты и с ужасом в глазах, раскинув передо мной руки, воскликнула: «Вай мэ! Доченька, за что?». Я очень удивилась ее трагизму. Нас ехало в Тюмень пять человек: три живописца, скульптор и я. Мы были молоды, не обременены житейским грузом и ничего не боялись.

Мой будущий муж, студент 5-го курса живописного факультета Олег Гадалов сопровождал меня в Тюмень. Все приехавшие художники, как и было обещано при распределении, получили отдельные квартиры в пятиэтажном доме, недавно построенном на пустыре, где должен вырасти новый микрорайон. Петя Токарев, Виктор Шруб, Афанасий Заливаха - живописцы. Виктор Мурашов - скульптор, Евстафий Кобелев - график, выпускник Московского художественного института им. В. И. Сурикова, и Валентин Белов - скульптор; он окончил Таллиннский художественный институт и приехал на год раньше. На разных этажах квартиры у всех были однокомнатные, кроме Токарева, у которого давно была семья, к тому же он был тюмонец. В этом доме на пустыре получилось как бы продолжение общежития.

Виктор Шруб поселил нас с Олегом в своей квартире, а сам, оставив жену Ольгу Микрюкову в Ленинграде, успел завести возлюбленную. Мебели в квартирах почти ни у кого не было. Прожив двое суток у Шруба, мы с Олегом отправились на приём к чиновнику за своей квартирой. Ведь Евгений Константинович Кроллау в Русском Музее говорил, что ему с семьей обещали дать трехкомнатную квартиру. Я тогда подумала: «А что, если вдруг эту квартиру дадут мне? Что я в ней буду делать одна?» Вот о чём я тогда переживала. У меня - ящик с книгами и чемодан со скромными пожитками и двумя пакетами гречневой крупы, которые мне с трудом достала сестра. Денежная реформа привела к продовольственным трудностям даже в Ленинграде. В Тюмени полки магазинов были пусты. Ни мяса, ни сыра, ни сливочного масла, - ничего, кроме каких-то консервов, ржавой селёдки, да ещё пластин рыбьего жира, на котором

блестели чёрные точки незрелой черной икры. Однажды я это попробовала и до сих пор вспоминаю с отвращением. Но была картошка, чёрный хлеб, молоко и кефир.

На приём к чиновнику мы попали легко. В просторном кабинете за большим столом сидел солидный мужчина. На полу, на стенах красивые ковры. Ответ его был таков: «Кто вас сюда звал, тот пусть и даёт вам квартиры. У меня ничего нет». Этот холодный хамский тон нас даже не огорчил. Мы были молоды (мне 25, Олегу 26), счастливы, здоровы. Казалось, что всё впереди.

После этого приёма мы оказались в гостинице «Заря». Я подала администратору свой паспорт, у Олега паспорт не попросили, и записали: «Васильев Олег Сергеевич, муж». Олег улыбнулся и ничего не сказал. Номер на втором этаже просторный, с коврами на полу и на стенах. Большой письменный стол, настольная лампа под стеклянным зеленым абажуром. Душ, туалет в коридоре.

Суровый климат Сибири располагал к коврам. Ковры советского времени были качественные, добротные, красивые, так как техника «персидских» ковров не менялась на протяжении столетий. «Ковровый кабинет» гостиницы «Заря» мы вспоминали всегда с благодарностью. Здесь мы оба поняли, что соединены навсегда. Непередаваемая нежность тихого счастья, единства и радости наполняла наши сердца. От природы мы оба застенчивы и старались таить свои чувства, но на нас как-то в этой гостинице все смотрели с искренней добротой.

На зелёном абажуре мы заметили трещину. Решили, что мы виноваты, и пошли к дежурной повиниться, предлагали возместить убыток. Дежурная была крайне удивлена и сказала, что в её практике это впервые: обычно и за явный ущерб люди своей вины не признают. Успокоила нас, сказав, что трещина там и была.

Недельный срок нашего совместного проживания подошёл к концу. Олегу нужно было возвращаться в Ленинград, заканчивать институт. На искусствоведческом - 5 лет обучения, на творческих факультетах - 6 лет. Последний год - дипломный. Тема его диплома - «Геологи». Два года Олег ездил с геологами в Хабаровский край, собирал материал для диплома, одновременно работал в экспедициях и полюбил геологов-романтиков.

После Ленинграда Тюмень мне показалась патриархальным одноэтажным, однообразным городом. Деревянные дома с резными ставнями, купеческие каменные особнячки

на главной улице. Областная картинная галерея располагалась в одном из таких двухэтажных особняков (1907 г.; Н. А. Панкратьева, разбогатевшего крестьянина). Основана галерея в 1956 или 1957 году. До 1960 г. её главным хранителем был Евгений Константинович Кроллау, у которого я была в июне 1961-го, - уже как у главного хранителя Русского Музея, - и который посоветовал мне занять должность старшего научного сотрудника, Я последовала его совету и начала самостоятельную профессиональную жизнь.

На первом этаже особняка располагались небогатые фонды. Комната для четверых сотрудников (вместе со мной) - на втором. Возглавлял галерею директор Сергей Петрович Кадцин. Из скудных фондов самостоятельные выставки трудно было сделать, поэтому галерея принимала передвижные выставки из Москвы и Ленинграда. Когда я появилась в музее, его залы были пусты. Передвижная выставка только что уехала.

Откуда брались эти передвижные выставки? В советские годы с масштабных выставок в столицах республик и крупных городах, и с зональных и всесоюзных выставок в Москве министерство культуры СССР проводило закупки лучших работ для Русского Музея, Третьяковской галереи, других значительных и более мелких музеев. Нераспределённые по музеям работы оставались в Москве, где была организована «Дирекция выставок и панорам». Здесь оседали оставшиеся произведения. Из них и формировались передвижные выставки, колесившие по музеям страны,

В безвыставочный промежуток в галерее решено было сделать выставку работ художников, прибывших по распределению, и местных, которых в Тюмени и не было, - кроме живописца-любителя Александра Павловича Митинского (1905 года рождения). Это был пожилой человек со следами перенесенного инсульта, ходил с палочкой. Его пейзажи маслом и акварелью, небольшого формата были искренними и милыми.

Среди ленинградской группы выделялся Виктор Шруб, наделённый артистизмом, ораторскими способностями и лидерскими качествами. Он и в институте был председателем профкома. Шруб привёз в Тюмень авторское уменьшенное повторение своего диплома «Священные камни», посвященного защите Севастополя в 1941-1945 гг., много натуральных этюдов, два портрета жены Ольги Микрюковой.

Заливаха выставил жанровую картину «В колхоз», ряд этюдов и пейзажей. Он работал под влиянием импрессионистов, Фалька; его живопись отличалась яркостью красок, а сам он - образованностью...

На выставке были представлены живопись, графика, скульптура, в основном портреты доярок, свинок, бурильщиков, сплавщиков леса, путейцев, рационализаторов, и пейзажи. Всё типично для выпускников того периода советского реализма.

Тюмень была тихим городком, с мирным течением жизни, и после блеска культурной столицы – Ленинграда, казалось, что здесь культуры и нет. В городе, правда, был областной драматический театр, краеведческий музей, несколько высших учебных заведений, - и уже «забил первый фонтан нефти». Город, расположенный на равнине, перерезан рекой Турой. За рекой на возвышении стоял полуразрушенный каменный храм, в развалинах которого было несколько помещений, выделенных под мастерские художников. Это было очень красивое место, здесь, кажется, раньше был монастырь. Выходили две газеты: большого формата «Тюменская правда» и маленькая «Тюменский комсомолец».

Преыдущие выставки были скромными. А тут - живопись, скульптура, яркие краски, широкие мазки. В картинную галерею хлынул народ. По городу пошли слухи о художниках-модернистах. Выставку посетили журналисты «Тюменского комсомольца», где работала молодежь, и чиновники областного управления культуры. В книге отзывов пошли высказывания полярные, даже со стихами. Запомнилось: «Мажут, кистью краски на холст бросая, новое изобретают – новое..! Глина сплошная голая! Подражают западной поганке Ван-Гогу».

Нового не было ничего: советский реализм и несовершенство только что окончивших институт художников. Придирались к красноватым волосам на портрете Ольги Микрюковой. Мол, красных волос не бывает

На выставке были представлены тобольские косторезы, работающие в давней, традиционной манере. К ним претензий не было.

В «Тюменской правде» вышла разгромная статья. «Тюменский комсомолец» выступил в защиту. Тюмень проснулась, зашумела. Шруб ораторствовал, Заливаха что-то тихо растолковывал чиновникам.

Днём на выставке, а вечером в однокомнатной квартире Заливахи, в доме на пустыре, обсуждали проблемы. У Заливахи был самодельный длинный, красочно расписанный сундук; он служил одновременно и столом, и кроватью. Как я уже упоминала, с продуктами было плохо. Варили картошку, макароны, покупали селёдку, водку. Пили умеренно. Кто-то достал или привёз с собой тушёнку. После трапезы я старалась мыть посуду, но Заливаха часто не разрешал и говорил: «Зачем ее мыть? Завтра опять в ней будем варить».

Шруб с наружной стороны окна своей квартиры повесил большой красный фонарь, который был виден издалека. Освещения на пустыре не было. Фонарь Шруб получил от моряков, когда собирал материал и писал этюды для диплома.

Жизнь в Тюмени закипела. Галерея не вмещала посетителей. Чиновники почувствовали опасность, забеспокоились. Собрали «культурную общественность» в театре. Виктор Шруб расхаживал по сцене и ораторствовал. В институте его считали неглубоким человеком, но в нём было что-то безобидное и привлекательное. Нам он обещал охмурить дочку высокопоставленного чиновника. Ему было 37 лет, он был мужчиной в расцвете сил.

Шруб и Заливаха были родом из Украины. Шруб - из Херсонской области, Заливаха - из Харьковской. Почему-то они решили выпячивать свое украинство. Недели вышитые косоворотки. Шруб стал себя называть Остапом, Заливаху Опанасом. У Шруба была игра, напускное, но Заливаха, пожалуй, был украинский националист, более скрытный. Кажется, позже за свои мысли он привлекался к ответственности (доходили такие слухи). У него были пластинки «Украинские думы», которые он часто слушал, подперев голову руками.

Жизнь в Тюмени продолжала бурлить. Чиновники вызвали из Свердловска (Екатеринбурга) партийных художников, чтобы оценить положение. В Свердловске был мощный союз художников, а в Тюмени не было ничего. Всё время продолжались собрания, обсуждения; но опасения чиновников не покидали. Наконец, в обкоме партии собрали всю общественность. В центре города стояло многоэтажное безликое здание, перед ним, кажется, собирались ставить памятник Ленину. В этом здании размещались все госучреждения. Зал был полон. Первый секретарь обкома Щербина был в Москве, заседание вёл его заместитель.

Выступающие говорили о руководящей роли партии, о здоровой идеологической направленности искусства, о недопустимости западного влияния. Под конец было сказано: «Беспартийных просим покинуть зал, партийных – остаться». Когда беспартийные стали выходить из зала, я невольно обратила внимание на оставшихся. Как будто муку просеяли через сито, и на сите осталась шелуха. И пелена упала с моих глаз. Я твёрдо решила, что никогда не вступлю в ряды этой партии. Так и сделала, несмотря на серьёзные уговоры в различные периоды жизни. А ведь комсомолкой была с 14 лет активной, свято верящей в светлое будущее.

В конечном итоге, вызвали из Москвы референта Московского союза художников. Приехала «столичная особа». На вокзал её пошли встречать наши художники во главе со Шрубом, с балалайкой и букетом сухих цветов, нарванных на пустыре. Референтом оказалась образованная, умная Ирина Леонардовна Туржанская, дочь замечательного художника Леонарда Викторовича Туржанского. Она-то и объяснила местным зашоренным чиновникам, что ничего страшного в нашей выставке нет. В результате организовали Тюменское отделение союза художников. Председателем стал Валентин Михайлович Белов, скульптор.

Во всей этой «буре в стакане», длившейся всю осень, действительно ничего не было, кроме доли озорства и молодой энергии - никакой идеологической вредной подоплёки. «Священные камни», «Путейцы», «Горячий цех», «В колхоз», портреты тружеников села, завода – всё в духе соцреализма, кроме красноватых, просто подкрашенных хною волос Ольги и ярких, но живописных этюдов Заливахи. Скорее, можно было говорить о недостатке мастерства и других несовершенствах выпускников.

Тюмень успокоилась, но какая-то культурная жизнь была разбужена. Появились небольшие сюжеты по телевизору, оживилась выставочная работа, потребность в лекциях. Меня всюду приглашали, считая, что молодой искусствовед из Ленинграда может ответить на все вопросы. Я же знала мало, волновалась, комплексовала, но отказаться было нельзя. В тихом, уютном «ковровом» номере я спешно готовилась к разным мероприятиям.

Эта наша «революция» в картинной галерее кончилась благополучно, потому что прошел уже XX съезд партии, осудивший культ личности Сталина. А то ведь из-за ерунды и чепухи могли состряпать дело.

В доме на пустыре по-прежнему собирались у Заливахи, Иногда я заходила к Мурашовым. Виктор Мурашов приехал в Тюмень со своей мамой Екатериной Александровной. Виктор в общечитии был влюблён в меня. Это был очень правильный, искренний человек, талантливый скульптор. Девчонки нашей комнаты нарисовали карикатуру, где я стою на пьедестале, а Виктор влюблённо смотрит на изваянный им памятник. Моё сердце было занято, и я не могла откликнуться на ухаживание молодого человека. Его мама очень ко мне привязалась, и печалилась, что у меня уже есть Олег. После сборов у Заливахи она не отпускала меня и оставляла ночевать у себя. Это были трогательные, добрые люди, в высшей степени порядочные.

В гостинице «Заря» я прожила месяц. Мой «ковровый» номер, видимо, стоил дорого для галереи, и меня поселили в частном доме. Дом был двухэтажный, старый, деревянный, на другом берегу Туры. Платила галерея. На первом этаже лежали дрова, жили куры. На втором - большая комната хозяйки, где стояла и моя кровать. Две маленькие комнаты на этом этаже сдавались молоденьким жёнам офицеров; мужья приходили на выходные.

Моя хозяйка была лет шестидесяти. Раньше она работала в столовой обкома партии, у неё сохранились связи, и она иногда подкармливала меня. Некоторые угощения я не забуду никогда. Это сибирские пельмени, пироги с вязигой и сосьвенскую селёдку. На реке Сосьве водилась эта небольшая необыкновенная селёдочка, называемая царской, так как её раньше подавали к царскому столу, а в советское время - лицам, заменившим царский двор. Угощения были не каждый день, хотя хозяйка относилась ко мне очень хорошо.

Мой Олег писал часто, как и я ему. Присылал иногда небольшие посылки и подарочки. Письма я получала на почтамте. В советское время существовала услуга – письмо-телеграмма. За очень небольшую плату можно было написать 50 слов, не считая адреса. Это было замечательно - недорого и быстро. Так мы и жили перепиской и надеждой на встречу.

Ещё в Ленинграде я получила так называемые подъёмные. Молодому специалисту, отправляющемуся по распределению на работу, выдавали небольшие деньги. На эти деньги я купила себе демисезонное пальто из плотной шерсти и чешские войлочные ботинки на молниях. Купив обновки, я думала, что подготовилась к зиме в Тюмени. Но

Тюмень - это Сибирь. Зима так зима! Лето так лето! Начались морозы, - с солнцем, треском и скрипом. На автобусной остановке я стояла, словно босиком на раскалённом железе. Не спасали и мамины шерстяные носки. Страшно вспомнить.

Я писала о сибирских морозах маме, жившей в деревне Калининской, теперь Тверской, раньше - Смоленской области. Русская деревня... Бездумные реформы правительства уничтожали русскую деревню, а с нею и богатейшую народную культуру. Ещё наши края не успели оправиться от опустошительной Отечественной войны, выкосившей всех мужчин; ещё на полях оставались ржавеющие танки и пушки, а уже поступило распоряжение «сеять кок-сагыз». Стране нужен каучук! Наш председатель колхоза, самородок из крестьян, Г. Я. Ващенко, рискуя партбилетом и грозящими ему неприятностями, согласился засеять этой невиданной культурой один гектар, и поручил нашей семилетней школе ухаживать за ним. Сеять нужно было по методу академика Лысенко: квадратно-гнездовым способом. Всё лето мы, школьники, пололи эти квадраты, не затрагивая центр. Результат – гектар жирных сорняков.

Хрущев распорядился сеять «царицу полей» кукурузу. Она всходила и вырастала до 10-15 см. Снова пустые поля. Основные же культуры наших мест - ценнейший лён, зерновые, картофель, а также животноводство - отходили на второй план. Потом исконные русские области Хрущев объявил нерентабельным нечерноземьем, повелел распахивать целину. Русская деревня была окончательно добита. Пустели дивные места Смоленщины, со смешанными, весёлыми и богатыми лесами, плавными холмами, пригорками, речками, лощинами и разнотравными лугами.

Вот в такой вымирающей деревне проживали две вдовы: мама и её сестра, из потомственных трудолюбивых крестьян-середняков. И пришлось маме за много километров отыскать старичка, который и сваял мне валенки.

Я получила посылку с валенками. Это была вещь! Мороз не страшен. Скрипит, искрится на морозе снежок, а ногам тепло. Эти валенки ручной работы, без всяких добавок, лёгкие, мягкие, тёплые, из шерсти овцы романовской породы, дорогие мне валеночки, я сохранила как память о маме, Олеге и Тюмени.

Вспоминается ещё одно тюменское приключение. Однажды Шруб приходит на выставку с двумя молоденькими девушками и начинает, со свойственной ему театраль-

ностью, знакомить девушек со мной. К моему изумлению, я вижу, что девушки в моих кофточках и косыночках. Я не подала виду, доработала день. Вечером поехала к Екатерине Александровне Мурашовой за советом. Я виновата сама. Прожив с Олегом двое суток у Шруба, оставила чемодан в его квартире, взяв перемену с собой. Жила в гостинице и месяц чемоданом не интересовалась. Он был без ключа.

Мы с Екатериной Александровной решили сходить к Шрубу и поговорить с ним. Шруб вернулся поздно. Узнав о случившемся, он был искренне расстроен: сказал, что о таком и подумать не мог. Это чистая правда. В чьих кофточках девушки - его, конечно, не заботило... В чемодане же моём остались только два пакета гречневой крупы. Девушек он только что проводил на автовокзал, они сдали вещи в багаж, и завтра, в 11 часов утра, уедут домой на автобусе. Девушки из ближайшей деревни служили ему натурщицами.

Мы договорились, что утром приедем на автовокзал пораньше и попросим девушкам багаж не выдавать. Я переночевала у Мурашовых, а утром со Шрубом отправилась на автовокзал. Девушки мне вернули некоторые замызганные кофточки и косыночки, а каких-то вещей у них уже не было...

Люди моего поколения к материальным потерям относились легко. Важнее было сохранить лицо. Ведь мы приехали из Ленинграда поднимать культуру – и вдруг такое!

Наш директор Сергей Петрович Кадцин был немолод, умудрен опытом, отличался добротой, хотя доходили слухи, что раньше он служил в какой-то колонии. Всё может быть. В советское время партийных работников перебра-сывали в разные сферы деятельности. Мне Сергей Петрович запомнился добряком. Иногда он заходил в комнату сотрудников и говорил: «Девчонки! Ну что вы тут сидите? Идёт такой-то фильм. Сходите в кино». О себе откровенно рассказывал, что образования, связанного с искусством, у него нет. Из художников признавал только Шишкина. Единственный раз был на курсах повышения квалификации в Москве. Несколько лекций им читал И. И. Грабарь, водил в запасники Третьяковской галереи. Подведя к ранним работам Машкова и Кончаловского, спросил: «О чём говорят эти картины?». Не слыша ответов, Грабарь сказал: «Я – краска! Я – краска!»

Однажды Сергей Петрович вызывает меня к себе, сажает напротив, по-отечески смотрит на меня и спрашивает: «Вы замужем?» Я отвечаю: «Да». «И вы расписаны?» Я отвечаю: «Нет. Это не так важно». Тогда он говорит следующее: «Нет, дорогая Альбина Алексеевна. Для того, чтобы нацать – нужна бумага и печать. (Он не выговаривал букву «ч»). Я вам даю командировку на десять дней в Москву и Ленинград. Вы зайдёте в «Дирекцию выставок и панорам», потом в Русский Музей, узнаете, какие передвижные выставки могут нам предложить. Повидаетесь со своим мужем, - и обязательно вернитесь с бумагой и печатью».

Спасибо доброму Сергею Петровичу за его настойчивый отеческий совет. Я в Москве. Остановилась в «Суриковских клоповниках» - бараках у Рижского вокзала, служивших общежитием Суриковского художественного института. Всё мне благоприятствовало. В общежитии мест не было, но меня на двое суток подселили в комнату из четырех человек, на раскладушке. Я была рада этой раскладушке, а с людьми я умела ладить: за плечами 9-летний опыт жизни в студенческих общежитиях. В «Дирекции выставок и панорам» договорилась об очередной выставке для нашей галереи.

Ленинград. Встреча с Олегом. Мы счастливы. Олег всегда звал меня в ЗАГС, но мне казалось это неважным. Теперь он обрадован напутствием Сергея Петровича. Олег жил с двоюродной сестрой Еленой Августовной на Васильевском острове, в Гавани, в 9-метровой комнате коммунальной квартиры.

Мы отправились в ЗАГС и стали просить нас расписать. Суровая дама, взглянув на нас, ответила, что ждать нужно минимум месяц. Мы приводили свои доводы: что я в командировке, и ждать не можем. Дама ворчала: «То вас срочно расписывай, потом срочно разводи», - но всё-таки назначила день, 8 февраля 1962 года.

Мы пришли в назначенное время. Опять оплошность. Оказалось – нужны два свидетеля. Вышли на улицу, рядом военно-морское училище. Обратились к двум морякам. Они смущенно сказали, что они в робах, идут на задание и им неудобно снять шинели. Два следующих морячка согласились, были одеты по форме, поставили свои фамилии в нужном месте, поздравили нас и пошли своей дорогой. Я долго помнила их фамилии, но не записала, теперь забыла.

У нас не было ни свадебных нарядов, ни колец. На мне была светло-жёлтая трикотажная кофточка, вернувшаяся от девиц Шруба, и серая шерстяная буклированная юбка, сшитая самой ещё в общезжитии. Олег был в костюме с галстуком, которые не любил и потом не носил. Вернулись в Гавань; приехала моя подруга и однокурсница Лена Кириллина с букетом гиацинтов. Так, в обществе двух Елен, мы отпраздновали свою «бумагу и печать». И я уехала в Тюмень ожидать окончания учебы Олега.

В конце марта 1962 года Олег поехал с друзьями кататься на лыжах в Южки, в окрестностях Ленинграда. Солнце, снег, наст, отменное скольжение. Олег был лыжником с упрямым характером, решил покорить гору. На большой скорости врезался в дерево, сломал правую ногу с раздроблением. Друзья доставили его в Институт скорой помощи только к вечеру. Хирург Митюнин был вызван из Театра оперы и балета (Мариинский). Митюнин собрал ногу Олега по частям. Внутри кости был вставлен титановый стержень, наложен гипс до паха. В гипсе Олег пробыл целых 9 месяцев. О защите диплома не могло быть и речи.

Я получила тревожное письмо. Нужно было думать о возвращении в Ленинград. Вот тут-то и пригодилась «бумага и печать». Но даже при наличии свидетельства о браке было много препятствий. Меня уговаривали остаться, так как я была единственным дипломированным искусствоведом. Кроме того, требовалось вернуть деньги государству за неотработанный по распределению трехгодичный срок. Денег у меня не было.

И всё же летом 1962 г. я вернулась в Ленинград. Олег в академическом отпуске, правая нога в гипсе до паха; у меня работы нет. Комната 9 квадратных метров – узкая, как трамвай, отделённая некапитальной стеной от общей кухни коммунальной квартиры на Васильевском острове. У Елены Августовны, пережившей блокаду, туберкулёз. Так началась наша совместная жизнь - с преодоления многих житейских трудностей. Но мы были молоды. У Олега был упрямый характер, крутого сибирского замеса, и одновременно нежная, тонко нюансированная душа. Не имея практической и коммерческой жилки, мы многое умели делать своими руками, легко мирясь с аскетическим бытом. Встретившись в стенах Академии художеств, мы пронесли свои чувства через все испытания житейского моря, прожив вместе 55 лет...

Любовь – это и впрямь прикосновение божественной благодати. «Хорошо человеческой душе, когда она спешит к другой и несёт ей что-нибудь благое», - говорил Константин Бальмонт. Такая тонкая, чуткая, надёжная душа у меня была – мой дорогой Олег, которого не стало в июне 2016 года...

Тюмень – краткая, но в то же время яркая страница в моей жизни. Не успев глубже познакомиться с этим замечательным сибирским краем, я навсегда сохранила сердечную теплоту и благодарность к людям, с которыми довелось встретиться в Тюмени.

Катастрофу отменили

Говорят, пожилые выходцы из СССР до сих пор вспоминают 5 марта 1953 года как дату чудотворного спасения советских евреев от депортации, а, возможно, от гибели. И хотя прошло больше семидесяти лет, я запомнил этот день из-за жуткого страха, для которого не могу найти подходящих слов. Скорее всего, таких слов просто нет ни в одном языке мира.

Утром в тот день я был в школе. Посреди урока внезапно открылась дверь, в класс вошёл завуч Евгений Иванович. Загрохотали крышки парт, все встали. Привычных слов, мол, садитесь, он не сказал. Мы так и остались стоять в нависшей тишине. Потом Евгений Иванович вышел на середину и словно застыл.

– Дети, дорогие мои дети, – тихо, едва шевеля губами, сказал он. – Горе! Небывалое горе... Умер товарищ Сталин. Уроков больше не будет. И ничего без Иосифа Виссарионовича не будет, бедные вы мои. Идите домой.

У Евгения Ивановича, – мы, первоклассники, его любили, – по щекам текли слёзы.

Вот так я узнал о смерти Сталина.

Гости из прошлого

Мама готовила ужин и плакала, когда, раньше обычного, с работы вернулся отец. Но оба молчали. Это было какое-то леденящее молчание, от него волны ужаса накатывали одна за другой.

Поздно вечером меня с братом уложили спать. Мы жили в одной комнате, наши кровати были отгорожены старой ширмой. Родители думали, что мы спим, но бессонница мучила меня уже много месяцев. Я лежал тихо и хорошо слышал, как мама снова и снова умоляла отца немедленно развестись. Она говорила, что должна выписаться и переехать к своей маме, моей бабушке; та жила отдельно. А отец должен остаться с детьми, то есть с нами. Иначе выселят в ссылку всех, Или ещё хуже. Что могут начаться погромы, они придут и убьют всех.

Ни тогда, ни сейчас я не знаю, кого она безлично называла ОНИ. Но её слова хорошо запомнил, мне было почти восемь лет. Мама старалась говорить тихо, но было слышно, как она плакала. Глухо и отчаянно.

– Сталина больше нет. И защитить нас некому, – вновь и вновь повторяла она. – Мне надо от вас уйти... Ради детей... Мы должны!

– Нет! Ни в коем случае! – примерно так отвечал отец. И ругался.

В состоянии непередаваемого детского ужаса я жил несколько недель, и за это время окончательно потерял способность говорить. Хотя прогрессирующее заикание началось примерно за год-полтора до смерти Сталина. Но после этого потеря речи стала почти полной. В нынешние времена меня признали бы инвалидом детства. Я сильно заикался или замолкал на каком-то слове, не в силах его произнести. Так было вплоть до 14-15 лет.

Помню нудные лечебные уроки у нескольких логопедов; родители платили им большие по тем временам деньги. Постепенно речь выправилась, несмотря на несколько рецидивов. Думаю, я был одной из последних жертв несостоявшегося сталинского Холокоста, дожившей до текущего сейчас времени. В отличие от геноцида поляков, чеченцев, ингушей, турок-месхетинцев и других, - депортация советских евреев не была реализована только из-за смерти Сталина-Джугашвили.

Постоянный страх и постепенное приготовление к худшему сопровождали жизнь моей семьи много месяцев – и до смерти Сталина, и после неё. К великому моему стыду, только через два десятка лет после смерти отца я понял, что мы уцелели только благодаря его несгибаемому мужеству и смелости. Рассказывая об этих событиях, я словно слышу голос отца, словно разговариваю с ним, произносятся те слова восхищения и сыновнего почитания, которые не сказал при его жизни.

Итак, я – Евдокимов Андрей Михайлович. Родился 24 мая 1945 года в местечке Подлипки, входившем в город Калининград (позже переименован в город Королёв) Мытищинского района Московской области. Сейчас там размещён Центр управления космическими полётами и прочие структуры, связанные с космонавтикой. А во время Второй мировой войны в Калининграде находилось конструкторское бюро тяжёлого артиллерийского вооружения, известное как КаБэ Грабина. Мой отец, Евдокимов Михаил Яковлевич, был

направлен туда в середине 1944 года. Как ценный специалист, он сумел выправить для мамы и брата разрешение вернуться из эвакуации.

Отец родился в октябре 1903 года в деревне Мячково Гороховецкого уезда Владимирской губернии, в бедной крестьянской семье. Спасаясь от голода, в 15 лет ушёл на Гражданскую войну. По протекции старшего брата Ивана, ставшего большевиком задолго до революции, отца зачислили в часть особого назначения (ЧОН) Астраханского губ-чека. Тогда же отец вступил (записался, как он говорил) в ВКП(б), Всероссийскую коммунистическую партию (большевиков), в 1952 году переименованную в Коммунистическую партию Советского союза (КПСС). Странно, что я до сих пор это помню.

Отец не дослужил до окончания Гражданской войны. Он дважды переболел тифом, выжил после холеры, и его признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья. С одной котомкой за плечами отец уехал в Петроград (после смерти Ленина переименован в Ленинград). Благодаря необыкновенному упорству и силе воли он окончил вечернюю школу, а потом рабочий факультет Ленинградского института водного транспорта. Во время учёбы он и познакомился с моей мамой, которая в то время оканчивала Ленинградский технологический институт по специальности «Взрывчатые вещества».

Моя мать – Фрейман Анна Абрамовна родилась в апреле 1910 года в Санкт-Петербурге, в семье довольно обеспеченной еврейской интеллигенции. Её отец Фрейман Авраам Срулевич родился в Полтаве, окончил Одесский университет по так называемой «еврейской квоте». При паспортизации населения в 30-х годах записался как Абрам Израилевич. До и после революции работал экономистом и бухгалтером в банках и различных организациях. Моя бабушка - Фрейман Мариам Боруховна, после паспортизации - Мария Борисовна, урожденная Слиозберг, доводилась родной сестрой знаменитому русско-еврейскому адвокату Генриху Слиозбергу. Он известен до наших дней как автор обстоятельной книги «Евреи в России», в которой, в частности, рассказано о жизни и нравах еврейской общины города Полтава. Кстати, адвокат Г. Слиозберг был единственным иудеем, которому за особые заслуги пожалован титул столбового дворянина Российской империи.

В моей памяти он остался благодаря тому, что отправил бабушку учиться в Лозанну, в Швейцарию, и оплачивал

учёбу до получения ею степени доктора медицины (PhD). После возвращения в Россию бабушка работала врачом до самой пенсии. Её вынудили уйти на пенсию, угрожая репрессировать по ленинградскому аналогу «дела врачей», которое хорошо известно тем, кто интересуется историей сталинских репрессий послевоенного периода.

С молодости мама была истовой комсомолкой. Как убеждённая большевичка–коммунистка, она рано вступила в ВКП(б). Судя по всему, она была одарённым специалистом. Во время беременности написала учебник «Краткий курс пиротехники» - о технологии производства взрывчатых веществ, которая до сих пор считается актуальной. Текст этой книги гуляет по десятку разных сайтов в Интернете.

Перед войной она без отрыва от работы успела защитить кандидатскую диссертацию, а в 1938 году родился мой старший брат Николай. Тогда же родителям выделили 30-метровую комнату в коммунальной квартире, что по тому времени считалось роскошью. Никто не заметил зловещего предзнаменования: всех прежних жильцов, - их фамилия Перле, - арестовали и расстреляли, как врагов народа.

После окончания войны отцу удалось добиться перевода в Ленинград, в новое КБ специального машиностроения, где он работал до пенсии. Начальника этой организации, генерала Иванова Илью Ивановича, я помню. Он приезжал к нам на пятидесятилетний юбилей отца. В генеральском мундире с орденами и завесой блестящих медалей.

Несмотря на безупречную по советским меркам анкету, отец старался не привлекать к себе внимания кадровиков и чекистов. Он всегда отказывался от повышений и новых назначений, дважды – от заграникомандировок в Германию и Чехословакию, где должен был стать одним из руководителей работ по демонтажу и вывозу в СССР оборудования военных заводов. До глубокой старости отец был необыкновенно осторожен, никогда не поддерживал разговоры о политике. Ему было, чего опасаться: два его старших брата с войсками Колчака отступили на Восток, а потом ушли в Монголию в отрядах барона фон Унгерна. Там и пропали. Кроме того, прадедом отца по прямой линии был генерал граф Евдокимов Николай Иванович. Когда-нибудь я напишу о том, как потомок графа стал простым крестьянином. Это удивительная и романтическая история, но здесь она не к месту.

После возвращения в Ленинград, благодаря учёной степени, мама устроилась преподавать на химический факуль-

тет Ленинградского института киноинженеров (ЛИКИ). И сделала молниеносную карьеру. К концу 40-х годов она стала деканом факультета и руководителем научно-исследовательского отдела, разрабатывавшего технологию производства киноплёнок и сопутствующих реактивов. В отличие от отца, мама была общительна, разговорчива и напориста. Как теперь говорят – амбициозна.

Да, мама любила свои успехи, любила шумные компании и вечеринки, неколебимо верила в идеи партии Ленина–Сталина и во всё советское. Видимо, в школе, а позже в комсомоле, ей накрепко внушили подходящие советскому человеку взгляды и образ мыслей. Иначе откуда это взялось? Ведь моя бабушка очень скептически относилась к большевизму и всему, что с ним было связано. И, в меру допустимого для того времени, не слишком это скрывала.

Послевоенные цветные фильмы были сняты на киноплёнку, созданную мамой. Но это случилось уже после того, как её исключили из партии и уволили с работы в ходе «кампании по борьбе с сионизмом и космополитизмом» (так именовали тогда антисемитизм). Вероятнее всего, готовился её арест и осуждение по антисоветским статьям тогдашнего уголовного кодекса.

Беда началась осенью 1951 года. Мама приходила с работы мрачная, наспех кормила всех и ложилась в кровать лицом к стенке. Отец укладывал нас молча; он вообще был молчуном, каких поискать. Потом садился за обеденный стол, - другого не было, - шелестел газетами и без остановки курил. О том, что табачный дым вреден для детей, никто тогда не знал. Иногда я слышал, как родители тихонько шептались. Часто спорили и ссорились, думая, что мы с братом спим.

А в один из выходных в середине весны 1952 года, точнее не помню, меня и брата усадили за стол, родители – напротив. И мама, срываясь от волнения, объяснила, что их с отцом могут «забрать». Тогда это слово говорили вместо слова «арестовать». А нас отправят в детский дом. Поэтому нам приготовили самые необходимые вещи; ни в коем случае нельзя их терять. И самое главное: нам нужно всегда держаться вместе. А мой брат Коля, как старший, должен заботиться обо мне, и нужно во всём его слушаться. С того дня на табуретках у наших кроватей лежали котомки. Одна большая – для Коли, вторая поменьше – для меня. На котомках были нашиты белые тряпочки с именами, фамилией и да-

тами рождения, записанные химическим карандашом, теперь такие карандаши не делают. В котомки были вложены бутылочки с водой и мешочки с сухарями. Их обновляли каждую неделю, а сухари мы размачивали в супе, свежий хлеб бывал редко.

Той ночью я так и не смог заснуть, мучился до рассвета. Только закрывал глаза, как чудились звонки и стук в двери – это ОНИ пришли и уволокут меня. А утром я не смог ни с кем поздороваться, не мог выговорить самых простых слов.

С каждым днем родители становились всё угрюмее. Не было обычных маминых шуток; она заметно осунулась, под глазами очертились тёмные круги. На работу она ходила, но чувствовалось, что через силу. И почти каждый вечер кто-нибудь из родителей повторял, что делать, когда «за нами придут», что надо держаться вместе и ни в коем случае не плакать.

На первомайскую демонстрацию мама не пошла, осталась дома, впервые с тех пор, как я себя помнил. И на следующий день тоже. Так я узнал, что маму выгнали с работы – так между собой говорили родители. Точнее, шептались, думая, что мы с братом их не слышим.

В день рождения, когда мне исполнилось семь лет, вместо весёлых подарков я получил сатиновые шаровары и детские резиновые сапожки. Не было чаепития с конфетами, пирожками и прочими вкусностями, на которое обычно звали соседских мальчишек. Зато на ужин нам с братом дали свежую булку с маслом и варёной колбасой. До сих пор помню запах и вкус тех бутербродов.

В первых числах июня мы уехали в какую-то беспросветную глушь, добирались туда целый день, последние километры – на телеге по бездорожью через лесную чащобу. Там, в доме лесника дяди Власа, родители сняли комнатёнку с двумя кроватями и столиком между ними. На одной спали родители, на другой – мы с братом. У дяди Власа была коза; проснувшись, я выпивал стакан парного, только что сдоенного молока с краюхой серого хлеба. Каждые два-три дня Коля ездил за хлебом на велосипеде в подсобное хозяйство какого-то завода - километров пять от нас.

К середине июля начали поспевать овощи; кушать стало лучше и заметно веселее. Тогда же в отпуск приехал отец. Он наладил удочки: большую для себя, маленькую для меня. С вечера копали червей, а на зорьке шли к озеру. Не помню, чтобы оставались без улова. Его хватало и нам, и дяде

Власу с дочкой – её звали Капитолина, Капа. За грибами ходили всей семьёй. Грибы варили, жарили, сушили, солили и мариновали. Ягоды собирали редко, только чтобы поесть. А заготовить варенье на зиму не могли – не было сахара.

За всё лето я ни разу не болел, Речь потихоньку выправлялась, я заикался уже не так отчаянно. И родители решили, что можно пустить меня в школу, в первый класс.

Мы вернулись в Ленинград, но дома становилось всё страшнее. Котомки по-прежнему ютились на табуретках возле наших с братом кроватей. Уже не обращая на нас внимания, родители спорили почти каждый день. Мама, плакала, умоляя отца развестись. Отец отмалчивался или ругался, как обычно – матом. Моё заикание усиливалось, в школе я не мог отвечать уроки, когда вызывали к доске. Может быть, это было и к лучшему – одноклассники меня не задирали, как двух-трёх других еврейских мальчиков. Наверное, не видели смысла дразнить, когда я не мог внятно ответить. Вдобавок ко всему, меня замучила бессонница. Я боялся, что если засну, то за нами обязательно придут; и только к середине ночи проваливался в зыбкий сон, полный жутких кошмаров.

Где-то к середине октября я придумал прятаться. Едва родители засыпали, я залезал под свою же кровать, забивался в угол к стенке и укрывался всяким тряпьем. Так получалось заснуть. А утром, едва начинал звонить отцовский будильник, запрыгивал обратно в постель. Парового отопления тогда не было, ночью печка остывала, и по полу задувал холодный сквозняк. Поэтому я всю осень и зиму непрерывно простужался, в школу почти не ходил, мама занималась со мной дома.

Пытавшаяся лечить меня детский участковый врач Ася Залмановна Непомнящая, – представляете, я до сих пор помню её имя! – посоветовала нанять логопеда. Занятия были нудными, но не трудными. Я брал по красному флажку в каждую руку и маршировал по комнате, говоря что-то вроде «Маша ела кашу». Каждое слово нужно было произносить по слогам. Под каждый слог я делал один шаг, поочередно поднимая то один флажок, то другой. Но никакие упражнения не помогали.

А в начале 1953 года Ася Залмановна приходит пере-стала. Я подслушал разговор на кухне: соседки судачили, что её выгнали с работы, потому что она жидовка, что она залечивала русских детей до смерти, и теперь её посадят. Слово «залечить» несло в те годы особо жуткий смысл. Оно

выкатилось в бытовой обиход со страниц центральных газет, оповестивших о разоблачении банды врачей–вредителей, которые убивали пациентов путём назначения заведомо вредных лекарств и смертельных процедур. Именно так «вредители в белых халатах» убили, то есть – «залечили» Максима Горького и секретаря ЦК ВКП(б) по идеологии Андрея Жданова. Ленинградский университет несколько десятилетий носил его имя.

Наша семья жила очень скудно. Зарплаты отца хватало только на самое необходимое. Правда, меня, как маленького и больного, - а болел я почти всё время, - кормили особо: мясные и куриные бульоны, сливочное масло, свежий хлеб, овощи и даже яблоки. Под Новый год – мандарины. Но я ел с трудом. Едва родители отворачивались, передвигал свою тарелку брату, а себе брал его пустую. Коля стремительно рос; к концу того года он вымахал под 190 сантиметров. И это - когда ему было всего 15 лет. Позже родители устроили его в спортивную школу, в секцию плавания; воспитанников там хорошо кормили. Иногда брат приносил домой печенье или пластинки сыра, хотя выносить еду строжайше запрещалось. Не знаю, как он переносил навалившуюся беду, об этом мы никогда с ним не говорили.

Зимой 1953 года маму «вызывали». Из разговоров родителей я узнал, что маму допрашивали. Она возвращалась с буквально почерневшим лицом, а вечером снова умоляла отца развестись. И тот в который раз отвечал «Нет!», и опять ругался. Забыть это невозможно.

Событий весны 1953 года я почти не помню. Что-то важное наверняка происходило, но в нашей семье изменений не было. Хотя сейчас, задним числом, я понимаю, что страх и ожидание самого жуткого постепенно угасали. Вероятно, в конце апреля мама перестала обновлять сухари и воду в наших котомках; за обеденным столом появился свежий хлеб. А позже куда-то делись и котомки.

Завтра – это вчера

Всё, о чём я буду рассказывать дальше, почти не связано с памятью о детстве. Я постарался забыть всё, что происходило тогда. Причина проста: стоило мне вспомнить о пережитом, как сразу возвращалось заикание. Речь спотыкалась на каких-то неожиданных словах, и я замолкал на час, на два, иногда на целый день. Помню, в девятом классе на уроке литературы я читал наизусть известную сцену летнего

вечера в деревне из «Войны и мира». И вдруг остановился – не мог выговорить имя Наташи Ростовской! Стоял у доски и молчал, пока учительница не выгнала меня из класса, – думала, что я над ней издеваюсь. Спешно вызванная в школу мама что-то объяснила, но слова «Наташа Ростова» я не мог произнести ещё несколько лет.

Ещё один такой случай произошел на устном экзамене по физике, когда я поступал в университет. Не помню, на чём я тогда заткнулся, но, к счастью, догадался написать ответ на бумаге. Кажется, это была формула.

Возможно, психотерапевты объяснят лучше, но я думаю, что подсознательно сам нашел способ вылечиться. Способ простейший – забыть и не вспоминать.

Да, я очень долго, десятки лет не вспоминал о пережитом. Только однажды я не слишком настойчиво попытался узнать у отца, что тогда произошло. Отец ответил, что мама во многом была сама виновата. Она упивалась успехами по работе, не замечая подвохов от сослуживцев и, вообще, не думая том, что кто-то может ей навредить. А поводов давала много. «Ходила мама весело по тропинкам бедствия», – так сказал отец. Кстати, отмечу, что он хорошо разбирался в людях; едва увидев человека, сразу составлял о нём мнение. Не помню, чтобы он ошибся.

Я спросил: была ли вероятность, что маму репрессировали? Отец ответил лаконично и, как всегда, осторожно. «Время было такое. И негодня этим пользовались. Многие люди пострадали безвинно. И твоя мама тоже. Но партия исправляла допущенные ошибки. И не нужно об этом вспоминать, тем более – обсуждать с посторонними, даже если думаешь, что говоришь с другом. Сегодня он твой друг, а завтра всё может обернуться совсем по-другому», – примерно так говорил отец. И больше мы эту тему никогда не затрагивали. Как я об этом сейчас жалею!

В конце 90-х годов, в весьма, мягко говоря, зрелом возрасте я взялся писать свой первый роман. Я использовал события своего детства, чтобы описать, как теперь говорят, «бэкграунд» главного персонажа. Для этого подробно расспросил маму о подробностях тех событий. Соответствующий эпизод никак не касался сюжета, но был включён в текст романа «Австрийская площадь» (*Изд-во «Детектив–Пресс», Москва, 2000 г. - Прим. автора*).

Я сохранил запись. Вот что мама мне рассказала.

«Я работала тогда деканом химического факультета Института киноинженеров. На одной из кафедр преподавал некто Костылев. Он плохо работал, вёл занятия пьяным, благо, спирт у химиков всегда был под рукой и в неограниченных количествах. Я несколько раз предупреждала Костылева и, в конце концов, отстранила от преподавания и понизила в должности. А когда и это не помогло, подготовила приказ об увольнении. На освободившееся место я выдвинула Якова Михайловича Веприка. Он был талантливый учёным, позже ему дали Государственную премию за создание способа передачи фотографий из космоса; цифровой фотографии тогда не было».

Я легко нашел следы Я. М. Веприка. По запросу на его имя Интернет выдал скриншот государственного свидетельства на изобретение с названием «Физический проявитель» и несколько научных статей.

«На работу Якова Михайловича оформили очень быстро. У кадровиков не возникло никаких вопросов, – рассказывала мама. – Он воевал на фронте, после победы демобилизовался. Паспорта демобилизованным военным выдавали в спешке, никаких проверок не проводили, поэтому в паспорте, в графе «национальность», ему, как и всем, записали «русский». А на самом деле Веприк был евреем и не скрывал этого. Он вообще был весёлым человеком, часто шутил, что хочет снова стать евреем, но всё времени не хватает хлопотать с документами. Кстати, он совсем не был похож на еврея, типично русское лицо. Но беспечность его подвела. Костылев воспользовался ситуацией и написал длинное заявление в партком института и МГБ (*министерство государственной безопасности СССР, предтеча КГБ. – Прим. автора*). В нём говорилось, что я, пользуясь руководящим положением, скрываю на факультете замаскированных космополитов. Конечно, был назван Веприк, И я сама являюсь затаившейся сионисткой, которая с целью вредительства создала тайную сионистскую и антисоветскую организацию. Я не отнеслась к этому пасквилю всерьёз, была уверена, что никаких последствий не будет.

Когда меня вызвали на внеочередное заседание парткома, я шла и про себя улыбалась: мол, надо же, какая чушь. Помню, единственное беспокойство вызывало то, что я не успела в сходить в парикмахерскую.

Разбирательство было коротким. Я растерялась и ничего не смогла сказать в своё оправдание. Помню, что среди тех,

кто поддержал обвинения, был сотрудник райкома и ещё какой-то человек, долго говоривший о происках империалистов и сионистов против советской власти. Но больше всех старался опорочить меня секретарь институтского парткома Маньковский. Этому я не удивилась – он дружил с Костылевым, тот носил Маньковскому спирт, они вместе выпивали. Вот так, непричёсанную и улыбающуюся, меня исключили из партии. Голосование было единогласным.

В следующие дни меня сместили с должности декана, но оставили работать доцентом – я читала спецкурс о производстве технических фото- и киноплёнок. Заменить меня никто не мог, я была единственным специалистом. В тот же день, когда я прочитала последнюю лекцию, меня уволили. Зачёты и экзамены принимал у студентов уже кто-то другой.

Мне было непереносимо тяжело, моя жизнь обрушилась. К тому же ты тогда очень болел. Кроме заикания, были постоянные ангины, их осложнения вызвали у тебя миокардит и ревматизм. Твоя бабушка говорила, что ангина царапает гланды, но кусает сердце и суставы. Мы всерьёз опасались за твою жизнь. Почти год после увольнения меня не тревожили. Я постепенно училась быть домохозяйкой, окончила курсы кройки и шитья, перешивала для вас с братом старую одежду, денег на новую не было.

А в конце 52-го года началось самое ужасное. Меня несколько раз вызывали в райком партии, расспрашивали о друзьях, знакомых и родственниках. Я удивлялась, почему мною интересуются, ведь меня уже исключили из партии. Отец тогда объяснил, что расспрашивали не люди из партийных органов, а сотрудники МГБ. Судя по всему, они готовились арестовать и судить меня за создание сионистской организации и антисоветскую деятельность!

К счастью для меня, Яков Михайлович сумел снять с себя все обвинения. Он поехал в Одессу, где жил до войны, привёз оттуда архивные документы и смог доказать, что еврейская семья Веприков усыновила его в младенческом возрасте после смерти настоящих родителей. На самом деле мать Якова Михайловича была украинкой, а отец русским. Думаю, что своей находчивостью Веприк отсрочил мой арест. Ведь обвинение в создании сионистской организации оказалось вздорным даже для того времени – какая же это организация, если в ней всего один человек, то есть я.

Но никто не собирался меня оправдывать. Никто! Перед самым Новым годом твоего папу вызвали в партком и потре-

бовали, чтобы он развёлся со мной. Он-де коммунист, участник Гражданской войны, его уважают и ценят как авторитетного руководителя и опытного инженера. Партия не может допустить, чтобы он был арестован и выслан как член семьи изменницы родины, - это говорилось обо мне. Отца убеждали, что он должен поступить как русский патриот, и делом доказать свою преданность партии. Но он ответил категорическим «Нет». А если твой отец говорил так или принимал какое-то решение, то он его никогда не менял и от своих слов не отступался. Таким он был, жаль, что в молодости я не понимала и не ценила его так, как он заслуживал по своим человеческим качествам.

После Нового года отца снова стали вызывать в партком, уговаривать по-всякому, но он не соглашался на развод. Мы стали готовиться к одному из двух. Либо меня арестуют, а потом и его. А вас с братом отправят в детский дом. Либо вышлют всех вместе на спецпоселение в Биробиджан, где для советских евреев создана автономная республика (*Еврейская автономная область – Прим. автора*).

Тогда многих евреев заранее увольняли, чтобы их внезапная высылка не навредила учреждениям, где они работали. Среди тех, кого тогда выгнали с работы – твоя бабушка и вдова твоего дяди, убитого на фронте в конце войны. И многие другие, кого я знала. Всё свидетельствовало, что выселение евреев из Ленинграда было делом решённым. Неизвестно было только, когда и как это случится.

И раньше, и в то время, особенно после смерти Сталина я умоляла твоего отца подать на развод, после которого я выпишусь с нашей жилплощади и пропишусь в комнату мамы, то есть твоей бабушки. Я плакала, на коленях, буквально на коленях умоляла мужа согласиться. Хотя бы ради детей. Чтобы вы остались жить в Ленинграде, говорила, что ты со своими болезнями не перенесёшь выселения. Но твой отец и слышать об этом не хотел! Никогда, ни до, ни после я не слышала от него столько ругани. Конечно, он понимал, что это самый разумный выход, но, видно, не мог переступить через свое понимание жизни и долга.

Больше года мы жили с приготовленными к отъезду вещами. Отложили только то, что могли унести на себе. Ведь мы не знали, куда и как попадём. Спорили с отцом из-за лишней простыни, или о том, какие одеяла брать, ссорились из-за количества спичек и соли. Сейчас всё это трудно представить, тем более понять.

Твоему отцу было намного тяжелее, чем мне. Он лучше понимал ситуацию и то, что происходит. А я жила, будто в ядовитом тумане. Лучше сказать, в состоянии обречённости. Но только много лет спустя я осознала, что именно твой отец спас всех нас. Твёрдо отказавшись от уговоров развестись со мной, он выиграл время! Дело в том, что отец был в номенклатуре союзного министерства, а как участник Гражданской войны и бывший чекист – на особом учете в ЦК партии. Это значило, что его было нельзя ни уволить, ни исключить из партии без согласования с союзными органами. Судя по всему, такие запросы были в Москву направлены. Но ответа на них так и не пришло. А потом умер Сталин, несколько недель спустя обнародовали решение ЦК партии, прекратившее репрессии по так называемому «делу врачей». Его инициаторы подверглись публичному осуждению, их лишили государственных наград, а тех, кто сидел в тюрьмах выпустили и полностью реабилитировали. Чуть позже был разоблачён как английский шпион и вредитель сам Берия. Его немедленно расстреляли.

Я уже говорила, что твой отец был очень умным человеком, он тонко чувствовал и понимал происходящее. На каком-то важном испытании военной техники он сумел поговорить с тогдашним секретарем Ленинградского горкома КПСС, его фамилия Замчевский. Отец рассказал, что произошло со мной и, самое главное, передал тому прямо в руки заранее подготовленное заявление с изложением моей истории. Да, твой отец был очень умным человеком, чувствовал собеседника, умел убеждать людей и располагать их к себе.

Партийно-бюрократическая машина провернулась очень быстро: в течение месяца я была восстановлена в партии, а ещё через некоторое время меня устроили на преподавательскую работу - доцентом в Институт советской торговли. Сама, без вмешательства горкома, устроиться на работу по специальности я не могла. Лиц еврейской национальности допускать к преподаванию в вузах никто не хотел».

В мамином рассказе было много подробностей. Пока опущу их. Думаю, что общая картина показана и понятна.

Мысли из будущего

Есть три периода воспоминаний. Первому сопутствуют яркие, почти осязаемые картины, кажется, что всё произошло не далее как вчера. Во втором туман забвения искажает

абрис минувшего, а лица перемешиваются. И память смещается в сторону невольной выдумки. Наконец, третий, последний... Собственно, что о нём говорить, когда уже ничего не остаётся, кроме смутных видений.

Но есть ещё один вид памяти, никак не зависящий от непосредственного очевидца и свидетеля событий. Я бы назвал его памятью в будущем, когда события воссоздаются следующими поколениями. И тут объективный взгляд на прошлое искажается порой до неузнаваемости. Психологи называют это свойство человеческого сознания исторической амнезией. Впрочем, я слышал, что есть экологическая, политическая и другие виды социальной амнезии.

Я задумался о сказанном, когда дочка прочитала черновик этой рукописи и откликнулась чередой вопросов:

«Почему бабушка продолжала поддерживать советскую власть, после того как её несправедливо отстранили?»

Она вернулась на работу после того, как на неё завели уголовное дело?

Как вы поняли, что опасность миновала? Почему не уехали из страны куда-нибудь?

Как так получилось, что в семье, где бабушка была коммунисткой, ты вырос в демократа. Кто на тебя повлиял?»

На некоторые вопросы я ответил, дополнив повествование. Но один из них ввёл меня в ступор. Дочка изумляется: почему мы не уехали из страны? За пределами её опыта и понимания жизни лежат реалии жизни в СССР сороковых-пятидесятых годов, когда возможность выезда была открыта буквально единицам советских людей. То же самое относится к недоумению: почему мама (как и десятки тысяч репрессированных) продолжала верить в дело партии и в незыблемость советской власти?

Наверняка у моих молодых современников есть и множество других вопросов, а у тех, кто придёт им на смену, – будет ещё больше. Лыщу себе несбыточной надеждой, что мой рассказ им пригодится.

О пропаганде, заднице и Интернете

Правильный посыл

Как-то в киевской газете написала журналистка про меня такие лестные слова, что лучших мне уже не встретилось нигде. Зря, дескать, все считают Губермана грубияном и невеждой в смысле воспитания: мы вышли из гостиницы с ещё одной знакомой, он нас провожал, а в городе был страшный гололёд. И Губерман всё время оборачивался к нам и говорил заботливо: «Поосторожней, девушки, не ёбнитесь!»

Игорь Губерман «Вечерний звон»

Позвонил мне приятель и спрашивает:

- Как ты думаешь, стоит ли мне участвовать в международном литературном конкурсе?

- На русском?

- На русском! Так и называется: «Русская премия».

- Тебя пригласили?

- Там весь мир приглашают.

- Из Интернета узнал?

- Из Интернета, - грустно ответил он.

- Погоди часок, я тоже посмотрю; потом и поговорим.

Посмотрел в поисковиках, заглянул на сайт конкурса (<https://aspi-russia.ru/contests/russkaya-premia-2024>). И задумался. Ну, в самом деле: напечатал приятель парочку рассказов в «Артикле» и даже денег не получил. Не говоря уже о популярности. А тут две номинации – и победителю обещают миллион рублей (по нынешнему курсу приблизительно 10 тысяч долларов). Председатель жюри конкурса – поэт Максим Амелин. Помню его, он был в Израиле до войны, выступал в Российском культурном центре и даже читал стихотворение без рифм о японских мальчишках, которым дают посидеть на троне микадо, а они и слезать не хотят, сопротивляются. Я тогда заподозрил, что это стихотворение намекает на Путина, но уточнять не стал, чтобы не ставить автора в неловкое положение.

Но намёки намёками, а шансов быть замеченным и награждённым у безвестного израильского писателя – практически никаких. Особенно любопытным показался мне заголовок сообщения под интервью с организаторами конкурса: «Русская премия осталась без финансирования» (<https://godliteratury.ru/articles/2024/03/05/rusaskaia-premiiia-perezapushchena>).

Оказывается, в 2017 году деньги на премию у российского государства закончились. С тех пор случилось много влияющих на массовое сознание событий. Началась – и уже два года длится - чудовищная война в Украине. Был убит Алексей Навальный. Только недавно прошла электоральная акция «Полдень против Путина». И вдруг деньги на литературу появились! Совершенно отчётливо вырисовывается пропагандистское мероприятие. И очень важно для меня написать и опубликовать статью об этом прежде, чем безумный диктатор применит ядерное оружие. А ведь в списке его целей вполне может оказаться и Тель-Авив. В таком случае моя публикация будет, мягко так выражаясь, несколько затруждена.

Обо всём этом быстренько подумал я. И сказал своему приятелю:

- Участвовать ты, конечно, можешь. Правительство Израиля в моём лице не возражает. Но учти: шансов у тебя никаких. От слова совсем. И по художественному профилю ты не подходишь. Русская премия вполне может оказаться за войну, хотя русская литература, по моим сведениям, явно против.

Он не оценил юмора и буркнул:

- Да ну тебя!.. Иди в жопу!

И беседа наша прервалась. Но мы друг на дружку не обижаемся.

По литературной аналогии сразу вспомнился анекдот из жизни гомосексуалистов, причисленных в нынешней России к экстремистам и террористам. Двое таких горе-экстремистов поссорились; один в сердцах посылает другого в задницу. Другой на это отвечает:

- Мириться?! Ни за что!

Но возникает у меня и более серьёзная ассоциация. Туда же, куда был дружески отослан я, популярная израильская русскоязычная писательница Дина Рубина всерьёз послала тех англоязычных «интеллектуалов», которые усомнились в правоте её позиции в еврейско-арабском противостоянии. Её открытое письмо опубликовано в Интернете на многих

сайтах, в том числе и на страничке «Артикля» по адресу: <https://sunround.com/article/?cat=8#gsc.tab=0>.

Дина Ильинична Рубина – человек высочайшей интеллигентности, обычно грубостей себе не позволяет, и если уж высказалась резко – значит, допекло.

Один из признаков демократии – когда человека нецензурно посылают в некоем известном направлении, но в действительности он может идти, куда захочет. Израиль – страна демократическая. Она пытается вести переговоры даже с заклятыми врагами; так появились, например, «соглашения Осло». При этом переговоры никак не исключают необходимых боевых действий, а даже самые успешные боевые действия не отменяют переговоров. Попробуем брать полезный пример со своей страны.

Английские, французские и любые прочие западные интеллектуалы отстаивают свои собственные интересы ничуть не менее пылко, чем евреи или арабы. Совершенно очевидно: израильская демократия соответствует их интересам и жизненным воззрениям полнее, чем арабский патернализм. Если при этом кто-то из так называемых интеллектуалов демонстративно принимает сторону палестинских арабов, значит, есть некое скрытое побуждение, приведшее его к такому решению. Пропаганда ли подействовала, тайное финансирование, шантаж, ложно понятое чувство поправленной справедливости или откровенные гранты – в данном случае нам доискиваться некогда, да и незачем. Исследованием могут заняться специальные службы, сотрудники которых наделены солидными полномочиями и такими же зарплатами. Важно, что это побуждение индивидуально, а большинство коллег по академической деятельности, как и большинство прочих разумных людей в Англии, в Соединённых Штатах, во Франции и других странах Запада всё-таки поддерживают именно Израиль - и это в их интересах.

Примерно об этом сказал в интервью на интернет-телеканале «Итон ТВ» главный редактор «Артикля» Яков Шехтер. У него тоже отменились лекции, только не в Британии, как у Дины Рубиной, а в двух университетах Польши. И тоже – из-за демонстративного возмущения какой-то мелкой инициативной группы, которая пригрозила администрации крупным скандалом. Шехтер сказал: «Чего хотят эти крикуны? Разобщить нас с читателями. И если я обижусь, и перестану ездить в Польшу, где у меня выходят книги, - получится, будто они победили. Но я не доставлю им такого удовольствия.

Если пригласят, я вновь поеду, и, встречаясь со своими читателями, буду рассказывать им правду об Израиле и о мире».

Поссориться с людьми несложно. Намного сложнее перетянуть их на свою сторону. Привлечь. Убедить. И эта задача тем легче и успешнее исполнима, чем точнее правдивая, правильная позиция совпадает с личными интересами убеждаемых. Для западных интеллектуалов, - да и для простаков тоже, - путешествие внутри тёмной задницы интереса не представляет. А вот чувствовать себя миротворцами, решать по собственному произволению судьбы своего государства и всей планеты, поучать и наставлять человечество – миссия гораздо приятнее и интереснее для них.

Среди террористов, напавших на Израиль, на Париж или на Москву, интеллектуалов не было. Среди тех, кто отдаёт приказы стрелять по Украине громадными ракетами, тоже носителей глубокого ума не замечено. А вот для конструирования убийственной ракеты интеллект необходим. И ещё более мощные умственные способности требуются, чтобы надёжно защитить от вражеских ракет свой город и свою страну. Интеллектуалы – и не только западные – делают то, что в их силах и интересах: читают лекции, пишут книги и создают новые технологии.

Война, развязанная властолюбивыми негодьями, идёт не только на земле, в море и в небе – она идёт и в информационном пространстве. Как раз таково пространство литературы. Каждый писатель оказался невольным бойцом этого виртуального фронта - постольку, поскольку является писателем. Прямой боевой опасности для жизни писателя не возникает, - в этом смысле его можно приравнять к труженикам тыла, но общая победа сил добра ему так же необходима, как и любому фронтовику. Даже самые прекрасные, самые умные и добрые книги не предотвращают войн, не смягчают террора. Но они делают жизнь читателей интереснее, память – острее, душу – честнее, эмоции – благороднее. То есть, в конце концов, работают на победу.

Почему я об этом пишу? Потому что нет иного способа зафиксировать и высказать своё мнение, кроме письменного изложения. Это и называется литературой. Написанное можно было бы, конечно, выставить в социальных сетях. Увы, мне социальные сети не близки своей легковесностью и необязательностью. В литературном журнале существует редакция, которая формирует содержание и не допускает к

публикации беспомощные с художественных позиций произведения. В социальной сети таким редактором оказывается сам автор – и в этом несчастье его читателей.

Почему же я пишу всё это на русском? А это уж моя гордость и моё несчастье. Всю жизнь работал с русским языком. Все победы и поражения, успехи и трудности связаны с владением письменной русской речью. Теперь языковая метрополия ведёт несправедливую агрессивную войну. Эту войну российское государство осуществляет на огромном, многокилометровом украинском фронте. Там стреляют, взрывают и убивают. Но попутно война идёт повсюду: в экономике и дипломатии, на телеэкранах, страницах прессы, и, конечно, в Интернете. Приходится объяснять негодяям, что нельзя – нельзя! – стрелять в мирных людей. Ох, как доходчиво объясняет это ЦАХАЛ! Так, чтобы дошло до каждого хамасника, до каждого озлобленного и враждебного палестинского араба! Некоторые враги не могут принять этого объяснения – и это стоит им жизни. Уроки истории учат нас, что уроки истории ничему не учат.

В арсенале Интернета

*Ты каждый раз, ложась в постель
Гляди во тьму окна
И помни, что метёт метель,
И что идёт война.*

Самуил Маршак «Зимний плакат 1941 года»

Казённая пропаганда любой страны, даже демократической, это всегда в той или иной мере брехня, иначе она не была бы казённой. Больше демократии - меньше брехни, только и всего, но почему-то за это «только и всего» одни готовы идти в лагеря и на смерть, а другие - их сажать и убивать. Меньше демократии - нет оппозиции с её печатью, нет независимой печати - больше вранья в казённой пропаганде.

Анатолий Стреляный «Сходит затмение»

В Интернете ведь что хорошо: много бесплатного. Интересная, привлекательная книга на бумаге сегодня может стоить десятки шекелей, - в зависимости от магазина, обложки или переплёта книги, её толщины и дефицитности. Чтобы владеть информацией и быть в курсе современной

литературы, приходится читать сотни книг, - и вот счёт расходов пошёл уже на тысячи шекелей. Всё это поддается экономии. Если вам не светит премия за написание книги, то, по крайней мере, засчитайте за премию нерастраченные деньги за важную информацию, содержащуюся в книгах.

Российские пропагандисты толкуют и перелицовывают историю в свою пользу покруче западных интеллектуалов. Кибервойска и прочие кибер-надсмотрщики помогают им в этом, удаляя или блокируя на домене ru сайты и материалы, противоречащие казённой позиции. Но Интернет задуман настоящими интеллектуалами, поэтому его невозможно отменить и запретить, - несмотря на все попытки осложнить доступ к сети и попортить нервы пользователям. Всё равно мы будем читать хорошие, умные и важные для души книги на русском языке, не согласуя это с Роскомнадзором и посылая его... Ну, дальше вы знаете.

Приведу несколько интернет-адресов, которыми пользовался сам для увлекательного чтения. На сайте журнала «Артикль» есть возможность оставлять комментарии к публикациям. Приглашаю всех заинтересованных читателей оставлять рекомендации о поиске в сети интересных и правдивых книг. Будут такие книги вашими собственными произведениями? – прекрасно; а ещё лучше и полезнее, если вы укажете на те издания, которые с интересом и удовольствием прочитали сами, будь то беллетристика, публицистика, философские исследования или воспоминания.

Российские власти объявили иностранными агентами и запретили работать организации «Мемориал» и «Сахаровскому центру». Но база воспоминаний о ГУЛАГе, охватывающая весь период злодейской деятельности ЧК со времени октябрьского переворота 1917 года до наших дней, сохранена на сайте <https://vgulage.name/> и постоянно пополняется.

Замечательная подборка книг «Библиотека интересного» на сайте: <http://www.urantia-s.com/library>. В ней представлены всего 23 автора, но от каждого – лучшее. На этом сайте можно прочитать полностью книги Владимира Буковского и Виктора Суворова, Марка Солонина и Юрия Фельштинского. Особенно рекомендую книги, которые бывает трудно найти в сети - труды Ивана Солоневича и яркое документальное повествование Алекса Гольдфарба «Саша, Володя, Борис...» - переплетение судеб Литвиненко, Путина и Березовского.

Ещё одна бесплатная интернет-библиотека с очень большим выбором разнообразной литературы находится на

сайте: <https://www.e-reading.club/>. На первой странице этого сайта, оформленной намеренно неброско, книги не представлены. Нужно выбрать пункт меню «жанры», нажать тот, который интересен - и появится огромный список. К примеру, в жанре «биографии» этого сайта - более семи тысяч книг. Но есть и такие собрания, в которых не представлены отдельно жанры «мемуаров» или «биографий», например: <http://loveread.ec/>.

Тем, кто интересуется книгами и периодическими изданиями, вышедшими в XX и XXI веке за пределами стран СНГ, рекомендую библиотеку «Вторая литература», позиционирующую себя как «электронный архив зарубежья» (<https://vtoraya-literatura.com> и <https://imwerden.de>). Это весьма солидное собрание, в котором ценителей литературы ожидает множество приятных находок. Но есть и неудобство: не предусмотрено чтение онлайн; почти все файлы пользователю приходится загружать в свой компьютер, прежде чем прочитать.

Казалось бы, после разрушений и бед, которые принёс Украине так называемый «русский мир», украинский сегмент Интернета вправе был полностью отказаться от русской литературы. К счастью (слабое утешение) этого не произошло; есть вполне солидные интернет-библиотеки в домене ua (хотя бы <http://book-online.com.ua/index.php>). Вдохновляющие строки Игоря Губермана, вынесенные в эпиграф к этой статье, я позаимствовал именно там.

Возможно, вам удастся найти ещё какие-либо полезные, важные и приятные в чтении странички в Интернете, не зависящие от новостей и не связанные с конъюнктурой. Поделитесь в комментариях на сайте. Утрём нос военной пропаганде! Пропаганда – это искусственное сужение поля духовного зрения. Литература – это его естественное расширение. Хорошая, высококачественная, интеллектуальная литература – надёжная прививка от пропагандистской болезни.

**ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

**Роман Кацман
Елена Промышлянская
Алексей Сурин**

**Дневник событий русско-израильской литературы
Январь-март 2024**

Зверское нападение, учинённое арабскими террористами в Израиле седьмого октября 2023 года, унесло 1266 жизней. 133 заложника до сих пор томятся в плену.

В начале января 2024 года, когда израильские университеты вернулись к работе, мы возобновили дневник в надежде, что террор больше не помешает писателям и читателям в их стремлении к прекрасному, а учёным – в поиске истины.

*В полном объеме дневник публикуется на сайте кафедры еврейской литературы Университета им. Бар-Илана
(<https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/diary>).*

1 января 2024.

В East West Literary Forum опубликован фрагмент романа Некода Зингера «Синдром Нотр-Дам» (2022), переведенный на английский Жозефин фон Зицевич.

На сайте альманаха «Артикуляция» появилось эссе поэта и филолога Елены Ванеян о книге стихов Гали-Даны Зингер «Всё, на что падает свет» (2022). В том же издании опубликованы 4 стихотворения Гали-Даны Зингер в переводе на английский Татьяны Бонч-Осмоловской. Рецензия на «Всё, на что падает свет» появилась также на сайте культурного проекта «Флаги».

8 января 2024.

В Израиле в возрасте 94 лет скончался писатель, переводчик и литературовед Чингиз Гусейнов.

Чингиз Гусейнов родился в Баку в 1929 году. Окончил филологический факультет МГУ в 1952 году, работал консультантом в Комиссии по литературам народов СССР при Союзе писателей СССР (1955—1971), затем в Литературном институте - сначала на кафедре теории перевода, затем - на кафедре советской литературы. С 1972 года - доцент, затем

профессор кафедры литературы и искусства Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1996 по 2012 годы был профессором кафедры истории русской литературы нового и новейшего времени МГУ. С 2014 года писатель проживал в Израиле.

Писать рассказы и повести на азербайджанском и русском языках начал в 1950-х годах. Первый роман Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш» вышел в 1975 году и был переведен на несколько европейских языков. Затем писатель опубликовал романы «Фатальный Фатали» (1983), «Семейные тайны» (1986), «Директория Igra» (1996), «Доктор N» (в двух книгах, 1998), «Нескончаемое письмо» (2006), «Мерадж» (2008), «Освобождённый подтекст» (2010). Кроме того, Гусейнов - автор книги «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина» (2003), две первые части которой представляют собой жизнеописание пророка Мухаммеда, а третья - новый перевод сур Корана. Последней книгой Гусейнова стал роман «Подковать скакуна», вышедший в 2022 году.

9 января 2024.

В Иерусалимской городской русской библиотеке прошел творческий вечер писателя и переводчика Алекса Тарна. Автор представил свою книгу «Колечко жизни» (2022), действие которой разворачивается в 1938–1943 годах в Польше.

9 января 2024.

В «Бегин-центре» в Иерусалиме состоялась презентация новой книги писателя и культуролога Михаила Короля «Полигимния в Иерусалиме» – сборника эссе о встречах знаменитых писателей разных времен и народов с Иерусалимом. В вечере также приняла участие художник Марина Белкина, создавшая иллюстрации для книги.

10 января 2024.

В книжном магазине «Бабель» (Хайфа) состоялась презентация «Нового Иерусалимского журнала» – издания, ставшего продолжением «Иерусалимского журнала», выходившего в Израиле с 1999 года. В вечере приняли участие главный редактор журнала Леонид Левинзон, члены редколлегии Евгения Вежлян, Юрий Володарский, Евгения Ковалёва, Дмитрий Коломенский, Виктор Рубинов и другие.

11 января 2024.

В тель-авивском книжном магазине «Бабель» состоялась презентация сборника стихов Лены Берсон. Книга, получившая название «Убавляйте звук», вышла в издательстве книжного магазина «Бабель». В ходе вечера Берсон прочла стихи из нового сборника, а также из своей предыдущей книги «Начальнику тишины» (изд. «Бабель», 2022).

14 января 2024.

В Музее еврейского народа АНУ состоялась презентация книги «Йерве из Асседо» Вики Ройтман. Книга вышла в свет в 2023 году в издательстве «Corpus». В обсуждении участвовали: политолог и публицист Михаил Пелливерт, исследователь израильской литературы на русском языке Елена Промышлянская, писательница Настя Рябцева, поэт и переводчик Рита Коган. Со вступительным словом выступили Йешаягу Йехизли - основатель и директор программы НААЛЕ, и Леонид Левинзон - писатель и главный редактор «Нового Иерусалимского журнала». Модератором мероприятия стала Саша Клячкина, ведущая групп и специалистка по неформальному образованию.

24 января 2024.

В книжном магазине «Бабель» (Тель-Авив) состоялась презентация романа Бориса Лейбова «Мелкий принц», вышедшего в московском издательстве «Гаятри/Livebook» в 2023 году. «Мелкий принц» - это автобиографическая, лиричная и ностальгическая проза о детстве и взрослении на рубеже 1990-х и 2000-х годов, первой любви и подростковом одиночестве. Для Лейбова, репатриировавшегося в Израиль в 2013 году, это уже пятая книга. Ранее у него выходили романы: «Дорогобуж» (2022), «Лилиенблюм» (2021), повесть «В густой траве» (2021), сборник поэзии и прозы «Каса Корина» (2004).

25 января 2024.

Вышел в свет 42-й номер журнала «Двоеточие». Тема номера: пред-пост-апокалипсис - попытка разобраться в текущем историческом моменте, полном катастроф, среди которых война ХАМАСа против Израиля и война России против Украины. Открывает номер раздел «Когда кончается конец времён?», где авторы номера отвечают на вопросы редакторов: что для вас значит «апокалипсис», проживаем ли мы

апокалиптические, пред-апокалиптические или пост-апокалиптические времена, остаётся ли в такое время какая-то роль у литературы и ряд других. В номере стихи Александра Бараша, Сергея Лейбграда, Геннадия Каневского, Екатерины Захаркив, Леонида Георгиевского, Евы-Катерины Маховой, Петра Шмуглякова, Ильи Аросова, Ивана Платонова, Алексея Сурина, стихопроза Александра Иличевского и других. Также в номере опубликован перевод с иврита на русский стихотворения Нурит Зархи, выполненный Гали-Даной Зингер. Проза представлена текстами Инны Кулишовой, Сергея Соколовского, Линор Горалик, Нины Хеймец, Евгении Вежлян, Александра Альтшулера.

27 января 2024.

В Хайфе скончалась Елена Рыцарь (Хелен Лимонова) - владелица «Издательского дома Helen Limonova» и хозяйка книжного магазина «Лимон сфарим». Елена родилась в 1959 году в Риге. Окончила факультет прикладной математики Рижского политехнического института, работала редактором в нескольких издательствах. Репатриировалась в Израиль в 1994 году. В качестве издателя выпустила более 220 книг в печатном и электронном виде, работала модератором сайта СРПИ. Кроме того, Лимонова - составитель сборников драматургии «Сюжеты в ожидании постановки» (2018), альманахов «Лимонник», а также автор книги по писательскому мастерству «Как написать и издать 5 книг за 4 дня» (2017).

31 января 2024.

В издательстве Силезского университета в Катовице (Польша) вышел четвёртый сборник произведений русско-израильских авторов «Из России в Израиль» в переводе на польский язык. Редакторы сборника (как и трёх предыдущих) - преподаватели Силезского университета Мирослава Михальска-Суханек и Агнешка Ленарт. В сборник вошла проза Давида Маркиша, Александра Любинского и Леонида Левинзона, поэзия Гали-Даны Зингер, Елизаветы Михайличенко и Семёна Крайтмана. Автор предисловия Роман Кацман, авторы вступительных статей к текстам – Мирослава Михальска-Суханек, Агнешка Ленарт, Беата Павлетко и Алексей Сурин. Переводчики: Piotr Fast, Marian Kisiel, Beata Pawletko, Andrzej Polak, Mirosława Michalska-Suchanek, Jolanta Lubocha-Kruglik, Alicja Mrózek.

1 февраля 2024.

В центральной библиотеке Бар-Иланского Университета состоялась презентация «Нового Иерусалимского журнала». Открыла и провела вечер директор системы библиотек Бар-Илана Ольга Гольдина. Со вступительным словом выступили Роман Кацман, Елена Промышлянская и главный редактор «НИЖ» Леонид Левинзон. Роман Кацман отметил, что русско-израильская литература не начинается каждый раз с чистого листа вместе с новой волной русскоязычной алии, а представляет собой историко-литературный процесс требующий внимания, сохранения и изучения. Елена Промышлянская сделала краткий обзор первого номера «НИЖ», а Леонид Левинзон рассказал о планах издания на ближайшее будущее. Прозаики Вика Ройтман и Виктор Рубинов прочли отрывки из своих книг, поэты Геннадий Каневский, Ася Анистратенко, Евгения Вежлян и Виталий Мамай выступили со своими стихами. В вечере приняли участие музыканты Вит Гуткин и Лена Фольк, исполнившие композиции собственного сочинения для гитары и флейты.

2 февраля 2024.

В израильском издательстве «Книга-Сэфер» вышел сборник прозы писателя и журналиста Аллы Борисовой-Линецкой «Когда цветет джакаранда». В книгу вошли рассказы, главным образом посвященные теме эмиграции.

Алла Борисова-Линецкая родилась в Ленинграде, закончила Педагогический университет имени Герцена, работала журналистом в газетах «Известия-Санкт-Петербург», «Невское время», вела блог на сайте «Эхо Москвы». В 2013 году репатрировалась в Израиль. С 2022 года - редактор издательства «Книга-Сэфер». В 2015 году вышла первая книга Борисовой-Линецкой «Дневник горожанки».

12 февраля 2024.

В Ашкелоне скончался писатель, драматург и публицист Леонид Финкель.

Леонид Финкель родился в 1936 году в Полтаве. Учился в Московском Литературном институте им. Горького и во Львовском политехническом институте. В 1992 году репатрировался в Израиль. Написал более двадцати книг прозы. Среди них: «Загни солнце» (1979), «Серебряные нити» (1987), «Скрипач на крыше» (1990), «Письмо внуку» (1994), «Вдогонку за прошлым» (1996), «Эта еврейка Нефертити» (1998), «Ампезиза – нервный народ» (1999), «Вавилонская

блудница» (2001), «Дорогами Вечного жиды» (2003), «Этюды о Тель-Авиве» (2004), «Недостоверное настоящее» (2006). Автор пьес «Конец света переносится» (1983), «Судьба и жизнь Зеева Жаботинского» (1992), «Я - Голда» (1993), «Ключи от вечного города (Иерусалимские фрески)» (1995), «Чудаки, или Брюки для Бен-Гуриона» (2000). Публиковался в журналах России, Украины, Израиля, США, Германии, Великобритании, Австралии. С 1998-го по 2003 год был членом Ашкелонского городского совета и советником мэра по культуре. С 1994-го по 2022 год занимал должность ответственного секретаря Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ), а с 2017 по 2022 год был председателем СРПИ. Финкель был членом международного Пен-клуба и лауреатом премии русскоязычных писателей Израиля им. Юрия Нагибина.

14 февраля 2024.

В Доме Ури-Цви Гринберга в Иерусалиме прошло первое заседание «Эссе-клуба» - литературной площадки, созданной «Новым Иерусалимским журналом» и поэтом Евгенией Вежлян. Вечер получил название «Оффлайн-стрим: стихи и немного разговоров». Во встрече приняли участие писатели, как давно репатриировавшиеся в Израиль, так и недавно прибывшие: Зинаида Палванова, Полина Беспрозованная, Эли Беркович, Дина Кофман, Роман Шишков, Илья Эш, Геннадий Каневский, Ася Анистратенко, Кирилл Азерный, Владимир Губайловский и другие. Каждый из них прочел по два своих стихотворения для совместного размышления и обсуждения. «Эссе-клуб» под руководством Вежлян планирует собираться в Доме Ури-Цви Гринберга каждую среду.

28 февраля 2024.

Вышел 70-й номер «Нового Иерусалимского журнала», большая часть публикаций которого посвящена событиям 7 октября, арабо-израильской и российско-украинской войне. В номере опубликованы произведения таких авторов, как Лена Берсон, Шимон Крайтман, Геннадий Каневский, Катя Капович в поэтическом разделе «Мишкенот Шаананим». В разделе «Львиные ворота» публикуется проза Дины Рубиной, Виктории Райхер, Евгении Вежлян и других авторов. Леонид Левинзон и Илья Беркович в своих заметках обращаются к осмыслению русско-израильской литературы 90-х годов. Среди материалов номера - рецензия Романа Кацмана на новую книгу Якова Шехтера «Ангел-водопроводчик».

1 марта 2024.

В издательстве «Книга-Сэфер» вышла в свет новая книга Анны Исаковой «Марк Сирота и еврейский вопрос». Согласно аннотации издательства, это триллер, происходящий на фоне реальности 60-х годов XX века в СССР и репатриации в Израиль. Анна Исакова, врач по специальности, - писатель, редактор, критик, эссеист, живёт в Израиле с 1971 года. Её перу принадлежат романы «Ах, эта чёрная луна!» (2004), «Гитл и камень Андромеды» (2021), сборник эссе «Мой Израиль» (2015).

6 марта 2024.

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялся творческий вечер астрофизика и писателя-фантаста Павла (Песаха) Амнуэля. Вечер получил название «Миры, которые мы выбираем» и был посвящён 80-летию автора. Ведущим вечера стал руководитель Иерусалимского отделения международной ассоциации «Азербайджан-Израиль» (АзИз) Александр Аграновский. Павел (Песах) Амнуэль родился 20 февраля 1944 года в Баку. В 1967 году окончил физический факультет Азербайджанского государственного университета и в течение 23 лет работал в лаборатории физики звёздных атмосфер; сначала в Шемахинской астрофизической обсерватории, а с 1979 года — в Институте физики в Баку. В 1990 году репатриировался в Израиль. В 2019 году он стал лауреатом премии имени И. А. Ефремова Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе, в номинации «За выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы». В 2021 году получил «Беляевскую премию» за книгу «Вселенные: ступени бесконечностей» (первая публикация в 2015 году).

10 марта 2024.

В издательстве книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив) вышла книга писателя и культуролога Михаила Короля «Дер эмесфун Лина». Книга посвящена судьбе Лины Нейман (1883-1973) - популярной в тридцатые годы советской детской писательнице, пережившей погромы, репрессии и войны, и сохранившей человеческое достоинство, несмотря на все ужасы истории XX века.

11 марта 2024.

В Иерусалимском зале «Гармония» состоялась презентация пятого номера журнала «Тайные тропы». В презентации приняли участие авторы: Алекс Тарн (в номере опубликован его роман «Гершуни»), Ольга Фикс (повесть «Побочный эффект»), Семён Крайтман (подборка стихов «Читая бессмертную книгу» опубликована в 4-м номере), Михаил Король (в 4-м номере опубликованы главы из его книги «Полигимния в Иерусалиме» и рассказ «Тигр в пустыне»), и другие. Журнал «Тайные тропы» начал выходить в 2022 году. Главный редактор – Барух-Александр Плохотенко. В 1990 году Плохотенко был первым редактором саратовской газеты «Саратов», с 1995 по 1998 год редактировал «Саратовскую новую еврейскую газету — СНЕГ». В 1998 году репатриировался в Израиль, работал редактором в издательстве газеты «Дварим».

23 марта 2024.

В издательстве тель-авивского книжного магазина «Бабель» вышла новая книга писателя и филолога Евгения Сошкина «Из чукотского эпоса». В основе книги авторское поэтическое переложение чукотского народного эпоса об Элэнди, записанного этнографом Владимиром Германовичем (до крещения в 1885 году - Натаном Менделевичем) Богоразом (1865–1936) во время дальневосточной экспедиции в конце XIX века. Графические работы в книге сделаны дочерью Евгения Сошкина Яэлью Сошкиной.

24-25 марта 2024.

В тель-авивском Музее еврейского народа АНУ прошёл семейный книжный фестиваль «В чемодане». В первый день фестиваля состоялась встреча с журналисткой и автором книг о воспитании детей Мариной Аромштам, посвященная детям-билингвам, Также прошли презентация книги «Когда цветет джакаранда» Аллы Борисовой-Линецкой, и встреча с поэтом и главным редактором журнала «ROAR» Линор Горалик на тему «Тексты, картинки, вещи», которую провёл издатель, владелец книжного магазина «Бабель» в Тель-Авиве Евгений Коган. Из литературных событий второго дня фестиваля отметим презентацию книги Бориса Лейбова «Мелкий принц» (2023) и встречу с израильским писателем Эшколем Нево.

25 марта 2024.

Вышел в свет 40-й номер журнала «Литературный Иерусалим». В рубрике «Поэзия» опубликованы подборки стихов Дины Березовской (Кофман), Марины Меламед, Валентина Серебрякова, Михаила Горелика, Марка Полонского, а также стихи поэта Леонида Колганова, умершего в 2019 году. В разделе «Проза» опубликован отрывок из исторического романа «Рог мессии» (2021) прозаика и переводчика Ханоха Дашевского, а также рассказы Ефима Гаммера, Льва Альтмарка и других авторов. В рубрике «Эссе» напечатаны статьи Владимира Френкеля о романе «Мастер и Маргарита», эссе Леи Алон (Гринберг), посвященное архиву поэта и переводчика Вильяма Баткина (1930-2011).

28 марта 2024.

В книжном магазине «Бабель» (Тель-Авив) состоялась встреча с драматургом и прозаиком, главным редактором юмористического издания «Бесэдер?» Марком Галесником. Вечер был посвящен выходу новой книги избранных пьес Галесника «Дорогая, у нас будет муж, и другие пьесы», выпущенной издательством «Книга-Сэфер». Автор прочёл фрагменты из вошедших в книгу комедий, а также рассказал истории театральных постановок некоторых из них.

28 марта 2024.

В библиотеке Бар-Иланского университета состоялся вечер Виктории Райхер «Я знаю десять», приуроченный к юбилею писательницы. Она прочла свои старые и новые произведения, многие из которых появились на фоне нынешней арабо-израильской войны. С вступительными словами и поздравлениями в адрес автора выступили Ольга Гольдина, директор системы библиотек Бар-Илана, и Роман Кацман. В программе также приняли участие музыканты Вит Гуткин и Лена Фольк.

Февраль-март 2024

В Доме Ури-Цви Гринберга в Иерусалиме в рамках заседаний «Эссе-клуба Евгении Вежлян» состоялись следующие встречи: разговор с писателем Александром Иличевским о проблемах пространства в литературе; встреча с поэтами Романом Шишковым и Ольгой Агур; а также встреча с писателем, профессором Свободного университета Натальей Громовой на тему «XX век и его заложники».

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская

Все мы, Отче, живы пока Голос есть

О песнях Владимира Васильева

Похоже, не каждую свою колонку в последние два года начинаю с признания, почему мне было трудно её писать.

Вот сейчас с утра одна воздушная тревога за другой, но мне делается стыдно, как только подумаю, что Володя Васильев сейчас и всю войну в Харькове, а там ежедневные обстрелы страшнее наших одесских будут. Увы - будут - верное слово, а не фигура речи. И были. Во время войны я больше пишу о тех, кто помогает мне держаться. И Владимир Васильев, и его песни - мои опоры в этом. Но, действительно, трудно писать о человеке, не употребляя слово "гений" - даже если считаешь его таковым. Особенно если считаешь.

Редкостный, поразительный и солнечный дар Владимира Васильева для меня не передаётся фразами - только песнями, благо, именно его песни сделали нашему с Романом Морозовским дуэту имя и славу. Когда хочется объяснить кому-нибудь, кого именно из нескольких его именитых полных тёзок имею в виду - напеваю «Марш», который знает и поёт большинство из нас - и сразу всё становится ясно.

«Когда я был щенком. Марш»:

https://www.youtube.com/watch?v=pKGMSbw7xuQ&ab_channel=HamstMusic

Или «Песенку ткачей»:

https://www.youtube.com/watch?v=wrP7eiw8vcM&ab_channel=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8

А ощущение куража и кайфа, когда поёшь «Ретро», опустить и подавно не могу:

https://www.youtube.com/watch?v=2798zH-Zess&ab_channel=MarkNakoykher

Владимир Васильев - один из самых поющих авторов, самим существованием своим опровергающий ехидное, но популярное мнение: что авторская песня - это когда авторы поют самих себя для других таких же авторов.

А вот писать статью «За что я люблю Володю Васильева» - мне было бы гораздо проще. Знакомы мы так давно, что я не помню, сколько; действительно давно. И Володя, появлявшийся нечасто, но регулярно в Одессе и у нас в гостях, был праздником живой свободы, света и радости, которых в нём по сей день столько, что хватает любому, оказавшемуся рядом.

Люблю не только его поразительные шлягеры, но не меньше - лирику, в которой всегда есть доля иронии, и почти всегда - улыбки. И пронзающие насквозь сатирические зонги. Собственно, почти всё, что пишет Володя - зонги.

Отдельно ценным оказалось то, что переслушивая Володины квартирники, чтоб написать это - ни разу не прослезилась, как бывает у меня со всеми другими авторами. Я улыбалась и цокала языком, встретив что-то забытое или не слышанное раньше - а в концертах такого много, там Володины стихи, и это совсем отдельный разговор.

Если развивать тему про любовь, то для меня неразделимы Володя Васильев и Анечка, потому что между ними всю жизнь столько любви и тепла, что можно греться на любом расстоянии - я и греюсь. Да просто послушайте песню «Мы» - там всё про это. И это только одна из песен о любви.

https://www.youtube.com/watch?v=ilBBZa08Ado&ab_channel=MarkNakoykher

И вот тут за мной должок. Из тех, что отдать невозможно - потому что в долг тебе никогда этого и не ставили, оно само собой естественно происходило. В годы второго, но основного для профессии моего студенчества, когда была уже довольно взрослой и очень семейной, многодетной студенткой, училась я три года (потому что второе высшее) в Харьковском университете. Была я тогда стройной, даже худенькой, по причине скудного образа жизни - начало 90-х было трудным повсюду, а тут ещё обучение на контракте и семейство дома. Экономила, как могла, а к Васильевым на Пушкинскую, где они и сейчас живут, регулярно забегала подкормиться и отогреться. И они меня кормили. Дома, чаще, чем Володю, заставляла Аню и прекрасную тещу Ольгу Васильевну. Меня кормили всем, что было в кастрюлях и на сковородках, очень вкусно; и учили хозяйственным премудростям бедного времени. Чему Ольга Васильевна была вполне выучена войной и послевоенными годами. Вот после её уроков мои каши хвалят все, кто попробовал.

Ещё Ольга Васильевна много рассказывала о своём муже, Анином отце - великолепном художнике Викторе Ла-

пине. И довольно скупое, но ёмкое - о войне. Явно не представляя себе, что и нам это может пригодиться самым практическим образом. Похоже, после того и сохранилось у меня остаточное намагничивание не пафосным, ироничным мужеством. И по сей день работает. Получила я у них в доме столько, что ни отдать, ни забыть невозможно.

Недавно прилетел ко мне кусочек удачи и счастья - Васильевы в гости в реале. Володя спел ещё кучу написанного во время войны. Ничего этого в записях пока нет, потому что - какие же в войну концерты? И как же жаль, что здесь их не могу показать, потому что это песни химически чистого, живого и жизнерадостного мужества.

Я поражалась - как такое можно написать сейчас? Впрочем, я всю жизнь, слушая Володю, поражаюсь - как так можно написать? Всё-таки я попробую обойтись без слова гений, но вы меня поняли, правда?

А слушать Володю лучше в полном формате, начните отсюда: вот квартирник Владимира Васильева, 2017 год.

<https://www.youtube.com/watch?v=jVTfh-rXt8U>

И Передача "Ля-минор ТВ", с Владимиром Васильевым в гостях.

<https://www.youtube.com/watch?v=aWt5UTvyAwc>

БОНУС ТРЕК

Владимир Друк

онемела буква А
отлетела буква Б
не убий хрипят слова
кто остался на трубе?
нет трубы и дома нет
всё что было в букве И
всё чем жили что любили
растоптала буква Zет
что осталось?
или-или
над обрывом
«Да и Нет»

АВТОРЫ НОМЕРА

Наталья Новохатняя – поэт, прозаик, живёт в Кишинёве.

Шуля Примак – дипломат, муниципальный работник, живёт в Ашкелоне.

Дмитрий Быков – прозаик, поэт, журналист, литературный критик, живёт в Итака, штат Нью-Йорк.

Павел Селуков – писатель, сценарист, живёт в Москве

Александр Борохов – врач-психиатр, литератор, живёт в Иерусалиме.

Давид Шраер-Петров – поэт, прозаик, переводчик, драматург, ученый-медик, живёт в Бостоне.

Сергей Баев – прозаик, живёт в Тель-Авиве.

Михаил Нудлер – математик, филателист, живёт в поселении Текоа.

Иосиф Альбертон – врач, живёт в Иерусалиме.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.

Ури Села – литератор, переводчик, журналист, общественный деятель, жил в Хайфе и Тель-Авиве.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Михаил Мушвиг – поэт, жил в Баку.

Ирина Маулер – поэт, художник, автор-исполнитель, живёт в Беэр-Яакове.

Игорь Белый – поэт, актёр, издатель, живёт в Нетании.

Семён Крайтман – поэт, живёт в Иерусалиме.

Петр Межурицкий – поэт, прозаик, живёт в Ор-Акиве.

Игорь Губерман – поэт, прозаик, автор знаменитых «гариков», живёт в Иерусалиме.

Марк Котлярский – литератор, публицист, редактор, живёт в Холоне.

Аркадий Крумер – писатель, драматург, продюсер, живёт в Явне.

Михаил Ландбург – прозаик, учитель русского языка и литературы, штангист и тренер, живёт в Ришон ле-Ционе.

Светлана Аксёнова-Штейнград – поэт, переводчик, журналист, автор семи книг стихов, живёт в Ашдоде.

Александр Елин – поэт, либреттист, автор текстов песен, живёт в Кирият-Моцкине.

Марина Старчевская (Ройтман) – поэт, детский автор, юморист, работает учителем электроники, живёт в Ришон ле-Ционе.

Яков Каплан – поэт, прозаик, журналист, живёт в Бат-Яме.

Ирина Сапир – поэт, переводчик, преподаватель английского языка, живёт в Герцлии.

Владимир Аролович – поэт, автор четырёх сборников стихов и пяти электронных книг, живёт в Тверии.

Сергей Корабликов-Коварский – поэт, автор семи поэтических сборников, работал врачом, живёт в Кейсарии.

Наталья Кристина – поэт, автор четырёх поэтических и прозаических книжек, живёт в Кирьят-Шмоне.

Любовь Знаковская – автор полутора десятков книг, изданных в Крыму, в Москве, в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе, жила в Тверии.

Мордехай Наор – израильский историк, писатель, общественный деятель, живёт в Тель-Авиве.

Александр Карабчиевский – литератор, живёт в Тель-Авиве.

Айдар Хусаинов – поэт, прозаик, главный редактор газеты «Истоки» (Башкортостан), живёт в Уфе.

Альбина Васильева – искусствовед, живёт в Санкт-Петербурге.

Андрей Евдокимов – писатель, журналист, живёт в Санкт-Петербурге.

Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Роман Кацман – профессор кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

Владимир Друк – поэт, изобретатель, специалист по информационной архитектуре, живёт в Иерусалиме.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон ז"ל

Заместитель главного редактора

Афанасий Мамедов

Референт

Александр Карабчиевский

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук

:<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции: articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 052-94666044(в Израиле)
(972)-529466044 (для заграницы).